

Геннадий Литвинцев

На обратной стороне Земли

Повести и рассказы



АО «Воронежская областная типография»

Воронеж

2021

УДК 821.161.1-4
ББК 84(2=411.2)6-4
Л 64

Издание осуществлено при финансовой поддержке
Департамента культуры Воронежской области

Л 64 Литвинцев Г.М.
На оборотной стороне Земли. Повести и рассказы. –
Воронеж: АО «Воронежская областная типография»,
2021. – 352 с.

Темы повестей и рассказов Геннадия Литвинцева разнообразны, порой экзотичны. Так, повесть «Молодым не ходи в Гуандун» ведет читателя в китайский мир времен опиумных войн. Повесть «На обратной стороне Земли» посвящена русской (харбинской) эмиграции. «Шесть дней месяца Авив» вводит актуальные социальные и нравственные проблемы в библейский контекст. Но главной темой его творчества, конечно, остается внутренний мир современников, драматические коллизии российской жизни.

ISBN 978-5-4420-0904-0

© Литвинцев Г.М., 2021

ШЕСТЬ ДНЕЙ МЕСЯЦА АВИВ

Повесть параллельной жизни



ПРОЛОГ

Весенним днем промеж холмов невдали от Беэр-Шевы, чуть восточнее города, но западнее бедуинского поселка Тель-Шева, возник кочевой стан – полумесяцем семь одинаковых шатров из бурой овечьей шерсти, а в центре, под голубым стягом, шатер повыше и покрупнее.

Кремнистая, ржавая земля вади, в каменной крошке и щебне, цвела в эту пору анемонами, ирисами, дикой горчицей и луком, и от множества лиловых, красных и желтых пятен казалась парчовой ризой, брошенной кем-то сверху. Солнце, не жгучее и доброе из-за войлочной облачности, шло к заходу, отчего отдаленные ковриги гор на востоке нежно порозовели, а в складках холмов залегли синеватые тени.

Лагерь, казавшийся до того безлюдным, стал оживать. В отверстии одного из шатров показались двое мужчин – один в спортивном костюме Адидас, другой в шортах и майке. Имена их, если потребуются, назовем в свое время. Пока же пусть так побудут, без имени, тем более, что персонажи эти обычно и сами избегают лишнего внимания и славы, предпо-

читая оставаться в тени, вне протокола. Повествователю приходится с этим считаться. Так вот, показались герои (в литературном, конечно, смысле) и тут же пали в обтянутые парусиной раскладные стулья. Тот, что в шортах, достал сигареты, а «спортивный» приложился к баклажке с водой.

– Ты без курева не можешь, а я вот без телефона, – заговорил он, напившись. – Тоже наркотик, хоть на минуту, а затянуться надо. И так каждые полчаса. Не знаю, как обойдусь без него пять целых дней.

– Да ведь и контору без присмотра не бросишь, – молвил курильщик. – Я, скажем, ни разу настолько не пропадал. Кому надо, те, конечно, знают, где я, а все равно искать будут... кому не надо.

– Я, признаться, ради дела поехал. С ними ведь (кивок в сторону соседних шатров) дома так просто не встретишься, чтобы без спешки и по душам. А здесь вроде все свои.

– Избранные.

– Вот-вот! А пять дней можно и потерпеть – это не сорок лет бродить по пустыне.

– Еще и без всякой связи, – засмеялся курильщик. – Я вот перечитывал перед поездкой...

Внезапно он смолк и уставился на дальний справа шатер, в проеме которого, как видение, показалась женщина. Одета она была непритязательно просто – в холщовые штаны цвета сливок и легкую открытую блузку, однако все остальное – рыжие, распущенные по плечам волосы, голые икры, грация движений – здесь, в пустыне, удивляло и волновало. За нею вышел наружу мужчина.

– А, Вереин! – негромко сказал один из друзей. – Это не честно – договаривались холостяками, чтоб без обид. А он с гаремом...

– Бойтся оставить ее одну. Это, кажется, его новая жена.

– Для чего всякий раз жениться, когда можно просто заплатить за эскорт?

ОГНЕННЫЙ АНГЕЛ

Между тем Ефим Вереин с подругой удобно расположились в низких плетеных сиденьях. Тут же показался из большого срединного шатра и поспешил к ним официант.

– Сока, лимонада, чаю? – спросил он, склоняясь.

В строгой белой рубашке с бабочкой и черных брюках официант в пустыне выглядел привидением или, во всяком случае, персонажем из другого жанра. Ефим не сразу и понял, чего от него хотят. Рената, его подруга, нашлась быстрее:

– Мне коктейль, не очень крепкий.

– Пожалуй, и мне, – согласился Ефим. – Крепкое как-то не по погоде.

Официант сходил в свое убежище и спустя пару минут вернулся с двумя запотевшими бокалами, оснащенными соломинками.

Тридцатисемилетний Вереин – седеющий блондин среднего роста с фигурой бывшего спортсмена, давно махнувшего на себя рукой, с неглупым, окаймленным светлой бородкой среднеевропейским лицом – наряжен был в зеленоватый дорожный костюм, дорогой и удобный.

Его стройная рыжеволосая спутница издали смотрелась совсем юной. Но вблизи, при внимательном взгляде, можно было заметить и скопление мелких морщин у глаз, и бледность, и начинавшую полнеть шею. Впрочем, для чего нам столь внимательно смотреть на нее? Это выпадает из стилистики нашей повести. Проще сказать, что здесь, на безлюдье, девица удивляла своей красотой. Особенно хороши были ее лучисто-янтарные с золотыми точками глаза. Умные и чувственные, они, подобно лампадам, озаряли ее бледное и худощавое лицо с неяркой природной аlostью губ.

– Не знаю, зачем мы сюда приехали! – сказала она, отпив из бокала. – К чему этот маскарад? И эти все... Они тебе не надоели? В Москве пропустим такой интересный вечер (назвала модного режиссера). Нас приглашали. И еще много чего. А здесь (крутит головой) пустыня, скука... И ради чего? Что за фантазии!

Ее грудной, низкий голос, еще не совсем проснувшийся, дремлющий, в котором – и сонная сладость, и зябкость, каприз и детская беззащитная интонация, действовал на Ефима безоговорочно, лишая его всякой способности возражать и сопротивляться. Он увидел, что Рената может сейчас заплакать. Он ждал этого и очень боялся. Того особенно, что своим хныканьем и капризами она может выставить его в дурацком виде перед партнерами по поездке, каждый из которых был старше, солиднее и влиятельнее его.

Они сидели в пестрой кружевной тени крупных акаций, между каменистой осыпью и цветущим

островком маков, пили холодный напиток и старались не смотреть друг на друга. Они жили вместе около года, но Рената уже порывалась уйти от него. И уходила, но всякий раз Вереин разыскивал ее и возвращал к себе обратно. Он был крупно богат, с каждым годом каким-то образом становился еще богаче, а значит, как считалось, еще сильнее и привлекательнее. И при этом у него не было совсем уверенности, что эта сумасбродная женщина, единственная, ни на кого не похожая, его не бросит. Это и удивляло, и бесило, и вязало его.

Страх и мученье всех богатых людей: они не верят, что их любят или что с ними дружат не из-за денег, что кому-то просто так, без притворства и обмана, нравятся собственно их человеческие качества, например, их глаза, походка, талант, щедрость и простота, юмор и дружелюбие. Они, конечно, ни в грош не ставят отношения с партнерами, всеми этими новыми друзьями и любовницами, появившимися в их орбите в годы прибытка и успеха. Но подозрительность и недоверие вскоре начинают переходить и на старых друзей, на товарищей по «простой жизни», по школе и вузу, на родственников и возлюбленных. Ржа разъедает их душу, говорить просто и искренне, как прежде, становится все труднее. Люди чувствуют это, и многие из них сами собой начинают отдаляться от богачей.

Богатым особенно тяжело с женщинами. С годами в каждой они начинают видеть охотницу за миллионами, подставу, шпионку, в лучшем случае честную проститутку. К тому же Ефиму наотрез не

нравились «куклы» и «модели» – конкурсные красотки, глупые и манерные, с нарисованными лицами, с подкачанными губами и ягодицами, форменные идиотки с металлической прописью в глазах «Все продано!» или «Предложите свою цену». От вида их, от одного лишь их голоса, Ефима начинало подташнивать. Но именно с такими водились его знакомые, такие заполняли салоны и клубы, предлагались конторами по торговле «лохматым золотом». Конечно, секс-продюсеры могли предоставить и «свежую девочку», этакий полевой цветок, из провинциалок. Но вскоре выяснялось, что дикой ее свежестью уже успел надышаться кто-то из твоих знакомых. А за наигранной чистотой и неопытностью выглядели все те же цап-царапистые коготки.

Рената пришла в его жизнь необычно – не по заказу, без рекомендации, самовольно. Он сам подцепил ее в клубе, куда и попал-то случайно, по недоразумению. Зашел, присел на свободный стул. Она оказалась напротив, глаза их встретились – и Ефим ощутил себя вдруг двадцатилетним студентом, раздухарился, стал смешить, говорить глупости, а она, удивленная его напором, весело-поощрительно заискрилась. Незаметно, условным сигналом, Ефим отпустил водителя и охранника, а сам потом ловил такси, разыгрывая безлошадного, не сильно обеспеченного клерка, правда, с претензиями по части культуры и вкуса. Первые две недели они заходили только в недорогие кафе, и Ефим, для чистоты эксперимента даже не возражал, если дама вносила при расчете какую-то денежку за себя. Но когда розы-

грыш раскрылся, он с тревожным чувством ждал перемены в их отношениях. А она, казалось, не придавала его новому статусу никакого значения, не показала большого интереса к смене такси на первоклассные машины с водителями, кафешек – на шикарные рестораны и клубы, съемной квартирки для встреч – на особняк в поселке «Сады Майндорф».

Рената тоже поначалу играла с ним свою роль Золушки. Не сразу узналось, что, ныряя за устрицами, Ефим по воле случая схватил раковину с драгоценной жемчужиной. Но однажды Рената назвала местом встречи необычайно дорогой и престижный клуб. Он пришел и вдруг увидел ее на сцене – в фантастически красивом испанском наряде она танцевала под музыку Сарасате. Пораженный, он видел: как спичка, чиркнув ногой по полу, выбросила танцовщица языками пламя, вспыхнула – и танец-огонь охватил ее с головы до пят. Как у жертвы ведьминых костров, загоралось платье, мукой трепетали воспламененные, сгорающие руки. И вдруг, зажав огонь в горстях, с горделивой улыбкой вдребезги о землю разбивала его, словно огонь был стеклянный. Пламя в бешенстве вновь овладевало плясуньей – и волосы ее горели. Но взгляд ее, повелевающий дыханием зрителей, смирял огонь. Отточено и четко – каждый жест чеканом в меди выбит – входила в сердце шестью ударами в секунду, шестью стуками каблуков, отбивающих чечетку. И в бедро упершись рукою, стояла, задыхаясь, перед праздностью сытых и смеялась над тщедушными и тщетными их желаньями, уходила в свободный свой образ, отда-

ленный от жалких потуг на восторг и плесканья, от растерзанных похотью лиц. И как божество, была осыпана рукоплесканьями и цветами, и поклонниками вознесена на руках. Тогда-то, в тот вечер, печалью своей горделивой, презрением, гневом, высоко занесенной рукой она и взяла над ним власть.

Время от времени Рената возникала на телевидении. Круг ее знакомств был необычен, со многими людьми-звездами она зналась накоротке. В их компании Вереин все-таки чувствовал себя папашей Гобсеком, годным лишь на то, чтобы платить по счетам. Импозантный, толковый, уверенный в себе среди бизнесменов, он терялся в обществе артистов и художников, которые, как он вскоре убедился, способны говорить лишь о себе любимых да о своем искусстве, а о всем другом и о всех других умеют только злословить. Откровенно скучавшая среди его друзей-деляг, Рената казалась ему иногда дивной птицей, вроде Алконоста или Сирина, чудом залетевшей в курятник и тоскующей без надежды найти среди бескрылых бройлеров хотя бы какое-то подобие себе.

В ней мало русского, но нет и кавказского типа, хотя сразу видишь южанку. Нет, не грузинка и не гречанка. Вроде бы что-то еврейское, но совершенно не похожа ни на одну еврейку. Лицо бледное, но цвет бледности горячий, матовый. Глаза большие, янтарные и светятся из глубины, из-за чего вся она видится фарфоровой лампой с жарким внутренним светом. Совсем не кокетлива, наоборот, удивляет прямодушием и открытостью. Вроде бы спокойна,

весела, а между тем от ее присутствия ощущение какой-то тревоги.

Влюбляются мужчины в нее легко, в том числе и очень богатые, избалованные, – наверное потому, что их стандартные приемы ее не цепляют. Они не могут ее заполучить, поразив статусом, знакомствами, роскошью. Все это Рената видела много раз и давно уже не ценит. Один наряжал ее византийской царицей: в тяжелой золотой парче, в венце и соболях восседала она на троне – только бы ему ползать у ее ног, исполнять капризы, глядеть пособачьи в глаза, получать пинки ее ножкой. Другой купал в ванне, доверху наполненной розовым жемчугом. Третий соблазнял кругосветным плаванием на собственной яхте, космическим полетом, совокуплением в условиях невесомости. Но Ренату невозможно купить насовсем, спрятать в золотой клетке, заставить слушаться и что-то делать против своей воли. Даже те, которым удавалось побывать какое-то время в ее любовниках, убеждались, что по-настоящему она оставалась для них недоступной, закрытой, что это она ими пользовалась, а не они ею. Рената может принимать и носить на шее их бриллианты, но может в момент случайной обиды и ссоры снять их и бросить под ноги, вернуть все подаренное, а если потребуется, то с легкостью отдать и свое.

Как-то поначалу, в один из тихих любовных вечеров, она с видом вынужденного признания рассказала Ефиму, что Ренатой Боярковой она назвалась только в Москве, настоящее ее имя – Хазва, что,

черкешенка родом, на свет она явилась в кавказских горах, высоко в ауле, чуть ли не в орлином гнезде. Ефиму легенда понравилась, она очень подходила к ее внешности и характеру, к ее многоликости, но он продолжал называть ее Ренатой.

По мнению хроникеров московской тусовки, они были блистательной парой, но из тех, что сошлись на непродолжительное время, без всяких видов на перспективу. Сам же Ефим думал иначе, хотел другого. Чего хотела Рената, чего она добивалась, он не всегда мог понять.

– Нет, в самом деле, что ты ждешь от этого путешествия? В стране этой ты бывал не раз. А идти четыре дня пешком по камням – что за игра, право! И ты так легко подчиняешься...

– Помилуй, тебе же самой понравилась эта идея. Вспомни, ты загорелась...

– Мне хватает мгновения, чтобы от любой идеи остался пепел. Если подумать всерьез...

– Рената, только не это! Тебе не идет быть серьезной.

Ефим обнял ее, силой привлек к себе и поцеловал. Они нередко мучили и раскаляли друг друга – так в пальцах разминают цветок, чтобы сильнее чувствовался его запах. «Блажь, пустяки, – сказал он в самом себе. – Дорога, усталость и все такое. Сейчас выпьем – и все пройдет».

– Повторим? – предложил он.

Но Рената уже смотрела в другую сторону, на вышедших из шатра двух мужчин.

– Ой, кто это! – воскликнула она оживленно. – Юсуф, настоящий Юсуф!

– Ты его знаешь?

– Нет, но посмотри, как хорош!

Ефим взгляделся и понял, что слова Ренаты относились к младшему из мужчин, юноше лет двадцати, раскладывавшему на коленях планшетку.

– Что в нем особенного? Смазливый мальчик, не больше. А ты уж сразу... Кстати, почему ты его назвала Юсуфом?

– Да так, как арабы.

– Здесь все-таки Израиль, а не Арабистан, – проворчал он ревниво.

Рената смолчала, она досасывала свой коктейль. Потом сказала, не переводя глаз:

– А давай с тобой выпьем на бис!

ИОСИФ ПРЕКРАСНЫЙ

Вадим Сергеевич Марецкий со стаканом сока в руке недовольно поглядывал на сына. Тот, вперившись в экран, не отвечал на его взгляды. Наконец Марецкий не выдержал:

– Кажется, чтобы глазеть в интернет, незачем было сюда ехать, – проворчал он негромко. – Живете, как с завязанными глазами, ничего не видите и не хотите видеть.

– Что тебя раздражает? Я читаю из Библии, как раз чтобы видеть получше, – не отрываясь от экрана отвечал сын.

– Вот как, взялся за Библию! Да ее и так нужно знать.

– Как будто ты знаешь!

– Нет, но мы жили в другое время.

– Время всегда одно и то же. Все, что было, есть и сейчас, будет и после.

– О Господи! Забил себе голову. Опять какие-то формулы. Смотри проще. Мы приехали сюда, чтобы пройти библейскими тропами, подошвами ног, так сказать, ощупать историю.

– Тебе с твоими друзьями не лучше ли было бы пройти тропами Ермака? Ведь это он, Ермак, открыл Сибирь, страну ваших богатств.

– Вот я тебя самого скоро отправлю в Сибирь, поймешь, как богатства достаются.

Вадим Сергеевич допил сок и растянулся в шезлонге. Он не терпел беспредметной болтовни, к которой был склонен его сын Лука. Но, странное дело, тот часто втягивал его в ненужные диспуты, более того, умел разбередить и растревожить, лишить привычного покоя и устойчивой здравости мысли. Вадим Сергеевич любил сына и в то же время невольно остерегался близкого общения с ним. Тот мог спросить то, на что у него не было ответа, сказануть такое, что прежде ни от кого не доводилось слышать.

С Еленой, матерью Луки, Марецкий развелся, когда тому было двенадцать. Елена была из консерваторской семьи и, хотя самой пришлось податься в экономисты, с рождения сына мечтала о его музыкальной карьере. Но он, обнаружив хороший слух

и способности, не прикипел к клавишам, прикидывался чайником, изводил преподавательницу. Его пытались вести по дороге Рахманинова и Рихтера на веревочке, но однажды, восьмилетним, Лука пригрозил сбежать из дома или броситься в пролет лестницы – и от мальчика отступились.

Уйдя из семьи, Марецкий верно и аккуратно заботился не только о сыне, но и о Елене, понимая, что лишь здоровая и благополучная мать вырастит ему достойного наследника. А в том, что он сделает из Луки наследника своей бизнес-империи, Вадим Сергеевич не сомневался. Потому – самая элитная школа, развивающие программы, языки, поездки – чаще с ним, чем с матерью – по мировым столицам. Любознательный и смысленый Лука явно опережал в развитии сверстников, причем, имел оригинальный склад ума, отличался быстротой реакций, своеобразным юмором и независимостью суждений, чем все больше и больше нравился отцовскому честолюбию. Он удивлял и внешней своей миловидностью. Темными бархатными глазами, удлинненным овалом лица мальчик походил на мать (Елена была и оставалась привлекательной женщиной), а энергичную посадку лба и ямку на подбородке взял от отца.

И вдруг скандалец в десятом классе из-за обнаруженного в Сети любопытного видеоролика. Марецкому любезно о нем донесли, скопировали и доставили на просмотр. И вот что он увидел: вход в парк Горького, из машины вываливается сынок с двумя друзьями, один из них – с камерой.

– Сегодня мы приехали в парк Горького, хотим проверить, на какие унижения способны люди ради денег, – объявляет Лука в камеру. После чего начинает ходить по аллеям парка и приставать к прохожим.

– Если я дам денег, вы согласитесь выпить моей мочи? – предлагает девушкам-сверстницам. – Тысяч за десять-пятнадцать?

Те смущенно разбегаются. А сидевший на лавочке потрепанного вида молодой мужчина при виде купюр вступает в переговоры. Сговариваются на десятки тысячах. Отходят за какие-то строения...

Парень лет двадцати пяти, к которому Лука подходит с тем же предложением, ни слова не говоря, бьет его с правой в голову. Сынок скувыркивается на газон и пускается наутек. Хорошо, будет уроком!

Так, снова девушки. Ну и наглец же! Предлагает им раздеться «прямо здесь». О, эта не против! Красивая, а вот же не устояла – за пятнадцать тысяч. Стягивает с себя одежду, в одних трусиках прохаживается по аллее. Дальше еще забавней – Лука покупает в киоске две банки красной икры и здесь же в парке любезно кормит ею бомжей.

Снова говорит в камеру:

– Я не осуждаю этих людей. И не смеюсь над ними. Считаю, что у каждого бывают ситуации или проблемы, из-за которых человек способен на что угодно. Мы не знаем, как сами бы себя повели, если бы попали в тяжелую ситуацию.

«Наглец, подонок! – кипел отец. – Запись растиражируют, звон поднимется на весь свет. И на кого

пальцами будут показывать? Не на тебя – ты на хрен никому не нужен. На меня все шишки: подонка воспитал, с жира бесятся, глумятся над людьми. Развращающая власть больших денег! И всякие старые дела не забудут припомнить».

– И откуда это в тебе? Что ты культивируешь? Какие при этом чувства испытываешь? Превосходства, садистского удовольствия? – перекипев, спрашивал он Луку. – Способен ты себя поставить на их место? А если б тебе предложили то же самое? Или заставили под каким-нибудь условием? Стал бы?

– Не знаю, все может быть. Мы себя мало знаем. Себя-то, пожалуй, меньше всего. И при том, учти, сам я больше их унижаюсь. Я ведь понимаю, что выгляжу, как подонок, как последняя мразь! Они-то уж во всяком случае чище меня, хоть и мочу пили. Пить легче, чем предлагать. Тебе этого не понять...

– Где уж! Элементарный Мазох.

– А не вы создали мир, полный насилия и извращений? – продолжал Лука. – Разве стриптиз, без которого вам вечер не вечер, не то же самое? Меня вот один из наших звал в усадьбу на девушках покататься. Они там в коляску, как лошадки, впряжены и можно погонять плеткой. А детские бои! Все можно, потому что карманы кое у кого трещат от дармовых денег.

– Ты что... что ты несешь! Где ты этого нахватался!

– Да, нахватался. А вы все в белом!

«Все-таки он странный! – думал Марецкий после разговора. – И какая наглость! Захотел про-

вести эксперимент – и не постеснялся, провел. Не побоялся ничьих мнений. Наверное, это хорошо для руководителя. Детей надо баловать – тогда из них вырастают настоящие разбойники! Не умеешь управлять собой, научись управлять людьми, говорит Честертон. Эх, мы-то были друзьями!»

Прошел еще год – и настало время решений. Марецкий выбрал сыну место в Лондоне, в школе экономики и политических наук. В самом сердце британской столицы, по соседству с Королевским колледжем. Готовит та школа правящую элиту 140 государств. Жилье – в Ковент-Гардене, с видами на Стрэнд, центральную улицу Лондона. «Это стоит мне миллион фунтов в год!» – говорил Марецкий. Сферой познания Луке выбрали финансы и юриспруденцию.

Вдруг зимой, не дождавшись Рождества, Лука сам, без предупреждения, свалился из Лондона. «Там я учиться не буду!» – заявил, как отрезал. И в глазах блеск. Марецкий уже понял: нажимать бесполезно, может замкнуться и нагубить. Дал ему отдышаться, даже виски плеснул в бокал. Поговорили о лондонской погоде. После чего сынок выдал: «Там расисты, папа, настоящие расисты! Меня, как русского, третируют, оскорбляют, обзывают путинским шпионом, не хотят общаться, не принимают в игру».

– Как русского? Ничего себе! Или ты разыгрывал из себя патриота?

– Считаешь, мне надо было отречься? Кричать: «Я не русский!» Ты рассказывал мне, еще в детстве, как при нацистах голландцы или датчане из соли-

дарности с евреями нашивали себе могоендовид на одежду. Я тогда, слушая, даже плакал от радости за человеческое благородство. А люди, что попадали в гетто? Они понимали это как знак избранности. А теперь, представь, в гетто попали мы, русские. Из нас делают отверженных, называют изгоями, гонят о нас всякую пургу. А какое всюду невежество! Там же верят, что Россия вместе с Гитлером напала на Англию в войну! И я должен был, по-твоему, отречься, встать на сторону гонителей? Может быть, топать и свистеть вместе с ними? Вот им! Я заказал и стал носить футболку с надписью «Good thing I'm Russian». А потом купил билет на самолет. Ничего, есть места и получше ихнего рая!

– Постой, постой! А что другие русские из вашей школы, все такие майки надели? Кто-нибудь из них устроил скандал, бросил учебу, уехал из Лондона?

– Нет, папа, кроме меня никто не уехал. Может быть, я более русский, чем они. Зов крови более сильный.

– Ладно, ладно, пустое, не в тему! Где ж ты собираешься теперь учиться?

– Смотря чему учиться. По правде, я всегда хотел историей заняться, причем, самой древней, может быть, археологией. А насчет Лондона не ругайся и не жалей. Не хочу быть среди избранных... биороботов. На занятиях нельзя высказать свое мнение. Сомнения в правильности западной жизни недопустимы. Чуть что – «вы все там в России традиционалисты, сталинисты, мракобесы». Геи, трансгендеры, всякие извращения – это святое, не смей даже скривиться.

Я там, знаешь, ел и пил, и дышал через силу. Мне только вглядываться в прошлое нравилось, рассматривать все эти священные камни, бродить старыми улицами, толкаться в соборах... Ходил, смотрел, читал... Вот, думалось, пришли норманны, основали английское королевство, суровые воины-монахи просвещали остров мечом и крестом, вольные каменщики застроили готическими соборами, рыцари сражались на турнирах за благосклонный взгляд дамы, менестрели и скальды пели, Ричард Львиное Сердце плыл в Палестину сражаться с сарацинами, пуритане погибали за чистоту веры, Шекспир сочинял сонеты своей смуглой леди, а Байрон свечой сгорел на алтаре Эллады – разве все для того только, чтобы серая, в грязных рваных джинсах толпа развлекалась бы и безобразничала на развалинах всего этого прошлого величия! А у нас? Разве не отвратна пьянка жирных негодяев на «Авроре», на боевом крейсере? Или гомосеячество со сцены, на которой пел Шаляпин и танцевала Плисецкая?

Лука был в ударе и не заметил, как из воспитуемого стал в позу обличителя, а на месте обвиняемого вдруг оказался отец, как будто это он, Марецкий-старший, лично устраивал все «безобразия на развалах величия». Хотя в одном из названных безобразий – в банжете «негодяев» на крейсере «Аврора» (кстати, не все «негодяи» были там такими уж жирными, случались и стройные!) – он и в самом деле участвовал. Впрочем, Лука не мог знать этого, и то хорошо.

– В общем я, как когда-то говорили, выбрал свободу! – завершил свою тираду Лука.

Марецкий досадовал, но смирился. Порода! Он чувствовал в сыне свою породу и невольно сочувствовал ей. Конечно, археология в бизнесе не контрактна. Но кто его знает, кем сын станет в конце концов. Перебесится! Сам-то он тоже учился не маркетингу и финансам, а театральной режиссуре. И ничего, получается. Просто ум нужен, элементарный практичный ум. И характер. А бизнес тот же театр – с комедией положений, абсурдом, драмой судьбы. И зачастую не с той развязкой, что прописана в сценарии. И сколько же вокруг артистов из погорелых театров!

Спустя месяц Лука уже ездил в МГУ, на исторический. А в его поведении после Лондона произошли крутые перемены. Резко сменился круг общения. Исчезли прежние стритрейсеры, модные тусовщики и вообще мажоры. Никто не заезжал за ним на дорогих авто. Но по телефону он то и дело говорил о каких-то сходках, концертах, акциях, дежурствах. От всех материнских вопросов отмахивался: «Мне надо. Обещал. Да, собираемся. Придется идти». Озабоченная Елена пожаловалась отцу. Марецкий вызвал сына к себе. Снова попробовал сманить на откровенность с помощью аперитива. Но Лука бокал решительно отодвинул:

– Спасибо, не буду.

Марецкий как-то сразу сердцем почуял неладное.

– Это почему же? Глоток не повредит, а больше я тебе сам не налью.

– Много ли, мало – все равно бухло. Противно, когда вокруг все бухают.

– Ну и словечки у тебя! Что-то новое. Бухают, насколько я понимаю новую лексику, в подворотне. А мы...

– Вы культурно потребляете. Те – от души и до конца, вы – понемногу без конца. И что лучше?

– Ну ладно, не пьешь и не надо, о чем говорить. Я рад. Но вот Елена обеспокоена: где-то шляешься, поздно приходишь, подозрительные знакомства...

– Друзья у меня как раз нормальные. Я теперь только узнал, что есть еще люди на свете. А то говорили, что история кончилась. У нас каждый – личность, увлечен каким-нибудь делом. Я вот занимаюсь инфоцентром, хотя времени много уходит.

– Чем-чем?

– Инфоцентр «Авант» – такая площадка, мы сами ее организовали. Для дискуссий, концертов, киносмотров, других всяких штук.

– Что за дискуссии? Где это? И кто туда ходит?

– Ходят, кому не лень. И кому жаль тратить себя на ерунду. Кто способен мыслить или хотя бы рассуждать.

– У вас, конечно, не ерунда. Хотел бы верить. Дышать, глотать и переваривать еду учить никого не надо, а вот мыслить... Мысль, знаешь ли, не в числе обязательных функций организма, особенно молодого.

– Конечно, никто у нас и не сидит в роденовской позе. Лучше действовать. На днях провели фримаркет, пришло человек шестьсот. Студенты, школьники, девушки из магазинов, абсолютно трезвые люди, не панки. Собрали кучу одежды и увезли раздавать тем, кто нуждается.

– После чего, наверное, млели от собственной доброты и красовались друг перед другом! Ничего плохого в этом нет, но я бы посоветовал тебе подумывать, как сейчас говорят, чуть длиннее. Все, что мы делаем в жизни, – все без исключения – мы делаем для себя. А хорошо ли от этого другим или плохо – это уже следствие. Но тут есть и такой момент. Помогая бедным и неудачникам, ты признаешь тем самым свою вину перед ними. А эти бедные и несчастные привыкнут полагаться на чью-то помощь и вовсе разучатся работать. Хорошо, вы согласились поделиться едой, одеждой, деньгами. Готовы, как один чужак в парке Горького, накормить их икрой. Но ведь обделенные, вернее, те, кто считает себя обделенным, захотят потом, чтобы вы поделились интеллектом, образованием, тонкими чувствами, скажем, способностью понимать искусство, которой они лишены. И что тогда? Тициану выколоть глаза, Моцарту отрубить пальцы? Равный доступ к благам и удовольствиям неизбежно приведет к общей пещерной дикости. Исторически доказано.

– Но ведь вы, успешные, между собой тоже стремитесь к равенству, конечно, в том случае, когда не можете достичь превосходства. Кто не имеет миллиарда – пошли на хер, так у вас теперь выражаются? Сам человек никого не интересуется, только его счет. Завидуете, пихаетесь, готовы съесть друг друга – и продолжаете считаться друзьями. Бойтесь признаться, что во всем обанкротились. Ваш прогресс, чьим именем вы клянетесь, уничтожает больше рабочих мест, чем создает, при этом губит планету. А

вы, как под гипнозом, занудно повторяете одно и то же – «альтернативы нет». Вам бы восстановить контакт с реальностью. Дышать, думать. Время от времени выключать гаджеты. Чаще ходить пешком. Слушать музыку, настоящую, вроде Баха. Вечером смотреть на звезды...

Отец смотрел на него с любопытством, но без всякого раздражения.

– Постой, – сказал он тихо и просто. – Вот ты и проговорился. И я узнаю, что, во-первых, ты сноб, к жизни относишься эстетски, судишь обо всем свысока. Во-вторых, свою свободу выбора уважаешь, а права других нет. Тебя на этом легко поймать. И что ты понимаешь в моих делах? Если хочешь знать, мое дело уже переросло меня самого, теперь не я им владею, а оно мною. И я обязан дать ему шанс развить вполне все скрытые в нем возможности. Моему делу я отдаю все свое время, все силы, фактически жизнь. Тем, кто просит у меня помощи, я предлагаю участвовать в моей работе. И ничего другого – иначе вокруг соцветится гнездо паразитов. Тебе пора подумать серьезно, подходит ли тебе это или ты ищешь чего-то другого.

– Я подумаю. Дай мне подумать. Во мне с некоторых пор многое поменялось... Нет, чувствую, что не могу, не сумею тебе все правильно рассказать. Вспомнил, как говорил Ницше: «Носить в себе хаос, чтобы быть в состоянии родить танцующую звезду». Не бунт, не восстание, просто сбои в программах, щелчки, необычные формулировки, новые тексты... Поначалу они могут казаться абсурдом, отклонени-

ями от здравого смысла, от рациональности. Но они несут в себе сигналы... что мы, молодые, раскусили обман и выходим из игры, которую нам навязали. Все прежнее обанкротилось, пусть очистит дорогу...

– Это не вы пишете на заборах «антифа» и go vegan? – нетерпеливо прервал Марецкий-старший.

– Сам я не пишу ничего, хотя, кстати, тоже перестал есть мясо.

– Seriously? Вот куда тебя занесло! Но ведь, даже отказавшись от вина и мяса, вы пользуетесь всем, что дает экономика. Ездите в транспорте, едите не выращенный вами хлеб, болтаете по айфону...

– А разве вы сами растите хлеб или собираете машины? Ах да, вы же организаторы производства и обращения! Знаем мы эти теории! Мол, бедные и эксплуатируемые сами виноваты в своем положении, генетически к нему расположены. Живут за счет преуспевающих и богатых, то есть фактически сами-то и есть эксплуататоры. Да, да, бесстыдно обируют тех, кто в Куршавеле платит девкам за час месячную, а то и годовую зарплату рабочих. Мы таких зовем каннибалами. С ними надо разбираться, и это, согласись, в ваших же корпоративных интересах.

И эту эскападу Марецкий-старший терпеливо дослушал со спокойным и серьезным выражением лица, только морщинки у глаз выдали напряжение.

– Не бойтесь, что вас причислят к экстремистам со всеми вытекающими?

– А как ты думаешь? Я думаю – могут, – согласился Лука. – Когда правит ложь, думать самому и говорить правду – уже экстремизм.

– То, что одному правда, другому кажется ложью.

– Значит, ложь и правда для вас неотличимы?

Потому и спите спокойно, хотя и зачастую с психотропными средствами. Мы это знаем. И просто ждем, когда все поменяется, слепые сменятся на зрячих, поддатые – на трезвых, мертвые – на живых.

– Значит, потрясений не ждать? А пока будем учиться?

– Будь спок.

– Спасибо.

«Вылупившегося птенца обратно в яйцо уже не засунешь, – говорил себе Марецкий, допивая в одиночестве бокал. – Ничего, пройдет и это!»

Жизнь давно уже убедила его, что богатство без какой-то твердой цели и понятного смысла калечит человеческую природу. Сам он давно избавился от иллюзий, что жизнь в изобилии лучше, полней и подлинней, чем насыщенная трудом жизнь в скромном достатке. Когорта «пионеров бизнеса», как сами они себя называли, неожиданно очутилась среди фантастических машин, королевской мебели, чудодейственных лекарств, с услужливыми правительствами и законодателями, при неотяготительных гражданских обязанностях. Быстрые, необъяснимые и немотивированные перемены в стране психологически искалечили их и, подрезав жизненные корни, уже не дают ощущать саму сущность жизни, вечно темную и насквозь опасную.

«Те трудности, что противились моим планам, моему предназначению, как раз будили и напрягали силы и ум, – размышлял Марецкий. – Если бы

тело человека не весило, он бы не мог ходить. Без жизненных проблем и конфликтов, без усилий для их преодоления у наследственных мажоров мозги размягчаются, их удел – вырождение. Изобилие, которым наследник вынужденно владеет по факту рождения, отнимает у него собственное предназначение, омертвляет данные ему способности».

Каждая жизнь – борьба, и Марецкий видел и осознавал, как Лука борется, чтобы стать самим собой, получить право на собственную жизнь. Борется ни с кем-нибудь, а прежде всего с ним, с отцом, как библейский Иаков за место в истории боролся с Богом.

ПОВЕЛИТЕЛЬ ПУСТЫНИ

«Под вечер, когда жены выходят черпать воду», «когда наступает прохлада дня» – то есть, переводя язык Библии на привычный циферблат, в шестом часу пополудни – местность накрыл величавый марш из «Аиды», падший ниоткуда, вроде как с самого неба. И мгновенье спустя с восточной стороны, из-за ближайшей горы, в черно-золотых нарядах, опять же оперного вида, показались ряды музыкантов. Подняв к небу серебряные трубы-хацоцры, ударяя в кимвалы и бубны, они выходили из укрытия и стройной ритмичной поступью направлялись к лагерю. За музыкантами выступала живописная группа воинов, наряженных по-римски в светлые плащи и короткие юбки, с мечами на поясе и копьями в руках. Приблизившись к палаткам на полет камня, ко-

лонны рассредоточились двухрядным полукругом – впереди воины, музыканты за ними.

Обитатели шатров высыпали наружу. Музыка смолкла. После внушительной театральной паузы взревели рога-шофары (от звука которых, как известно, не устояли иерихонские стены) – и тогда из-за горы на авансцену с торжественной медлительностью стали выходить верблюды-арабианы. Их встретили криками восхищения и даже аплодисментами. Было на что посмотреть: верблюды были покрыты узорчатыми ковровыми попонами, оплетены ременчатой сбруей с множеством украшений и звучащих при ходьбе металлических пряжек. Держа за золотые цепочки, их вели закутанные во все белое, с завязанными до самых глаз лицами, проводники-бедуины. И только один из арабианов, последний, нес на себе седока. Подобно шейху, он восседал под вычурным балдахинном в роскошном, укрепленном на верблюжьей спине седле, хотя сам был одет – в контраст всей опере – в обычный серый костюм, к тому же из-за дороги изрядно помятый.

Вот это да! Все узнали в седоке Максима Арьевича Халдея, ожидаемого с самого утра вождя и предводителя экспедиции. Он поднял руку, громко крикнул что-то – и весь караван замер. Музыканты заиграли туш, воины потрясли копьями, верблюдов под наездником довольно изящно сложился – и Халдей, неловко вынимая ноги из попоны, сполз на землю. Этот человек был высок и худ, странным образом как-то казался одновременно бодрым и изможденным, приветливым и в то же время угрюмым. По-

махав рукой присутствующим, слегка прихрамывая и пошатываясь, он побрел к большому шатру. Два официанта в бабочках тут же вышли навстречу. Один из них держал поднос с напитками, другой – с сигарами и янтарным курительным прибором. Халдей взял фужер с водой и, повернувшись к каравану, дал знак отмашки. И вся процессия – дромадеры, музыканты и воины – со стуком, бренчаньем и вздохами развернулась, втянулась обратно в гору и исчезла за нею, как будто ее никогда и не было.

Халдей же уселся в подставленное камышовое сиденье, взял и раскурил сигару. Делал он это столь внушительно, как будто свечу ставил перед самим собой. Несмотря на возраст, худобу и усталость, взгляд Халдея не потерял острого блеска. Казалось, глаза эти пылали некогда ярко, от нестерпимого огня таяла плоть лица, стекала вниз и застывала, как свечная масса, небольшими мешочками правильной отечной формы. Вообще все существо Халдея вело себя удивительно и каждый миг меняло свой внешний вид, а его лицо, как будто уставая быть серьезным, время от времени кривилось новой гримасой. Наверное, художнику, возмись он рисовать портрет, вряд ли бы удалось поймать этого лица настоящее выражение. Вереину, который в числе других поспешил к «шефу», сначала представилось, что тот, смотря на него, едва сдерживает смех и хочет отпустить какую-то шутку. Спустя мгновение он был уверен, что у Халдея в отношении него что-то нехорошее на уме, вроде злобной насмешки или ругательства, так что даже приготовился к отпору.

Но когда тот поднялся и шагнул навстречу, Вереин увидел на его лице приветливую, хотя и немного лукавую, улыбку.

Халдей провел день в поездке по стране наедине с сопровождавшим его лицом из правительства.

– Слушай, мне не нравится, что здесь творится. Мне трудно смириться с этим, – сказал он ему в заключение.

– С чем конкретно? – спросил чиновник.

– Да вот хотя бы с этой канавой, что разрезает страну пополам.

– Это трансизраильский канал. Мы должны обеспечить себя водой.

– Хорошо, хорошо! Ну, а эти заводы, аэродромы, автобаны... Ведь они же сводят на нет те чувства, что должен каждый испытывать здесь. Прежде, говорят, все выглядело, как в библейские времена. Я видел снимки, сделанные при англичанах или вскоре после создания государства. Но сегодня просто невозможно перенестись душой в древний Израиль. Всюду города, большие постройки, бетон...

– Так что же все должно оставаться, как при царе Соломоне?

– Нет, я не против прогресса! Я даже «за», когда речь идет об Америке, Европе да и России. Но это ужасно – разрушать страну, которую ценят в мире, как символ всего святого. Когда лет тридцать назад я впервые здесь оказался, в некоторых местах попадались источники, выглядевшие, как на картинах из жизни Христа. Мне удалось тогда заснять девушек, шедших от родника с глиняными кувшинами на го-

ловах, невероятно похожих на Рахиль или Мириам. А что теперь? Всюду артезианские скважины и водокачки!

– Вы живете в Москве, не так ли? Разве она не изменилась... скажем, за те же последние тридцать лет?

– Москва – совсем другое дело, ее никто святой землей не считает. А здесь... знаете, мы были в прошлом году в соседней Иордании и увидели, что там сохраняют свою землю такой, какой она и привыкла быть. Там встречаются просто библейские патриархальные картины. И на сердце становится тепло. А здесь... в таком месте, как Тверия, на берегу священного моря – жилищное строительство, автобусная станция, туристская гостиница. Мужчины и женщины, одетые, как всюду в Европе. И это убивает всю атмосферу.

– Мы благодарим вас за помощь, – отвечали ему. – Но почему бы вам, столь ценящему наши реликвии, не перевести сюда бизнес?

– Нет, я привык делать деньги в России, – отрезал Халдей. – Да, мне хотелось бы, чтобы в Израиле сохранялись старые обычаи. Но когда я занят делами, всякие запреты и ограничения могут мне помешать.

И тут случилось то, чего Халдей никак не ожидал и не мог предвидеть. Правительственный чиновник наклонился к его уху и просипел (он, видно, не хотел, чтобы его слышал водитель):

– К черту! Лучше, если бы вы навсегда забыли нас и никогда не приезжали сюда. Комедианты! Не лезь-

те к нам со своими маскарадами! Мы хотим быть нормальной современной страной.

И добавил, отстранившись:

– Не для передачи, уважаемый Максим Арьевич!

«Какой нахал! И, что всего обиднее, про маскарад и комедиантов почти угадал», – думал Халдей, расставшись с чиновником и поглядывая из машины на быстро меняющийся пейзаж – от зеленых садов и взгорий к каменистой пустыне. Он действительно был такой – серединка на половинку, то исполнял кое-что из предписаний духовных наставников, то начисто забывал о них в суете. Инстинктивно, в глубине души все-таки больше верил старине Дарвину, а может быть даже и Марксу. «Статус человека определяется его местоположением в пищевой цепочке. Или ты съешь, или съедят тебя – вот закон. И другого нет. Победитель всегда прав, закон на его стороне. В борьбе побеждает сильнейший. Или, как вариант, – умнейший, хитрейший... Победил – и пользуйся своей победой, живи, радуйся. Прежние суеверия, все эти сомнения, поиски смысла жизни, запреты, ограничения только мешали. Теперь он свободен, может жить, как хочет, не оглядываясь на чьи-то мнения. Никто не осудит, когда ты успешен. Весь мир таков, что стесняться нечего!»

Но он знал и другое: что сам по себе он теперь никому не интересен, что в рыночной системе его ценность определяется спросом, а не его человеческими качествами. Поэтому его самооценка стала зависеть от суждения других, а их суждения – от размера его капитала. «Он стоит два с половиной

миллиарда», – он и сам теперь оценивал людей подобным образом. «Я с людьми работаю, а не дружу», – говорил он, когда кто-то намекал на снисхождение из-за старых приятельских отношений. Все осуждают богатство, и все его жаждут. Главное в том, что богатство спасает от немедленного суда, вынимает вас из толпы, осаждающей вагоны метро, и предоставляет роскошное авто. Изолирует вас за высокими стенами особняков, в специальных вагонах и самолетных отсеках, снабжает продлевающей жизнь экологической пищей и вздрючивающей медициной. Конечно, богатство – не оправдание, вовсе нет, но хотя бы отсрочка...

Он знал, что за деньги можно купить видимость уважения и покорность, восхищение и авторитет. Можно нанять людей всех других профессий и должностей, способных и готовых устроить ему благополучное и комфортное существование, – политиков, чиновников, инженеров, архитекторов, экономистов. Да и представителей так называемых творческих интеллигентных профессий, которым по роду занятий приходится соприкасаться с внутренним миром людей и даже с потусторонними сферами, – писателей, художников, священников и раввинов, артистов, журналистов, педагогов. Все они добровольно признают его превосходство, избранность, охотно соглашаются служить и угождать ему. А разве не ограждают его интересы и прихоти адвокаты, судьи, полиция, исполнители наказаний – тюремщики? Разве не богатство порождает ночные клубы, бордели, конкурсы красоты, стриптизерш,

малолетних проституток, придумщиков всяческих развлечений – от женских боев в жидкой грязи до космического туризма? Нет ни одной, хотя бы самой случайной, капризной, порочной или даже преступной выдумки богатых людей, которая не нашла бы тотчас исполнителя и слугу. И со временем он почувствовал, что у него есть хотения, которые можно удовлетворить, но нет других хотений, которых по какой-то причине нельзя было удовлетворить. И жить ему стало тоскливо. Он осознал, что во вселенной нет ни добра, ни зла, ни цели, ни замысла – ничего, кроме слепого и безжалостного безразличия.

«Понимаю, что тем, кому не досталось, завидно: каждому хочется. Хочется – так борись, сам борись, а не проси, чтобы дали... Не проси даже у Бога. Собственность раздавалась, можно сказать, даром. Просто одни раньше других поняли, что вскоре общее добро перестанет быть общим. Удивительно, что людей, готовых драться, пихаться и кусаться за богатство, оказалось не так уж много».

Еще удивительнее: когда он хватал куски собственности, пихался, жадничал, то ниоткуда не встречал не только прямого отпора, но даже малейшего косвенного ограничения, которое заставило бы его подумать: вот, дескать, и схватил бы еще, да людей совестно. Ничье суждение не беспокоило, ничей нескромный взгляд не тревожил – следовательно, не было повода и самому себя контролировать. Нахрапистость и презрение сделались главною чертою его отношения к другим людям, что в бизнесе, что во власти.

«Все данные для того, чтобы стать богатым человеком, заложены во мне самом, причем изначально – не знаю, от бога ли, от родителей. Моим преимуществом было то, что я не терзался никакими комплексами: смогу – не смогу, достоин – не достоин, не слишком ли много беру, не опасно ли... Начнешь размышлять, сомневаться – и пропал, изо рта вырвут. Не получается так? Ну, извини, не каждому дано быть успешным. Да и не положено каждому, иначе что это был бы за успех».

Он вспомнил сына, как тот говорил на днях, что выделенных ему денег мало, чтобы начать серьезное дело, просил прибавить несколько миллионов. Он отказал, и Артур ушел недовольный. «А ведь все перейдет ему, когда я умру», – подумалось после его ухода. Вдруг стало ясно до беспощадности, что сын, по логике вещей, должен хотеть его смерти, ждет ее и, возможно, торопит. Он улегся в постель, долго читал, чтобы изнурить себя и заснуть, но мысли не уходили, а язвили все больше и больше.

«Борись, побеждай! Я убрал с дороги конкурентов, мне приписывают смерть замминистра, не пропуская проект, исчезновение еще нескольких человек... Я готов был пойти на это – и я победил. А ему, Артуру, кого надо убрать с дороги, чтоб победить и стать первым?»

Давно как-то отметил он у Екклесиаста эти жуткие строки, и вот они снова припомнились: «Пресыщение богатого не дает ему уснуть. Мучительный недуг я видел под солнцем: богатство, сберегаемое владельцем во вред ему. И гибнет богатство это от

несчастных случаев: родил он сына – и ничего нет в руках у него. Как вышел он нагим из утробы матери своей, таким и отходит. Какая же польза ему, что он трудился на ветер?»

Он в ужасе привстал на постели. «Кого убрать? Да меня и убрать, одного меня! Это я стою на его дороге, никто другой. Только и знает: «Дай, дай, дай!» Никакой сыновней любви, вообще ничего человеческого. И сколько бы я не давал ему, по существу это ничего не изменит. Для него радикальное решение – когда меня не станет, завладеть всем».

Максим Арьевич вспоминал поступки и слова Артура – и ему становилось все яснее, что сын хочет его смерти. Так в жизни все устроено, что не хотеть он не может. Да он и сам хотел бы того же, если бы был в его положении. «Конечно, он не станет мараться, побоится попасться на этом, погубить себя. Но есть ведь множество способов: наемные киллеры, перекупленные охранники, медленно действующий яд, дистанционное облучение. Если у него появилась такая мысль – а она неизбежно должна появиться – то мысль будет таиться и зреть, пока не созреет. А уж осуществить ее способ найдется».

Ему вспомнились разговоры в их кругу о таких способах убирания «вредных людей», что и следов потом не сыскать. «Он говорил как-то, что я уже не способен к большим делам, что у меня все идет по инерции, на спад, а он знает, как сделать лучше, по-новому. Да, он готов, готов, мысль созрела! Подкупить людей, нанять исполнителя... Это не сложно, все продажны».

Он перебирал в памяти своих шоферов, охранников, прислугу. «Как я мог терпеть этого водителя! Его же видно – за полмиллиона расшибет, бросит на столб. А официанты? Надо осторожнее быть с вином, с вином обычно и подают...»

Он попытался вообразить себя охранником, поваром, уборщицей, официантом, стать на их точку зрения, глянуть в их душу – и оттого становилось по-настоящему страшно. «Вот и ты бы, получай жалованье, какое они... конечно, не плохое, выше, чем у других, но все же обычное. А рядом с тобой, в одном доме, миллиардер, богатейший... Да ты бы тоже считал, что все это ему даром досталось, с неба свалилось, по заведенному неизвестно кем порядку и списку. А еще бы знать, твердо знать, вот как и я знаю, что нет Бога и настоящего закона нет, того закона, который не подкупленными людьми придуман, а, считалось, Богом был дан. Нет закона, нет и суда. И что бы ты сделал? Да то, что и мы все делали в свое время – отпихивали друг друга, кидали, старались избавиться от напарников, да и просто свидетелей».

От волнения пересохло во рту. Халдей протянул руку к бутылке с водой, стоявшей на столике у кровати. На дне бутылки какой-то мутный осадок. Он встал и вылил всю воду в раковину, а сам напился из крана.

«Что ж, борьба так борьба! Значит, не зевать, быть на взводе. Пить и есть то, что жена. Да и ей веры нет. Молодая, красивая, еще может найти себе пару. Знает, что ей – третья часть. А ее родственники, которым она все дарит... Верно, тоже ждут. Хищники,

кругом одни хищники! Значит, надо так сделать, чтобы им не было никакого смысла в его конце, никакой надежды конвертировать его смерть в богатство. Надо составить завещание такое, чтобы ничего им потом не досталось. Обязательно, завтра же!

Не откладывая до утра, Халдей набил в поисковике задание: «Составить завещание». Послушная машина тут же выбросила ленту текстов. Максим Арьевич стал читать первое попавшееся:

*Нам надлежит составить завещанье,
Избрать душеприказчиков. Но что же,
Что вправе завещать мы? Плоть – земле?
Владеет враг всем нашим достояньем,
А нам принадлежит лишь наша смерть
Да эта жалкая щепотка глины,
Что служит оболочкою костям.*

Шекспир, Ричард II

«Да, мрачно зато смотрел на жизнь Шекспир, вернее, король Ричард Второй! Но что на самом деле здесь тебе принадлежит? Что здесь твое – бесспорно и без оговорок? Твое образование, знания, характер. Конечно, твои воспоминания, вообще прошлое. А все другое... нет, не ты им владеешь, оно владеет тобой. Вот, считал своими жену, сына. Теперь понял: они не твои, принадлежат самим себе, у них свое «я», они вне тебя. И могут действовать против тебя».

Ему захотелось вернуться к Шекспиру. О, как все в руку! Все, все то самое, о чем сам он думал в последнее время непрерывно:

*Давайте сядем наземь и припомним
Предания о смерти королей.
Тот был низложен, тот убит в бою,
Тот призраками жертв своих замучен,
Тот был отравлен собственной женой,
А тот во сне зарезан – всех убили.
Внутри венца, который окружает
Нам, государям, брненное чело,
Сидит на троне смерть, шутиха злая,
Глумясь над нами, над величьем нашим.*

Заснуть теперь не было никакой возможности – и Халдей стал мысленно составлять текст своей последней воли. Кому же отдать все свое состояние? Есть ли на свете человек, группа лиц, организация, учреждение, которым он с радостью, с желанием благодетельствовать, обогатить, отдал бы крупные куски своей собственности? Таких не было. Во всяком случае ничего не приходило ему в голову. Он отложил завещание до утра и снова улегся. Ему стало сниться, что в комнату его ломятся, что пришли его убивать. Он в потемках не может найти пистолет, а свет не зажигает из страха. Хочет позвонить – а из мобильного льется музыкальная дрянь «Муллион, муллион алых роз»...

С той ночи в поведении Халдея произошла перемена, которую заметили и жена, и друзья, и обслуга. Прежде его настроение было переменчивым: он бывал и строг, и сердит, и озабочен, но временами становился веселым и игривым, добрым и ласковым, шутил и смеялся. Теперь же он непрерывно

был молчалив, задумчив, тревожен, смотрел хмуро, говорил холодно, резко, даже с внуками. Избегал друзей, разговоров, предпочитал уединение. И все мозговал над составлением правильного завещания. Адвокаты, которым он раньше доверял самые сложные и щепетильные дела, никак не могли угодить ему с документом. Он сам писал, редактировал, заново переписывал. Стал привередлив в еде. Часто отказывался обедать дома, а рестораны и кафе постоянно менял. За завтраком иногда отодвигал свою тарелку и брал тарелку жены или дочери. Вино же и коньяк стал покупать сам и держать под замком в личном сейфе.

Почти перестал лично заниматься бизнесом. Доходы его почти не интересовали. Деньги, которые раньше составляли нерв и смысл существования, теперь только пугали: чем больше их становилось — тем больше страха и неуверенности. Он понимал, что все, чем он владел, нельзя уберечь от таких людей, каким он был сам. Если все уверяется, что Бога нет, следовательно, нет и настоящего, твердого закона, никакие силы тогда не уберегут его. Состояние отнимут силой или обманом, а его самого отравят, задавят в машине или застрелят. Значит, надо не показывать свое неверие, а наоборот внушать людям, что мир основан на вере, на законе, что есть высший порядок и высший суд. И потому Халдей стал заговаривать с ближними и друзьями о традициях и духовных ценностях, о неизбежности суда над теми, кто не соблюдает законы. И, наконец, придумал необычное путешествие в Израиль, к ко-

тому постарался привлечь некоторых богатых и именитых российских единомышленников. В этом теперь он видел свое спасение от коварных замыслов домочадцев, деловых партнеров и друзей юности. Он много вкладывал в этот экзотический поход московских миллиардеров по израильской пустыне. Конечно, речь не о денежных вкладах – они его мало волнуют – Халдею хотелось показать себя первым среди равных, лидером. Игра стоила свеч!

КОЗЛЫ ОТПУЩЕНИЯ

В пустыне темнеет быстро. Недолго поиграв легкой охрой, погас закат, сгустилась небесная синева, мягкой мглой заволокло горы. Лишь редкие голоса оживляли табор. Но вот в темноте вспыхнула электричеством резиденция Халдея, прозвучал рожок – и обитатели лагеря потянулись на свет.

Внутренность шатра оказалась обустроенной в восточном стиле: на полу от стенки до стенки ковер цветов предзакатной пустыни, по краям шелковые подушки, в середине на простых глиняных тарелках простое же угощение – лепешки, сыр, хумус, орехи, виноград, финики и курага, зелень. Никакой мебели, только в глубине стол, уставленный глиняными кувшинами и кружками, с двумя официантами по сторонам.

Гостей встречал сам Максим Арьевич. Каждому он жал руку и однообразно приветствовал: «Добро пожаловать!» И добавлял: «Рассаживайтесь. Вернее, разваливайтесь. Вообразите, что вы в походе». Громким возгласом «Вот это да! Кто бы мог поверить в

такое счастье!» приветствовал Халдей Ренату и ее спутника. Потом представил всем скромно державшегося в стороне бородатого мужчину в кипе, одетого в темный сюртук: «Мой друг профессор Иосиф Гальперин, самый мудрый и самый ученый человек на земле». Мужчина молча, с тихой светлой улыбкой поклонился и снова отошел в сторону.

Стали размещаться на ковре и подушках, полулежа, с подобранными коленями. Лука постарался занять место подальше от отца. И – о чудо! – рядом с ним оказалась единственная в компании женщина, вообще единственная такая на свете – Рената Бояркова. Он старался не смотреть на нее, но против своей воли ощущал и ловил всеми напрягшимися клетками ее аромат и нежное тепло коснувшегося бедра.

Официанты, ловко наклоняясь между возлежавшими, расставляли кувшины и кружки.

– В одних кувшинах у нас вино, в других вода из здешнего знаменитого колодца, она, говорят, еще слаще вина, угощайтесь! – объявил Халдей.

– Подтверждаю эти слова, – сказал Иосиф, он свободно говорил по-русски. – Именно здесь, неподалеку, Авраам с царем Авимелехом заключали союз о колодце. «Вирсавия – это место, ибо тут оба они поклялись». Колодец и сейчас полон воды.

– Мне вина, – услышал Лука голос соседки, но не придавал значения, и вскоре получил толчок локотком в спину. – Эй, я вам говорю!

Он обернулся и увидел прекрасные смеющиеся глаза и губы. Наощупь схватил первый подвернувшийся кувшин.

– А что там – вино или вода? – спросила Рената.

– Вино, красное.

– Тогда налейте.

Он доверху налил подставленную кружку.

– И себе.

Так повелительно с ним еще никто не говорил. Но и слушаться никогда не было столь приятно.

– Ну вот, а теперь чокнемся. Как вас зовут?

Лука назвался.

– А вас?

В конце концов он не обязан знать ее до знакомства. Красавица улыбнулась и, вдруг близко наклонившись к нему, прошептала:

– Хазва. Вам я могу сказать свое настоящее имя.

И тут же прервала общение, повернувшись к спутнику, возлежавшему возле нее справа. О чем-то они заворковали вполголоса.

Пришлось слушать, что говорил Халдей. Тот вроде бы был занят с ученым, но говорил так, чтобы слышно было и всем остальным:

– Как измельчали люди! Мне показали здесь строящийся порт, его должны были сдать еще лет десять назад. Храм Соломона, я вам скажу, в объемах был не меньше, а построен, при той технике, всего за семь с половиной лет. Правда, работали на премудрого царя не одни лишь люди, но и духи, умел он впрягать и демонов. Бывало, пригрозит им перстнем, они, дрожа от страха, бегут исполнять.

Иосиф кротко смеялся:

– Складно рассказываете, будто видели.

– А что, может, и видел, – отвечал Максим Арьевич. – Я ведь много кое-чего на свете успел пови-
дать. И убедился, что люди всегда и везде одина-
ковы – думают только о себе, а любовь и счастье
приписывают удаче.

– Но можно сказать и так, что нигде нельзя купить
счастье за деньги и подкупом добиться любви.

Халдей на это поднял бровь, но ничего не сказал.
Он высоко ценил кругозор и познания профессора.
Иосиф Гальперин в Санкт-Петербурге учился читать
древние еврейские, арамейские и арабские тексты.
В Париже занимался семитологией и гебраистикой.
В вавилонской и ассирийской клинописи, в египет-
ских иероглифах он разбирался столь же бегло, как
обычный человек в ежедневной газете. В «Карне-
ги-Тех» изучил технологии древней металлургии,
так что теперь безошибочно определял в местных
археологических находках происхождение метал-
лов и сплавов. В нью-йоркском музее «Метропол-
итен» исследовал костюмы и оружие. Поднаторел
в ископаемой нумизматике и керамике, древней
архитектуре и военном искусстве. Все это сделало
его авторитетнейшим специалистом по всему своду
библейской тематики. И вот такой человек пришел
сегодня рассказать о земле, на которую ступили пу-
тешественники, и о ее преданиях.

Иосиф переменял положение, подоткнул под себя
подушку и, улыбнувшись в бороду, начал негромко,
ни к кому особенно не обращаясь. Но именно это за-
ставило всех прекратить смех и частные разговоры
и преклонить уши к говорившему.

– Мне часто приходится выступать перед приезжими – из России, Европы, Америки. Одни считают себя паломниками, другие – просто туристами. Разница тут чувствительная, прежде всего в отношении к тому, что видишь и слышишь, а следовательно и в восприятии. Я вас пока что мало знаю, а потому назову предварительно странниками. Имя это почтенное. Сам Авраам, говорится в Книге, «жил в земле Филистимской странником». Все праотцы наши были странниками, пока при Иосифе Прекрасном не осели в Египте. Но и оттуда, из-под длани фараоновой, сбежали и сорок лет странствовали в пустыне. А потом, после падения царства и разрушения храма, – не странствовали ли по свету еще почти две тысячи лет?

– Я согласен, – внушительно сказал Халдей. – Все мы на этом свете странники.

– Не исключено, что и на том свете будем тоже. Потому я приветствую ваше желание пройти пешими по пустыне и так ближе узнать нашу страну. Есть ли в мире другая земля, пробуждающая столько дорогих сердцу воспоминаний? Эти слова, между прочим, принадлежат Ивану Алексеевичу Бунину, побывавшему здесь за сто лет до вас. Да, эта земля настолько одухотворена тысячелетней мыслью, что здесь не вы смотрите на пейзаж, а он смотрит на вас и говорит вам. Что говорит? Это зависит от умения слушать. Жизнь не только религиозного, но всякого знающего историю человека – сплошное воспоминание. Расскажу об израильтянах. В праздник Рош а-Шана мы вспоминаем праотца Авраама,

жившего четыре тысячи лет до нас. В Песах – бегство из древнего Египта. В Суккот, праздник Шалашей, вспоминаем сорокалетнюю жизнь в пустыне. В Пурим – страшные, но и веселые приключения предков в древней Персии. В Хануку празднуем победу Маккавеев. 9-го Аба скорбим о потере Иерусалима. А еще Иом-кипур, Судный день. Трудно быть столь древним народом! Уверен, что перед поездкой все вы усердно читали Библию и потому вам знакомы имена и топонимы, которые я стану называть, и вы сумеете меня поправить в случае, если допущу ошибку.

Все согласно закивали.

– Да, существенное замечание, – с веселой улыбкой сказал Иосиф. – У меня не лекция, а вы не студенты. Потому продолжайте есть и пить. И будем беседовать.

Лука снова почувствовал толчок в спину:

– Так вы будете за мной ухаживать?

И снова, обернувшись, с радостным сердцем увидел лицо Ренаты, налил в протянутую кружку вина.

– А теперь дайте мне лаваш и сыра, и зелени, с утра ничего не ела. – Она не оставляла свой повелительный тон. – А вы почему ничего не пьете?

– Вина я не пью, а воды не хочется, – сказал Лука.

Рената с интересом на него посмотрела.

– Вот как? Что-то новенькое. А какие же удовольствия вы цените?

– Я многое ценю, но об этом после. Меня другое сейчас забавляет, – Лука развернулся к соседке всем корпусом.

– Что же?

Соседка выказывала желание поболтать.

– Привязанность людей к еде. Согласитесь, в этом мы слишком уж похожи на животных. Самые возвышенные умы, самые духовные, даже мистические личности, творческие гении, парящие душой в надмирных сферах, должны потом приземляться и идти обедать. Создатель, если уж хотел выделить нас из других существ, мог бы устроить и наше питание как-нибудь иначе, например, энергией света. Вот на вас глядя, нельзя и подумать, что вы потребляете что-либо, кроме солнечных лучей и романтической музыки.

– О, да вы мастер на сладости! – засмеялась Рената. – Я не совсем вас разочарую, если позволю себе еще сыра и винограда, вон того, желтого?

– Этот виноград как раз к вашим глазам, – успел сказать Лука.

Халдей между тем говорил профессору:

– Боюсь показаться интеллектуалом или, хуже того, начетником... Довелось недавно прочитав о редком заболевании. Название, конечно, не вспомнишь. В общем, встречается у некоторых людей исключительная способность сохранять в памяти, до мельчайших подробностей, всю свою жизнь, все факты биографии, начиная с самой ранней поры, чуть ли не с купели. Ученые посчитали эту особенность болезнью, хотя можно назвать и талантом, и даром Божьим, кому как нравится. В медицинском журнале, кажется, американском, описывается симптоматика: человек тратит очень много времени на

мысли о своем собственном прошлом и, главное, заново, горячо и порой болезненно переживает конкретные события из своего прошлого, чаще всего давние. А ведь похожие признаки можно увидеть и в самочувствии целых народов, вы не находите?

– Конечно, бывают крайности, – сказал Иосиф. – Но человек без памяти, без прошлого, по-моему, похож на высохший пустой орех. По Платону, вообще всякое знание есть не что иное, как воспоминание.

В знак согласия Халдей склонил голову:

– Вот потому мы и здесь, вроде козлов отпущения.

– И за чьи же грехи – всего мира или за свои собственные?

– Нет, господин мой, все гораздо проще: нас самих временно отпустили на волю – жены, заботы, обязанности.

Иосиф засмеялся. И тут же заговорил серьезно:

– Но не забывайте, что, где бы мы не находились, главные наши обязанности – всегда с нами. Как известно, Тора содержит 613 законов – 365 запретительных и 248 разрешительных. Где же тут свобода, особенно если понимать свободу в современном смысле? Шагу нельзя ступить без опасения что-то сделать не так и попасть в «беззаконники». И все же, несмотря на все обременения, израильтяне посчитали (считают и сейчас), что приняв бремя скрижалей, они ушли от рабства, прежде всего духовного. Да, повозмутились, конечно, побунтовали в пустыне – но в конце концов дали клятву строить свою жизнь строго по заповедям. Ибо только так, с веригами

закона, с наказаниями за малейшее отступление от него, было преодолено в человеке животное начало и обретено божественное, вечное, жизнь получила смысл. Человек из раба своих желаний, своей животной природы превратился в свободное существо, в этом смысле равное Творцу.

– Это верно, – для чего-то вставил с тяжелым вздохом Халдей. – Свободный человек невыносим. Как и не имеющий ни в чем нужды.

Профессор продолжал:

– Избранный же не в силах уклониться. Где бы ни скитался еврей, никто и ничто не может его освободить от Закона. Значит, его Закон не признает границ, он действителен в любой стране. Если человек берет с собою Талмуд, с ним и его дом.

– А вам не кажется, что некоторые его статьи устарели, что их невозможно соблюдать в современной жизни? – вмешался Вереин. – Кое-что сейчас представляется бессмыслицей, вроде запрета варить козленка в молоке его матери.

Иосиф улыбнулся и отрицательно покачал головой.

– Не поддается воображению, но мудрецы-толкователи целых девять лет обсуждали эту строчку Торы. Было это в четвертом веке. Крутили и так, и эдак, пытались уловить все оттенки смысла этой на вид странноватой заповеди. В результате такого, как бы мы сейчас сказали, мозгового штурма были сформулированы правила приготовления пищи, обязательные для выполнения всеми евреями на все времена. Да, регламентация жизни Талмудом ко-

е-кому кажется чрезмерной. Но насколько же легче жить в доме, где всякая вещь на своем месте, а члены семьи точно знают, как поступить в той или иной ситуации и чего ждать в каждом случае от соседа.

Вот Тора кратко и без всяких пояснений требует не работать в субботу. Но что считать работой, а что видом отдыха? Если то, чем я занят в данное время, назвать лекцией, то, выходит, я работаю и тем самым нарушаю Закон. Если же просто провожу время за приятной беседой с друзьями, как это и есть на самом деле, то я тогда отдыхаю и не совершаю ничего предосудительного. Мишна, а это часть Талмуда, называет сорок основных видов запрещенных в Шаббат работ. Назову некоторые, чтобы вам по незнанию не впасть в беззаконие. Конечно, сеять, жать, печь вы не станете, так что опустим. А вот это, пожалуй, актуально для вас – нельзя завязывать или развязывать узлы. Надеюсь, обувь у вас у всех без шнурков, на липучках? Хорошо. Охотиться за антилопой не собираетесь? То-то! Нельзя разжигать огонь, чистить платье. А вот этот запрет уж точно к вам относится – «И пусть писец не притрагивается к своему перу». Добавим: и к клавишам тоже. Еще такое вот предписание: в Шаббат мужчина не должен держать у себя в кармане гвоздь от виселицы. Но почему, спросите вы. Да потому что такой гвоздь носят для удачи, то есть для дела, а это запрещено.

Вот так легко и ненавязчиво раскрыл профессор Гальперин субботние наказания Талмуда. Но забыл почему-то напомнить еще об одном важном запрете: «Мужчина в возбужденном состоянии не должен

трапезничать с находящейся в таком же состоянии женщиной». Наверное, не считал его актуальным при практическом отсутствии в шатре женщин. Между тем состояние Луки было близко к критическому. Он всем существом своим ощущал токи, исходящие от соседки, ловил воспаленным слухом ее слова, смех и дыхание. И чувствовал, что пуповина, неожиданно соединившая его с нею, от мига к мигу становится все прочней и короче. И потому он не расслышал, как профессор объявил небольшой конкурс на знание Библии и зачитал задание:

– Кто был первым царем Израиля?

– За что были изгнаны Агарь и Измаил?

– Какое описанное в Ветхом Завете событие в иудейской традиции отмечается в виде карнавала?

И еще несколько подобных вопросов. Нет, у профессора вовсе не было намерения уличить собеседников в невежестве – подобные задачки в Израиле задаются и решаются на обычных школьных викторинах и конкурсах. Но в нашем шатре после его слов повисла неловкая тишина. И потому особенно громким показался женский голос:

– Можно мне задать свой вопрос?

Иосиф согласно кивнул. Все уставились на Ренату.

– Меня зовут Хазва, это мое настоящее имя. В какой части Библии действует женщина с таким именем? И что произошло с нею?

Иосиф снова кивнул:

– Вношу ваш вопрос в конкурс для всех присутствующих. А сам тем временем поищу текст.

Он включил вай-фай роутер и стал заниматься с ним. Через пару минут поднял голову, оглядел сидящих. Желających отвечать на вопросы не прибавилось.

– Вопрос милой нашей собеседницы действительно не простой, – кротко сказал Иосиф. – Во всяком случае и я поначалу растерялся. Слава Создателю, помогла техника. Героиня с именем Хазва является в «Числах», в главе 25-й. Разрешите зачитать? – обратился он к Ренате.

– Читайте! – скомандовала Рената с нотками вызова и торжества.

Иосиф приподнял аппарат ближе к глазам:

– «И сказал Моисей судьям Израилевым: убейте каждый людей своих, прилепившихся к Ваал-Фегору. И вот некто из сынов Израилевых пришел и привел к братьям своим мадианитянку... Финеес, сын Елеазара, сына Аарона священника, увидев это, встал из среды общества и взял в руку свою копье, и вошел вслед за израильтянином в спальню, и пронзил обоих их, израильтянина и женщину в чрево ее: и прекратилось поражение сынов Израилевых... Имя убитого израильтянина было Зимри, сын Салу, начальник поколения Симеонова; а имя убитой мадианитянки Хазва, дочь Цура, начальника Оммофа, племени Мадиамского».

Как только чтение смолкло, все обратились глазами к Ренате. Она сидела неподвижно, прямая, смотрела перед собой, губы ее дрожали, а по бледным щекам сбегали слезы.

– Что с тобой? – шепнул ей Вереин. – Зачем все это? Разве ты Хазва, дочь Цура? И не пей больше!

Рената молчала, прижимая салфетку к щекам.

На том и окончился вечер. Все расходились в неловком молчании.

Лука с отцом, тщательно задраив в своем шатре молниями выход и окна, занавесив специальной кисеей кровати, тут же улеглись и погасили свет. Лука был рад, что ему никто не будет мешать думать о прекрасной обитательнице близлежащего шатра, вспоминать ее запах и голос, мучиться ожиданиями своей взволнованной плоти.

КРОВЬ И ОГОНЬ

И был вечер, и было утро – день второй. Халдей журавлиной походкой вышагивал по лагерю, не зная, за что приняться. Ночью в стороне от привычных шатров, на расстоянии стрелы из лука, появилось еще три небольших шатра, причем, черного цвета. Возле них стояла живописная группа в длинных белых рубахах и в клетчатых, обмотанных вокруг головы платках.

– Кто это? – стали все спрашивать Халдея.

– Ребята из соседней Тель-Шевы, природные бедуины, – отвечал он. – Будут у нас проводниками и водителями верблюдов.

– Так это арабы! Зачем надо было нанимать сюда арабов? Что, не нашлось хотя бы сефардов? – спросил Марецкий.

– Мне сказали, что бедуины в пустыне ловчее. Раньше бедуина бог сотворил только верблюда. Главное, они не знают ни русского, ни английского,

можно говорить свободно. Да к тому же это не совсем арабы, а древние набатеи.

– А чего нарядились?

– Это их родная одежда. Кстати, всем объявляю: к обеду переодеться. В шатрах вас тоже ждут наряды тех самых времен, удобные, легкие и красивые. Долой эти уродливые одежки, долой цивилизацию! Все лишнее, прежде всего мобильную связь, ключи, деньги, помещаете, как договаривались, в короба, в конце похода они будут ждать вас в моей машине в Иерусалиме. И свободными, обновленными – в путь!

Войдя в свой шатер, Вереин с подругой увидели на легких походных кроватях стопки аккуратно сложенной светлой одежды, на полу внизу – кожаные сандалии. Стали разбирать, рассматривать.

– Не сразу и сообразишь, как и что одевать, – ворчал Ефим.

– Да что тут непонятного, – говорила Рената, встряхивая наряды. – Рубашка нижняя, куттонет. Да, без рукавов. Сверху хитон. Смотри, как красиво! Все, похоже, льняное. А вот халлук шерстяной. Вроде плаща, вечером пригодится.

– Откуда ты все знаешь?

– Так я же артистка! В балете каких только нарядов не примеришь. А уж палестинские... Да одевайся же! Дай я тебе помогу.

– Сначала ты.

Рената стала раздеваться, а он сел и смотрел на нее. Потом встал перед ней на колени, обнял и поцеловал в перекрестье ног. Освободившись от его

объятий, Рената ловкими умелыми движениями натянула шаровары, сверху куттонет и хитон, обвязалась цветным поясом и босая стала перед зеркалом.

– Рахиль! Рахиль в шатре Иакова! – восхищался Ефим.

Но тут пришла пора и ему облачатся. Фактически его наряд был почти таким же, только без вышивки. Плащ с широкими открытыми рукавами укрепили на плечах двумя пряжками. Рассмотрели и удивились красивым кожаным сандалиям с отделкой золотыми шнурами. Труднее всего было укрепить головной шарф-судар – но Рената и его сумела-таки повязать Ефиму живописной чалмой. Свои же лоб и волосы обрамила ободом, сплетенным из цветных нитей с жемчугом.

Удивительно, что делает наряд с человеком! Когда обитатели шатров вышли наружу, они увидели библейских персонажей и с трудом узнавали друг друга. Светлые, воздушные, просторные одеяния, не скроенные и сшитые, а только подвязанные и кое-где скрепленные, преобразили их. И, надо признать, каждому пришлось к лицу. А нескладные фигуры и вовсе были скрыты. Все стали значительнее, красивее, гармоничнее и в ладу с окружающим их пейзажем.

Халдей всех обошел, осмотрел – и остался доволен.

– Вот теперь вижу перед собой настоящих израильтян, – сказал он. – Только смотрите, ноги не натирать, нынче народ нежный пошел. Если что – возвращайтесь в кроссовки.

Обедали в шатре с тем же набором яств, но уже без вина. Разместились на ковре в прежнем порядке – и Лука с тайной радостью почувствовал со стороны соседки, как в первый вечер, легкое дыхание цветов таинственных, каких, наверное, и не бывает на этом свете, но запах которых все же дают нам обонять некоторые женщины. Лука старался не смотреть в ее сторону, меньше оказывать ей внимания (ночью он пришел к выводу, что красавице захотелось поиграть с ним, чтобы показать кое-кому силу своей власти, а потому ему не следует ей поддаваться). И это легко удалось – Рената в этот раз тоже не стремилась к общению и не обращалась к нему. Отчего с каждой минутой Лука все больше испытывал печаль и отчаянную обиду. К тому же кроме отца и Ренаты говорить было не с кем, и ему стало скучно сидеть в компании чужих и неинтересных людей. Взяв кусок лаваша с сыром, Лука вышел на воздух.

Бедуины с поджатыми ногами сидели на земле у своих палаток и молча смотрели на него. Клетчатые куфии, бело-красные или бело-серые, почти полностью скрывали их лица, и виделись только глаза, таинственно светящиеся в глубине. Казалось, глаза ничего не выражают, но кто знает, что на уме у этих измаильтян! Лука, спугнув ящерицу, тоже сел в тени низкой акации и стал смотреть на каменные ковриги гор, на зависшего в высоте ястреба. Вот так бы и сидеть вечность, никуда не спешить, ни с кем не говорить, думать, что придет в голову, и ничего не желать. Здесь, на Востоке, только и понимают настоящую свободу, подлинное самопознание!

После обеда все разошлись по шатрам, и лагерь погрузился в марево и безмолвие. Но к вечеру снова все оживились в ожидании развлечения, о котором за обедом объявил Халдей – к ним приедут из города музыканты, певица, танцоры, дадут концерт этнической музыки. Из большого шатра вытащили ковер, раскатали его на поляне. Из ковра поменьше получился задник. Установили фонари. И вот в ранних сумерках со стороны горы подъехал микроавтобус, из которого высыпало с десятков музыкантов с фуглярами и рюкзаками. Последней сошла на землю дородная певица в нарядном сценическом платье, украшенная множеством тяжелых, претендующих на подлинность, серебряных украшений. Халдей принял ее в две руки, с поцелуями в обе щеки.

Артисты пошли в шатер переодеваться, зрители стали рассаживаться в принесенные шезлонги и сиденья. Лука нашел место рядом с отцом, Рената со своим спутником сели неподалеку. Лука ощутил на себе ее взгляд, а когда оглянулся, был щедро одарен улыбкой.

Музыканты с распакованными инструментами вышли наружу – в тех же джинсах, простых рубашках и одинаковых светлых бейсболках. Ведущий, назвавший себя Леонидом, стал объяснять, что это за инструменты – и каждый музыкант давал их послушать несколькими мелодичными фразами. Так были представлены шофар – рог дикого козла, струнные киннор и цитра, флейта-угаб и флейта-матрокита, тоф – ручной барабан, «погремушки» – целцелим, менааним, шалишим. Получился концерт-лекция.

Больше других порадовала певица (Халдей называл ее Хевой) – под аккомпанемент арфы-небел она исполнила несколько псалмов на иврите и арамейском, то есть так, как они звучали при царе Давиде и при царе Ироде.

Потом Халдей подсел к Ренате и о чем-то стал говорить ей и ее спутнику, говорил долго, явно что-то просил, убеждал. Рената наконец встала и пошла в шатер. А Халдей, перемолвившись с музыкантами, объявил со сцены:

– К радости и восхищению, в нашем путешествии участвует звезда балета, несравненная Рената Бояркова. Она согласилась показать нам в этой необычной, но и вдохновительной обстановке пустыни, под небом Иудеи, образцы своего удивительного искусства.

Рената вышла из шатра преображенной – в легкой короткой тунике с обнаженными руками и в шароварах, воздушных, просторных даже для ее крепких округлых ног. Рыже-золотые волосы ее были разбросаны по плечам и в свете софитов казались языками чистого пламени. Она что-то сказала музыкантам. Те стали настраиваться – и вскоре послышались дробные мелкие звуки равелевского «Болеро». Рената начала с того, что опустила на пол и вся как-то поникла, сложилась, казалось, в полном бессилии, уронив руки и голову. А мелодия между тем нарастала, наливалась силой, звуки барабана и духовых становились громче, настойчивее. Музыка оживляет танцовщицу, поднимает с земли, она пробует закружиться, поднять руки – но все это в из-

неможении, подневольно, словно нехотя повинуюсь кому-то. Вся вздрогнув как от ожога, закрывается руками, изгибается и трепещет. И снова невидимой плетью обжигается ее тело, танцовщица вздрагивает, падает, бичуемая, извивается на земле. Трудно, с болью встает, со страданием, начинает кружиться. Удар плети заставляет ее ускорять движение, поменять в танце. Музыканты все сильнее и тверже отбивают ритм. И вдруг на танцовщицу нисходит вдохновение, ярость боли и страсти, она ощущает свою силу и красоту, неуклонно и неудержимо действующую на мучителей. И уже не невольница, не жертва, а победительница является в танце, жрица, охваченная священным безумием, огненным вихрем. «Я бич! Я пламя!» – говорит ее стан, летающие языки огня вокруг головы, мелко стучащие ноги, вздымающаяся грудь...

Себя забыв, впивал Лука – глазами и колким сердцем – пламенный образ. Он почему-то вскочил с места, потом опомнился, сел, снова вскочил. Вдруг ощутил позади чье-то дыхание, шепот. Прямо за ним стояли измаильтяне, цокали языком, что-то чуть слышно говорили друг другу.

Раздвинув их плечом, Лука ушел в темноту, в сторону горы, подальше от лагеря. И только тут, присев на какой-то камень, расслышал таинственно-звонящий шепот насекомых, разглядел тучи светящихся мотыльков. В серебристом сиянии высоко вставшей луны все виделось бледным, призрачным, сошедшим из другого мира. Земля блестела манной небесной. И почему-то хотелось плакать, лечь и об-

нимать эту землю, так чтобы слиться с нею, с этим сиянием, а самому потеряться, лишиться своего «я», вовсе исчезнуть.

Ночью пустыня остывает быстро, и Луке вскоре пришлось вернуться в шатер. Отец при свете фонаря что-то читал. Лука задраил дверь и с планшетом нырнул в постель под кисею. Ему хотелось лежать и думать. Но отец, вдруг зевнув, сказал в пустоту, словно отвечая на чьи-то слова:

– А знаешь, я бы, кажется, никогда не мог полюбить танцовщицу. Мне бы казалось, что в руках у меня барахтается большая сильная птица. И хотелось бы отпустить ее побыстрее на волю.

Лука ничего не сказал на это, он был уже на другой волне.

– Нет, ты послушай, что я прочту!

Отец отложил книгу и повернулся к нему лицом.

– Вот, я еще дома заложил: «Когда ж они бежали от израильтян по скату горы Вефоронской, Господь бросал на них большие камни до самого Азека, и они умирали... Иисус (Навин) воззвал к Господу и сказал: стой, солнце, над Гаваоном и луна над долиною Аилонскою! И остановилось солнце, и луна стояла, доколе народ мстил врагам своим. И не было такого дня ни прежде, ни после того, в которых Господь так слушал бы гласа человеческого» (Нав, 10, 11-14). Как страшно! Как грозно! И в то же время прекрасно. «Вот, народ как львица встает и как лев поднимается, не ляжет, пока не съест добычи и не напьется крови убитых» (Числа, 23, 24).

– Да, величественно и грозно, – сказал Марецкий-старший, немного подумав. – Впрочем, ничего исключительного, героический эпос, как у многих народов. В «Илиаде» почти то же самое. И в «Нибелунгах», и у Оссиана. Просто нам более знакомо... На этом, однако, разреши пожелать спокойной ночи. Завтра – ранний подъем.

И он выключил свет. Вскоре и Лука погасил свой экран. И тут же перед ним возникла картина пустыни, иссохшее русло, камни, горы и впадины, древние дороги, видения первобытных армий и рукопашных битв. Ему представилось, как это было тогда в Палестине. Рушились стены городов-крепостей, горели жилища, дул ветер, раскачивая на деревьях тела пяти царей аморрейских, и над ними кружились и кричали вороны. Здесь же, у поверженных стен, горели костры и пировали победители. В битвах сходились грудь с грудью, дрались часами, с хладнокровным искусством и озверением, упорно и бешено, с утра до ночи, только темнота останавливала сечу. У бойцов – страшная телесная сила, в сердце – лютость и беспощадность. Никто тогда не маскировал своих целей – грабить и убивать, очищать землю для своих сородичей. Стесненное дыхание, рык, гортанные вопли, стоны умирающих. Ночной штурм, город – нагромождение жалких конур из камней, накрытых бычьими шкурами – в огне. Кровь и огонь. Мужчин поражают мечом, детей одним махом разбивают о камни. Девушек – плачущих, обнаженных – тащат за волосы. Трусами завалены улицы выше стен. Тут же волокут мешки с добычей, вспарывают меха, об-

ливаясь, жадно глотают вино. Кровь, вино и огонь! Так обреталась Обетованная земля, так она погибала множество раз от нашествий из-за гнева Господня. Кровью пропитана земля до глубинных пластов. Она никогда не знала покоя. Но благодаря этому здесь являлись великие мужи, по-настоящему великие, осветившие путь человечеству. Создатели религий, нравственности, философских течений, смягчившие в конце концов нравы, показавшие примеры пророческого предвидения и служения, негасимые образцы подвига и красоты духовной.

Осталось ли что-нибудь от тех великих времен и мощных людей на этой земле? Если осталось, то в ком и в чем, в каком виде? Вот он поехал сюда с отцом, чтобы ощутить здешнюю жизнь и людей, а им, как он теперь понял, предложили пустыню. Козлы отпущения!

Пришло на память, как Рената в первый вечер оглашала свой вопрос о Хазве, убитой мадианитянке. Неспроста, конечно. Но что она этим хотела сказать? Что она от мадиамских корней? Вот и он тоже неким шестым чувством ощущал сейчас хананеев, и хеттеев, и аморреев, и их низвергнутых царей, чьи тени непокойно кружат сейчас над пустыней, над местами исчезнувших капищ и священных рощ. Они ведь тоже верили, что эта земля принадлежит им по воле Ваала. Но пришел новый бог, более сильный, суровый, а главное – незримый. Так было суждено, племена и люди – одни уходят, другие приходят, в истории не было и нет места правде и справедливости.

— Но как мне быть, лично мне? И не в библейское, не в какое-то историческое время, а в то единственное, маленькое, в котором я живу, осознаю себя и за которое отвечаю? Мне мало просто избить ноги на камнях. Мне любви нужно, открытой души, откровенного разговора. А этого нигде нет... Вот и она, дивная Рената-Хазва. Что с ней сейчас? Как эта улыбка, свет ее глаз, пламя ее танца могут совмещаться с серым, ничем не примечательным ее спутником? Она — рядом с ним, вместе с ним! И шатер не загорится от ее огненности? Отец хорошо сказал о ней — птица. Но какая? Гамаюн, Сирин, Алконост? И она, сказочная птица, а может ангел — в соседнем шатре! Там она лежит с закрытыми глазами, подложив руку под голову, прекрасная, как заснувший цветок. Ее чудесные волосы льются по подушке, неслышно дышат полуоткрытые губы. А рядом, на соседней подушке, лысоватая голова ее спутника... Лука вздрогнул и оборвал свои мысли, чтобы убить это видение.

Ему казалось, что он не сможет сегодня заснуть до утра. Но усталость брала свое. Вдруг ему послышался чужой голос, мужской, правильный, четкий. Это в его московской комнате кто-то включил радиоприемник и по нему стали передавать новости. Лука хотел встать и выдернуть вилку, но не было никаких сил подняться. И диктор сообщал бесстрастным чужим голосом, что где-то в жарких глубинах Магриба прошел необычный по продолжительности и обилию дождь, что такие дожди бывают в тех местах не чаще одного раза в столетие. Иссохшая

мертвая земля преобразилась и зацвела. Камни и пески уже к вечеру покрылись густыми травами и благоуханными цветами. И дивный запах этих цветов, когда подул ветер, говорил голос, зафиксирован был в Испании, во французской Тулузе, а временами был слышен даже и в Англии.

ДЕНЬ АЛЕФ

Голос труб раздался над лагерем в предрассветной тишине, при двухколесной бочке, с легкими котомками за плечами, некоторые с посохами, пилигримы по едва приметной дороге двинулись к северу. А оставшиеся в лагере наемники-бедуины стали выносить кровати, ковры и другое имущество, разбирать шатры, все увязывать и грузить на повозки и послушных верблюдов.

Пустынная тропа в направлении Иерусалима... Начальная точка нашего путешествия. Увы, и драматического поворота в нашем, доселе плавном и спокойном, повествовании, поворота, которого никто (автор в том числе) не мог ожидать. Слышать-то слышали, что всюду, где человек, там и страсти роковые, что от судеб защиты не существует, а все не верилось. В наше-то время! Когда все управляемо, все под контролем, комфортно, рационально. Про невидимую руку рынка знали, а чтобы в налаженную жизнь сверху вмешивалась еще невидимая чья-то рука, самовольство какого-то рока... Нет, быть не может! «Мене, мене, текел, упарсин» – о чем вы, простите? Ах да, помним, сами цитировали, но когда это было!

В месяце Авив – напомним, именно этот благословенный месяц сейчас на календаре – люди шли когда-то в Город со всей страны и из земель сопредельных. Наших пилигримов ведет не только охота к перемене мест, интерес к истории и географии, но и духовные поиски, о чем вы достаточно узнали в предыдущих главах. Такие хождения лучше совершать если не в одиночестве, то хотя бы в безмолвии, чтобы слышать музыку пустынного ветра, голоса прошедших веков, а главное – жалкий, слабеющий голос памяти в себе самом. Надо только знать наперед, что подлинный Иерусалим редко когда достигим, не каждому он дается. Вот он, кажется, близко, купола видны, вот они, стены и первые дома – и вдруг все сминается, скручивается, тонким свитком поднимается в небеса. И путники снова оказываются в пустыне. И опять обещаются друг другу при расставании: «Следующий год – в Иерусалиме!»

К нестройной колонне Лука пристроился последним. Тягостное вчерашнее настроение у него прошло, тем более что Рената ответила на его привет веселым участливым взглядом. Она шла впереди и Луке только изредка доставалось разглядеть ее немислимо накрученный желтый тюрбан.

Первый день шли без остановки четыре часа. Солнце стало основательно припекать, когда увидели впереди под цветущими деревьями просторную парусиновую палатку и встречавших с поклоном двух молодых бедуинов в белых хитонах. После

омовения под парусами ждал легкий завтрак, холодные напитки, горячий чай. Разлеглись на коврах, вяло обменивались репликами. Лука оглянулся на задремавшего отца и подался наружу.

Местечко, выбранное для бивуака, походило на небольшой безлюдный оазис. Жизнь ему давала заполненная наполовину водой канавка, блиставшая среди деревьев. Вся остальная местность представляла собой обычную картину: солнце, воздух и тишина. Поодаль глинистые ковриги гор, усеянные круглыми голышами, кремнистые низины, фиолетово-красные от ирисов и мака.

Лука сел, прислонившись спиной к обсыпанному красными лохмотьями цветов безлистному дереву, и стал вспоминать любимые строки: «Вот, зима прошла, дождь миновал, перестал; цветы показались на земле; время пения настало, и голос горлицы слышен в стране нашей; смоковницы распустили свои почки, и виноградные лозы, расцветая, издают благовоние... Встань, возлюбленная моя, выйди! Вся ты прекрасна, и пятнышка нет на тебе!»

Словно заклинание подействовало – в воздушно-белом наряде, с распущенными по плечам волосами, босая, из палатки показалась она – «блистающая, как заря, светлая, как солнце, грозная, как полки со знаменами!»

Рената увидела его. И подходя говорила:

– «Сошла я в ореховый сад посмотреть на зелень долины, поглядеть, распустилась ли виноградная лоза, расцвели ли гранатовые яблоки». Продолжим? Я всю песню наизусть помню.

– И я всю помню. Но как вы могли угадать, о чем я думал? – поднялся смущенный Лука.

– Тоже мне тайна! Да у вас на лице все написано.

Она опустилась на землю, взяла его за руку и легонько потянула к себе. Но Лука вырвался и сел напротив – так лучше было смотреть на нее. Впервые он видел ее так близко и при полном свете. Как идет ей этот набатейский наряд! Сколько серебра на шее! И что это среди цепочек на черном шнурке? Анх, коптский крест, ключ жизни, дар ясновидения. Уроборос на левом запястье. Просто лишь украшения, амулеты – или причастность к чему-то тайному?

– Так продолжайте же! – велела Рената. Ее тигровые глаза лукаво смеялись. – Дальше самое интересное: «О, как прекрасны ноги твои в сандалиях, дочь именитая!»

Лука помолчал, как бы вспоминая, хотя знал эти стихи до последней буквы. Но приложить их к красавице, сидящей напротив, испытывающей тебя, может, смеющейся над тобой! Но и сладко же броситься в этот кипяток!

– «Округления бедер, как ожерелье, искусный художник творил их», – начал Лука хриплым голосом и осекся.

– Ну, и дальше, дальше, про живот, самое интересное! – Рената нетерпеливо пошевелила ногами.

– «Живот твой – круглая чаша, в которой не истощается ароматное вино», – Лука одолел смущение, голос его перестал дрожать и окрасился нежной силой. – «Чрево – ворох пшеницы, обставленный лилиями; два сосца – как два козленка, двойни серны;

шея твоя – столп из слоновой кости; глаза – озерки Есевонские, что у ворот Батраббима; нос твой – башня Ливанская, обращенная к Дамаску; стан похож на пальму, и груди твои на виноградные кисти».

В словах его было столько пыла, в манерах – сдержанности, а в жестах – изящества, что Рената не могла не восхититься.

– Все верно, – говорила она. – Да не смущайся же, ведь это поэзия! Сейчас моя очередь отвечать на твои роскошные похвалы: «Виноградник был у Соломона в Ваал-Гамоне; он отдал этот виноградник сторожам; каждый должен был доставлять за плоды его тысячу сребренников. А мой виноградник – у меня при себе». Как сказано – мой виноградник! При себе! И стыдно, и сладко!

– «Влез бы я на пальму, ухватился бы за ветви ее; и груди твои были бы вместо кистей винограда, и запах от ноздрей твоих, как от яблоков», – не говорил теперь, а напевал Лука. Альтовый, грудной голос Ренаты негромко отвечал ему:

– «Приди, возлюбленный мой, выйдем в поле, побудем в селах; поутру пойдем в виноградники, посмотрим, распустилась ли виноградная лоза, раскрылись ли почки, расцвели ли гранатовые яблоки; там я окажу ласки мои тебе». Вот какие смелые и тогда были девушки! Не скрывали своих желаний.

– «Уста твои, как отличное вино. Оно услаждает уста утомленных».

– «У дверей моих превосходные плоды, новые и старые: их сберегла я для тебя, мой возлюбленный!»

Последние слова, произнесенные страстным шепотом, прозвучали, как любовный зов, как настоящее обещание. Было отчего смутиться отроку! Но Рената тут же сменила тон, дав понять, что все это было декламацией, только игрой.

– Давай вот что, устроим читку «Песни песен» на два голоса вечером в шатре, – буднично проговорила она. – Репетиция прошла, по-моему, на отлично.

Лука энергично замотал головой:

– Нет, нет, не хочу! Не со мной! Лучше уж вы с этим...

– С кем, с кем? А, так ты ревновать! Если хочешь знать, Ефим – мой сердечный друг и человек хороший, но как артист бездарный. Занят на эпизодах.

– Да мне все равно.

– А у тебя вышло сильно, с чувством, будто ты эти стихи сам сочинял, прямо вот сейчас, для меня.

– Нет, на людях я не смогу. Это вы всю жизнь на сцене, в цветах, в огнях! – сказал он восхищенно. – Вчера изумительно танцевали. Я вообще-то не люблю балет, да и не знаю. Но вы меня поразили!

– Говорят, в дневное время можно разглядеть звезды из печной трубы. Трубочисты, правда, это отрицают, но, может быть, им просто не дано.

– Вы и вправду звезда!

– Глупости! – рассмеялась она. – Все звезды, если хочешь знать, кроме, конечно, небесных – нарисованные, просто товар, пронумерованный. Цена на него зависит от спроса.

– Вы на что-то обижены. Не все же так! – горячо воскликнул Лука. – Не со всеми так! Есть и другое, люди с другими отношениями между собой.

– Есть, но те чужие, они не попадают в наш круг. Вот сколько здесь с нами мужчин? Без тебя и Ефима – шестеро, семеро? И каждый готов, я знаю, утянуть меня в свои любовницы. Подожди, еще начнут украдкой телефоны предлагать, назначать свидания, делать ставки. Этим людям нравится красть или отнимать то, что принадлежит другому. Без этого им ни владеть, ни любить не интересно. Весь мир для них – биржа. Мною тоже пытались торговать, передавать друг другу как подарок. Но со мной не получается! Я давно уже хочу выбраться из этого круга. Вся изорвусь, погибать буду, но выберусь! Знал бы ты, как отвратительны все театры и сцены, какая там грязь внутри!

Тут она внимательно, долгим взглядом посмотрела на него и рассмеялась.

– Ты сейчас похож на грустное животное, еще не могу точно определить, на какое. Скорее всего, на маленького пони. Животные ведь чаще всего бывают грустные, замечал это? И человек в грусти становится похож на животное. Но тогда-то он и красив по-настоящему. Наверное, тебе тоже живется не весело.

– Но почему, – удивился Лука, – почему вы так думаете?

– А ты не можешь быть как все с таким лицом, как твое, это и невозможно. Хочу знать, влюблялся ты когда-нибудь?

– Да, еще в восьмом классе, очень сильно.

– А я похожа на нее? Чем-нибудь должна быть похожа, хотя бы голосом. Голосом в первую оче-

редь. По-настоящему влюбляются раз в жизни, все остальное – поиск той, первой. Потому я тебе и нравлюсь. Нравлюсь я тебе?

– Нравитесь, – признался Лука.

Рената помолчала, словно собираясь с мыслями. Потом заговорила как-то по-особенному, с внезапной нежностью:

– Как только я тебя увидела – одинокого, грустного, словно слетевшего откуда-то, я мысленно назвала тебя Иосифом. Ну, ты знаешь каким – тем самым, Иосифом среди лживых и ненадежных братьев, готовых продать кого угодно. И я сразу почувствовала – ты, как и я, живешь среди чужих, потерялся, а тебе вернуться хочется в родные края. Таким, как мы, всюду чужбина! И мы тоскуем по родине. Она не здесь и не в Москве. Может быть, она где-то в прошлом. Тебе не хочется иногда уйти в прошлое, в другие времена? Где просторнее, светлее, чище, где жила глубокая вера, пылали настоящие чувства?

– О, очень хочется! Я ведь потому и изучаю древности. Но иногда думаю: а может быть, нам только кажется, что там лучше, а жизнь в главном всегда одинакова.

– Я говорю не о том прошлом, что в истории, которое мы (она показала кивком головы на палатку) сейчас якобы ищем.

Она перешла на шепот:

– То прошлое, о котором я говорю, совсем другое, о нем всего несколько строчек в святой книге. Оно мне видится иногда, когда я одна в горах или у моря. На закате, когда небо золотое, в лучах... Вот

там наше место, наша родина, там, за пылающим горизонтом. Там и отец наш ждет нас. Но туда, в то место, по которому я тоскую, можно попасть лишь со смертью...

Лука неподвижными глазами смотрел на нее, не смея прервать.

– Тебе, может быть, удивительно слышать от меня такое. Сама себе удивляюсь, но мне иногда святой хочется стать. Есть ведь много святых, которые сначала были великими грешниками, обманщиками, блудницами. А потом добровольно стали мучениками – из тоски по небу, по родине, из любви к святости. Надо только продрасть сквозь декорации нашей жизни, пустой и лживой, чтобы вернуться домой! Туда, где мы были детьми... где мы верили и молились.

Лицо у нее при этих словах осветилось и стало особенным, невозможно прекрасным. Желтые лучистые глаза проникали ему в душу, вызывая в ней восторженную тревогу. Он слушал ее испуганно, словно под наркозом, наполовину отсутствуя, не вполне понимая, но ощущая сердцем странную радость.

– Мы ждем, чтобы кто-то открыл нам дверь, указал путь. Мы ищем, за кем пойти, жаждем узнать силу, к которой примкнуть, чтобы только не остаться среди чужих. Чтобы расслышать, когда придет время, обращенный к нам зов, приказ, от которого будет нельзя уклониться. Я знаю, и тебе хочется, чтобы приказывали, а ты слушался. Потому я сейчас и заговорила с тобой. Мне ты будешь с радостью

подчиняться. Ведь ты уже знаешь это? Согласен с этим?

Она говорила вроде бы и шутливо, а в то же время с душевным напряжением, с серьезностью, которую выдавали ее пытливые глаза.

– Знаю, согласен, – сказал Лука почти безвольно, не вполне владея собой. – Приказывайте.

Ее глаза не отпускали его. О нее шел свет, шла энергия.

– Мы преодолеем свое одиночество, обретем друзей, братьев. Потому ты так рад мне, так сильно ко мне тянешься. Не обожгись! Вдруг я захочу от тебя большего, чем просто дружба и поклонение. Вдруг заставлю по-настоящему влюбиться в меня. Ты еще не знаешь, что это такое. С настоящей любовью человек отказывается от себя ради другого, готов отдать жизнь за него. Когда ты понадобишься мне, я позову и отдам тебе свой приказ – и ты с радостью его исполнишь, не спрашивая ни о чем.

– Там, в Москве? – прошептал Лука, потянувшись к ней лицом.

– Не знаю – здесь, там, на другой планете. Только не думай и не фантазируй об обычных отношениях мужчины и женщины. Ты мне не для этого нужен. Да и тебе, я знаю, от меня нужно не это.

Луке стало казаться, что она знает о жизни, да и о нем самом что-то такое, чего не знает ни он, ни его друзья и наставники, что она разглядела его насквозь и теперь сможет управлять им с неизбежностью, мягко, нежно и сильно, как луна управляет морем. Он чувствовал, что эта женщина вполне

овладела им, что у него нет силы сопротивляться, а от его собственного «я», от строений его внутренней жизни остались руины. Все, что он любил и ценил прежде, рухнуло в мгновение и потеряло смысл. От всего этого было и страшновато, и радостно. Он молча смотрел на нее, не вполне веря услышанному, но и не удивляясь. Он чувствовал себя засохшей пустынной колючкой, «розой Иерихона», неожиданно попавшей в воду и моментально расцветшей.

Время остановилось.

Из транса его вывел голос Ренаты, настойчиво к нему обращавшейся. Наконец он расслышал, что она говорила:

– Какое это дерево, ты не знаешь? – спрашивала она, показывая пальцем у себя за спиной.

Лука поднял глаза и увидел над Ренатой красное рваное пламя. Да, иудино дерево, это оно.

– Какое страшное название! Это за красные цветы его так?

– Не знаю.

Лука обвел глазами ветви с цветами без листьев, землю под ними, тоже обрызганную красным.

– А я ногу натерла, сильно, до крови, – сказала Рената, протягивая к нему босую ступню. Спереди, поперек стопы на подъеме, шла широкая влажно-красная полоса. – Что ты так смотришь? Подуй же, подуй!

Лука наклонился, дунул, а потом дважды поцеловал стопу, ощутив губами ее прохладу и нежность.

– Заживет! – сказала она, поднялась, отряхнулась и ушла обратно в белое облако всполошившейся от ветерка парусины.

Лука, как раненый зверь, отполз за дерево, потом в низинку, где его никто не мог обнаружить. Он лег на горячие камни, закрыл глаза – и продолжал видеть все то же лицо, слышать все тот же голос. Мучительные ощущения переполняли его организм. Они жгли и изнутри рвали его. Ему хотелось давить и душить в объятиях саму эту землю, знойную и цветущую. Он перевернулся на живот, сжал в горстях пылающий кремень, дернулся и, изливаясь, мучительно застонал...

ИГРУШКА СЛОМАЛАСЬ

В предвечернее время того же дня предстояло совершить еще один небольшой переход – к лагерю, незримо, обходным каким-то путем, опередившему наших путников, дремавших под парусиновой палаткой. Уставшие от неподвижности и безделья, они стали дружно и весело собираться в путь. К тому же после необременительного завтрака все успели изрядно проголодаться. Готовились в дорогу, и только Рената хныкала, показывала всем израненную припухшую стопу и отказывалась идти. Ефим уговаривал ее потерпеть, не устраивать истерик, клеил на стертые места пластырь – но вскоре и сам убедился, что ременные сандалии ей противопоказаны, да и кроссовки теперь одеть будет не легче. Стали совещаться с Халдеем. Тот пообещал что-то придумать.

Не прошло и полчаса, как перед палаткой предстал стройный арабиан в цветной парчовой попо-не, украшенной кистями и серебром, с сиденьем на

спине под малиновым шелковым зонтиком. Важно выгнув тонкую шею, откинув головку, верблюд смотрел на встречающих темными умными глазами. Державший его за уздечку молодой бедуин был красив, живописен мужественным лицом, женственно обрамленным бело-красным платком под шерстяным обручем, и похож на пророка. Мелкая вьющаяся бородка, огненные глаза. Белая длинная рубаха, цветной пояс, на плечах шерстяная черная, в белых полосках хламида. «Селям!» – говорил он, чуть склонив голову, легко касаясь длинными сухими перстами груди и лба.

Опершись на руку Ефима, прихрамывая, вышла Рената. Получилось, как в киносказке: по одному короткому слову вожатого верблюд грациозно сложился – и красавица с распущенными волосами, в белых шальварах и в воздушной накидке, с предупредительной помощью «пророка» взошла на приготовленный ей трон. Верблюд тут же стал подниматься. При этом араб смело поддерживал ногу в шальварах и даже, как многим увиделось, касался округлого бедра щекой.

И вот пустились – впереди, царицей Савской, Рената верхом на верблюде, сбоку, словно пристегнутый, бедуин-агарянин, за ними пешей нестройной толпой все остальные. Шли молча, сосредоточенно, в каком-то оцепенении. Может, только сейчас дошло до некоторых, по какой они ступают земле, как и для чего попали сюда. Впрочем, путь был недолгим. Километров через шесть-семь впереди, в небольшой пади, почти лишенной всякой растительности,

показался лагерь – по виду тот же самый, что они оставили утром, с расставленными в том же порядке шатрами. Какой же маг и кудесник этот Халдей! Словно невидимо по воздуху перенес. И каждый нашел в своем шатре ту же самую обстановку, те же самые вещи.

За ужином подавали жареных перепелов. Из кувшинов наливались вино и вода. Но дружеского застолья не получилось. Говорили изредка и негромко. На удивление, помалкивал и предводитель. Немного поев, он полулежа дремал в затемненном буфетом углу. Рената совсем не ела, а только отпивала что-то из глиняной чашки. Луку тянуло смотреть на нее, но ответных взглядов он не дождался. Однако заметил, что и спутник Ренаты сидел рядом с ней какой-то отстраненный, грустный и молчаливый. Можно было подумать, что всем этим людям до чертиков надоело быть друг с другом и только шатер, пустыня и бездорожье удерживают их вместе на одном ковре. Похоже, каждый из них задавался в это время одним и тем же вопросом: «И зачем я, дурак, дал себя уговорить и потащился сюда? Уж скорей бы все это кончилось!»

Ефим и Рената первыми вышли из шатра на воздух, под ночной купол. Луна стояла уже высоко, но и ей не под силу было погасить низкие пустынные звезды. Издали, со стороны холма, ночь озарялась всполохами огня – это у бедуинских шерстяных палаток пылал костер, оттуда несло жареным мясом и слышалась негромкая мелодия зурны и думбека. Эта другая, параллельная, неизвестная жизнь влекла и пугала.

– Пойдем к ним! – неожиданно сказала Рената, взяв спутника за руку.

Ефим вздрогнул и отшатнулся:

– Куда? Там же эти...

– Да, набатеи, кочевники. Представляешь, как интересно! Мне хочется с ними поговорить. Шашлыка поесть...

– А на каком языке ты собралась говорить? Вряд ли кто-то из них владеет английским.

– Здесь говорят на левантийском, это диалект арабского. Я его немного знаю.

– Да что ты! Откуда?

– С детства.

– У тебя на каждый случай своя биография!

– Этот случай – последний. Другого не будет. Ты мог бы расслышать, что меня зовут Хазва. Так пойдем же!

Ефим, сжав ее ладонь, сказал просительно:

– Нет, не пойдем! На что они нам? И что подумают... что скажет Халдей? И вообще, мне хочется бай-бай.

Они подошли к своему шатру, остановились. Рената обернулась в сторону огня, Ефим смотрел на нее. На лице ее дрожали блики и тени. У костра зарыдала зурна.

– Не хочу я спать! – сказала Рената. – Я ненадолго. А ты иди, спи.

И выдержнув свою руку, она решительно пошла на огонь.

Ефим проводил ее взглядом и вошел в шатер. Не включив света, не раздеваясь, упал на кровать. «За-

чем нужно было брать ее с собою! – обреченно подумалось ему. – К чему я поехал сюда! И сколько будет нудить эта музыка?»

Он не чувствовал ни обиды, ни ревности – одно раздражение. Оно терзало и жгло его. «С женою оброчишься, и другой будет спать с нею. Дом построишь, и не будешь жить в нем», – внезапно вспомнились ему пронзительные строки.

– Тьфу, черт! – ругнулся Ефим. – Какая ерунда лезет в голову!

Невозможно было дальше лежать. Он схватил попавшуюся под руку накидку и вышел наружу. Там, у костра, негромко смеялись и пели, двигались острые тени. Сверху на все равнодушно смотрела луна. Ефим повернул в другую сторону. Простор пустыни, бледный от лунного света, точно тянул его. Он шел, не разбирая пути, по хрустящим камням и сам не заметил, как взобрался на возвышенность. Эта сторона холма была покрыта черной тенью, другая же освещена так, что на ней можно было разглядеть каждую былинку. Немного ниже вершины виднелся неширокий выступ. Ефим спустился к нему и присел на плоский камень. Беспредельный простор, нежно-прозрачный воздух, лунные камни – все хранило чуткую, настороженную тишину, неразделенную тайну, отчужденный покой.

Ефим стал искать глазами знакомые созвездия и не находил их. Громадно, пусто и холодно было там наверху. Казалось, все пространство на небе до самой земли заполнено вечным страхом и негасимой тоской.

«Что там? – мысленно спросил Ефим самого себя. – Есть ли там кто-то, кто может нас видеть, понять и помочь?» И он заговорил горьким шепотом, с внезапным порывом обиды и жалости к самому себе: «Почему я здесь, почему я один? Всюду один! Разве я хуже всех? Почему такая несправедливость? Как мне жить?» Ему стало страшно своих слов и он, глядя вверх, зашептал примирительно: «Нет, нет, я сам виноват! Прости, прости меня!» Говорил, а в тайниках своей души различал лукавую детскую надежду, что его смиренная молитва растрогает и расположит к нему вышнего, и случится чудо, от которого все сегодняшнее окажется лишь неприятным сном.

Чувство нелепости, необъяснимости, безобразности происходившего угнетало его. Ефим снова поднял глаза вверх, к небу. Оттуда по-прежнему безучастно смотрела луна, непонятно зачем мигали звезды, нависал непонятный ужас. Ему страшно стало оставаться одному. «Вдруг она уж вернулась!» – с надеждой подумал он и поспешил к своему шатру.

Рената действительно оказалась внутри. Она лежала на кровати и при свете ночника что-то читала. Когда Ефим вошел, она лишь на мгновение оторвалась от чтения, чтобы мельком посмотреть на него. Ефим сбросил плащ и опустился на свою постель. Тяжесть с души почему-то не уходила, а нарастала. Как-то надо было начинать разговор.

– Что ты думаешь обо всем этом? – спросил он.

– Ты о чем? – отозвалась она, мгновенно взглянув на него поверх книжки. – Мои мысли, ты знаешь, обычно под цвет моего платья. Значит, сегодня – белые.

Ефим понял, что Рената свернулась, сложилась, затворилась, что теперь никакие упреки и жалобы на нее не подействуют. Он знал эту ее особенность замыкаться, не любил и боялся ее в такие часы. Ему хотелось сказать что-то решительное, важное, чтобы поразить ее и заставить выйти из укрытия, открыться ему. Но, удивляясь самому себе, ничего не придумал кроме банальных попреков:

– Ты обещала, что больше такого не будет. И вот снова... И где!

– А, на святой земле! Ты это хочешь сказать?

– Да, это! Ты говорила, что, если поедем, ты будешь вести себя хорошо. Ты обещала.

– Я сюда не стремилась. И обещала тебе быть панинкой с твоими дружками. А Джемаль – это совсем другое. Он мне прислуживает, его назначил Халдей. Он звал меня к костру, хотел угостить. Что в этом плохого? Надоело мне! Там, у костра, чувствуется хоть что-то живое.

– Живое! Ненавижу этих дикарей! От одного их вида становится не по себе, словно мы заехали в Сомали. Кажется, вот сейчас вытащат пистолет или нож...

– Да, в них – сила, энергия, мужское начало. И, если хочешь знать, достоинство и изящность во всем, во всех движениях. Меня это восхищает. Иногда ведь один жест, одно слово, одна интонация стоят того, чтобы из-за них кому-то отдаться.

– Ты, я знаю, нигде не пропустишь, если тебе захочется. Устроила мне кошмарный вечер.

– Кошерный?

– Замолчи! Ты нарочно меня злишь?

– Давай без скандала! Иначе я уйду сейчас же. И потом уйду навсегда.

– Не уйдешь! Никуда не уйдешь! – вскочил он.

– Хорошо, не уйду. Только давай оставим этот разговор до Москвы.

Рената бросила книжку в сторону и поднялась на кровати, поджав ноги. Ефим сел напротив. Она смотрела на него в упор.

– Вы по какому праву меня ревнуете? – спросила она, нахмуриваясь. – Чего смотрите? Разве я давала вам какие-то обеты верности? Или требовала их от вас? Я больше всего ценю свободу, ту самую, о которой вы все говорите и которой никому не даете. Да, я никому не отказывала, если кто-то искренне, горячо, по любви добивался меня. А вы хотите сделать меня своей собственностью, присвоить мою красоту себе. И никогда, заметьте, ни разу не сказали мне простого слова «люблю». Знаете, почему? Я вам скажу – из страха себя связать каким-либо обязательством, чтобы признанием в любви не набавить мне цену, а себе не снизить. Все, как на бирже!

– Не в словах дело, говорю я их или нет. Некоторые слова мне, так я устроен, трудно даются, я не актер. А вот ты все время играешь. Ты не любила, а притворялась, жила со мной. И готова при случае пойти с кем угодно. Каждый случай для тебя спектакль, праздник. Ты и здесь ищешь. Но ничего не будешь, я не допущу праздника! Как бы то ни было, ты здесь со мной. У меня тоже есть права!

– Какие у вас права на меня? Кто вы вообще?

– Права на себя самого, на свою жизнь. Понимаешь ты это? Из-за тебя мне стыдно своей жизни. Да что там! Самого себя не выношу, своего лица, своей натуры, из-за того, что я не тот, что я не смог тебя по-настоящему увлечь, покорить. Или хотя бы понять.

– Приходится выбирать – либо понимать и знать женщин, либо любить их. Одно с другим плохо совмещается, – насмешливо сказала она.

Но он не расслышал, а продолжал свое:

– Из-за тебя мне стыдно встречаться с родственниками, с прежними друзьями. Я всех потерял, стал посмешищем. И ты уходи! Хоть совсем уходи, я хочу быть один, совершенно один, как в могиле.

– Не давите на жалость, не пожалею! В вашем мире нет жалости, вообще нет ничего настоящего. Вы думаете, вас любят – а вас ненавидят. С вами дружат – и не поколеблются столкнуть в пропасть. Вам оказывают уважение – а в душе презирают. Охраняют – и мечтают убить. Ваше богатство и могущество – дым в ветреный день, свидетельство вашей вины. Что вы так смотрите? Никто вам такого не говорил? Вам главное, чтоб было комфортно. «Делай, что хочешь, но чтобы я ничего не знал, мне так удобнее» – вот что вы мне всегда давали понять. И скажите, зачем вам я? Зачем вам живая женщина? Купите себе пластиковую, с ней проще. Закажете – и сделают на меня похожей, точную копию. А мне надоело быть дорогой игрушкой. Сладким куском, который облизывают со всех сторон, чавкают, слюни пускают. Как часто я ощущала себя ночной вазой,

сосудом для слива чьих-то мерзостей, гнилых выделений. Я лучше убью себя, чем так жить! Да, лучше умереть! И я готова. Хотите пойти со мной туда? Хорошо ведь вдвоем. Нет, не пойдете!

Ефим сидел, обхватив голову. Он не мог больше слушать этот бред, ее надорванный голос. «Что она говорит? Это какое-то безумие! Да, она не в себе, она сумасшедшая. Но когда это случилось? Почему он раньше не догадался? Зачем взял с собой? Может, она там с ними накурилась чего-нибудь? И как теперь дотянуть до конца? Нет, что она говорит? Надо понять, надо принять меры».

– Той, которую ты знал, больше нет, – говорила она. – Ренаты нет, сгнила. Я ее отрежу, как гангрену хирург. Я Хазва, слышишь! Если хочешь знать, я этого Джемалю во сне увидела, в самолете, когда летели сюда. На минуту, кажется, сомкнула глаза – и он показался. Стал здесь меня на верблюда сажать, смотрю, это он самый. И если ты еще полезешь ко мне – я убью тебя, слышишь!

И она действительно показала вдруг из-под тряпок что-то блеснувшее, как кинжал или нож. Но не это испугало Ефима. Его пронзил стон, который она издала, похожий на вопль раненого зверя, от которого бросило в холод и дрожь. Внезапно он понял, что коснулся жилы под напряжением провода, слышал подлинную боль – и все, что было проговорено у них до сих пор, показалось ему теперь игрой и рисовкой. В груди его поднялся комок, настолько новый, невозможный для него прежде, что он не смог с ним совладать. Комок сжимал горло. Что это,

что такое? Кто это рыдает? Кто дико кричит, не владея собой? Да это же он сам, Ефим! Презрев угрозу, он бросился к Ренате, сжал ее, так что в плечах косточки хрустнули, а нож со стуком упал на пол. В начавшейся борьбе, в объятиях они комком полетели с кровати. Рената вдруг обессилела, расслышав, как короткими яростными ударами сердца ее прибивают к полу. И она покорилась.

ИСХОД

После мгновенно наступившего забытья, провала, беспомощности Ефим вдруг испуганно вздрогнул и очнулся. Он лежал на своей койке, один, почти голый. Прислушиваясь, он поднял голову и тут же с внезапной обреченностью, с жутким ознобом понял, что кровать Ренаты пуста. Сердце его колотилось, во рту пересохло. Если бы он попытался тогда закричать — ничего бы не вышло, только прерывистый хрип. Хотел встать — и снова упал. После этого еще какое-то время лежал без движения и без ясной мысли. Наконец собрался с силами, кое-как накиннул на себя перепутанное тряпье, отыскал фонарик и откинул полог шатра. Холодной свежестью обдало его. Время было не позднее, как он думал, а самое раннее, третья стража. Небо на востоке светлело, начиналось утро.

Ефим направился к черным бедуинским шатрам, подошел к первому из них. Там спали. У входа чернело кострище без огней. Вспомнился ему почему-то древний обычай раздирать в знак скорби свои одежды и посыпать голову пеплом.

– Эй, вы там! – крикнул он по-английски.

Из войлочной норы высунулось сонное лицо.

– Where is Джемаль? – спросил Ефим.

– Джемаль? There! – махнул тот в сторону третьего шатра.

Ефим подошел к нему. Сердце отчаянно билось. Вдруг она там, с ним? Будь что будет! Он включил фонарик и, подняв полог, провел лучом по внутренности тесной норы. Взбитая постель, разбросанные вещи – и никого.

Он вернулся к первому шатру, заорал:

– Where is he?!

Показалась та же сонная образаина:

– Джемаль? Go! Go away!

– Where?

– There! – махнул он в сторону.

Большого от него нельзя было добиться.

На шум стали выходить из шатров паломники. Ефим с воплем бросился к ним. Стали звать Халдея, его, на удивление, не оказалось на месте. Панику подогрели крики старшего Марецкого, Вадима Сергеевича, внезапно обнаружившего пропажу сына. Где мог быть Лука в такое время? И не связано ли его отсутствие с исчезновением танцовщицы? Конечно, влюбленность юноши бросалась в глаза, многие замечали их переглядывания и таинственные разговоры. Не могли ли они сбежать вдвоем, а бедуин Джемаль просто согласился быть их проводником? От этой «светской львицы» (вспомнилось, наконец, газетное прозвище Ренаты!) всего можно ожидать, а уж соблазнения красивого мальчишки тем более.

Тогда беглецов следует искать в Иерусалиме, в аэропорту! Срочно надо известить власти, перекрыть вылет и выезд!

Все метались попеременно по лагерю, хватали друг друга за одежду, спрашивали об одном и том же – и ничего не могли понять. Предположения звучали самые невероятные. Главное, путешественники оказались без всякой связи – ведь все послушно сдали свои телефоны-смартфоны на хранение Халдею. А он, как провалился! Стали трясти набатеев – в наличии их обнаружилось четверо, они с грехом пополам объяснились, что не видели и не слышали ночью ничего подозрительного, а исчезновение проводника Джемалю и сами считают большой загадкой. Еще они встревоженно спрашивали, когда рассчитаются с ними за работу и не вычтут ли что-нибудь за сегодняшний инцидент.

Ожидание неведомого, но явно страшного становилось невыносимым. На Вереина и Марецкого мучительно было смотреть. Вдруг, спустя примерно час, уже при солнечном свете, из-за холма на тропинке показался Лука. Он шел без спешки, при этом часто оглядывался, как бы размышляя, а не вернуться ли обратно. Примечательно, что одет он был не в ветхозаветный балахон, а в обычные джинсы, футболку и кроссовки, в которых его видели в день приезда. За плечами висел рюкзачок.

Подойдя, Лука приветственно покивал всем головой, внимательно посмотрел на отца и тут же нырнул в свой шатер. Марецкий последовал за ним. Лука лежал на кровати, обхватив голову руками.

– Что случилось? Куда ты ходил? – спросил отец. Лука молча смотрел на него. Потом с трудом выдавил, не отнимая рук от лица:

– Не взяли! Велела идти с ней... а потом не взяли.

– Кто велела?

– Она.

– Рената?

– Хазва.

– Подожди, сейчас все расскажешь.

Марецкий выглянул из шатра и позвал Вереина. Общая тревога сблизила их.

Лука говорил с большой неохотой, немногословно, приходилось его тормозить и вытягивать каждое слово. Да и многое ли он знал на самом деле? Он рассказал, что ночью ему не спалось, он сидел снаружи, смотрел на луну и созвездия. То, что при этом он неистово думал о Ренате, часто взглядывал в сторону ее шатра и придумывал любовные катрены, – в рассказе Лука опустил. Да, он слышал крики и стоны, раздававшиеся среди ночи из того шатра, они еще больше разожгли и взвинтили его. Потом наступила тишина – и Лука совсем уже собрался идти спать, как вдруг увидел явившееся из тьмы белое видение. Он бросился к нему. Да, это была Рената! Она ничуть не удивилась ему. Грозная, как полки со знаменами, сказала коротко: «Ты готов? Пойдем же!» Лука прокрался в свой шатер и, схватив рюкзак с одеждой, пошел за Ренатой. У палаток бедуинов их ждал Джемаль, одетый в дорожное. Он что-то спросил Ренату, она отвечала. Говорили они на арабском, но Лука понял, что разговор шел о нем.

Пока Рената переодевалась за палаткой, Джемаль поприветствовал его и пожал руку. Взяли по рюкзаку и сразу же неведомой тропкой пошли от лагеря в сторону. В лунном сиянии виден был каждый камень. По пустыне гулял свежий ветер. Шли молча, без всякой дороги, около часа. В очередной низинке обнаружилась машина, небольшой джип. Джемаль вынул из рюкзака и прикрутил номера. Потом они снова говорили между собой. Он называл ее Хазвой. Наконец она подошла к нему и сказала:

– Прости, малыш, сейчас не можем взять тебя с собой. С тобой попадемся, тебя будут сильно искать.

Она обняла его и крепко поцеловала (об этом умолчал).

– Дорогу назад найдешь? Светает, нам пора. Еще встретимся. Я тебя позову.

Джемаль снова пожал ему руку и потрепал по плечу. Они уехали, а он побрел обратно.

– Номер машины? Куда они направляются? – вскочил Вереин.

– Джип «Вранглер», серый, номер не разглядел (на самом деле даже не посмотрел на него!)

– Они что-нибудь говорили о маршруте?

– При мне нет. Хотя один раз прозвучало «Мыср, Мыср».

– Что за ерунда, какой Мыср?

– Мицраим, Египет на арабском.

Марецкий посмотрел на Вереина, оценивая его способность в данной ситуации воспринять шутку:

– Не переживай, Ефим! Как говорят у нас в России? Баба с возу...

Но Вереин не стал продолжать разговор и ушел к себе.

– Так, говоришь, не взяли тебя? – Марецкий развернулся к сыну. – А то пошел бы с ними? И куда – в Мицраим? Или в Сирию?

– Я больше тебе ничего не скажу, – отвечал Лука, не смотря на него. – Мне еще разобраться... Мне узнать хотелось, другую жизнь увидеть. Я потому только вернулся, что мне идти сейчас некуда.

– Тестостерон тебе мозги сносит, вот что! Ожегся. И как теперь быть? Хоть бы мать пожалел! – Вадим Сергеевич начал было читать нотацию, но, чутьем режиссера почуяв ее пошлость и провальную бесполезность, закончил просто и буднично. – Спи, дома поговорим. Выбраться бы отсюда быстрее...

Марецкому надоел маскарад – и потому он тоже разыскал свои брюки и клетчатую ковбойку. Выйдя наружу, увидел, что в привычное переоделись и другие путешественники.

Халдея все не было. Он, по-видимому, потерял к мероприятию всякий интерес, но из принципа не хотел его закончить досрочно. Распорядок нарушился, о пешем маршруте никто больше не думал. Завтракали, а потом и обедали холодными остатками вчерашней еды.

Во вторник, на пятый день от прилета, движение группы по пустыне возобновилось. Понурым видом, опавшими лицами, мятой одеждой паломники теперь больше напоминали конвоируемых арестантов. Проволоклись они ослабевшими, покусанными ногами несколько километров, потом отдыхали в

палатке, пока их лагерь со всеми шатрами и имуществом перемещался обходным маршрутом на новое место. Это новое место ландшафтом и другими приметами показалось всем настолько похожим на первую стоянку, что стали говорить, будто их два дня водили пешком по какому-то кругу и возвратили туда же, откуда и начинался весь путь. То есть попросту дурачили. А значит цель путешествия не стала ближе ни на один метр.

Вечером пригласили на ужин в большой шатер. Но Лука решительно отказался.

– Лучше быть голодным, но свободным! – сказал он.

Наутро в центре внимания оказался Ефим Верин, он говорил горячо, убежденно:

– Готовился теракт, мы все были в смертельной опасности. Нас Рената спасла! Она завлекла моджахеда и, жертвуя собой, увела его от нас. Она не посвящала меня в свой план, я абсолютно ничего не знал, хотя и догадывался. Но Лука рассказал. Он тоже рисковал... Нужно действовать, нужно спасти Ренату!

Раздались крики:

– Халдей! Где чертов Халдей!

Послышался шум подъезжающего автомобиля. Спустя минуту появился Халдей.

– Готовился теракт! Нас хотели взорвать или перестрелять! А вы... вы специально наняли к нам террористов? Рената сбежала с моджахедом! – кричали ему.

Халдей реагировал спокойно:

– Ну и ладно.

Ему кричали:

– Требуем вернуть паспорта, мобильники и все наши личные вещи!

– Все там! – отвечал Халдей. – Вам вернут в аэропорту. Пока обойдемся без этого.

Подозвав к себе Вереина, отойдя с ним в сторону, Халдей вынул из кармана газету.

– Неприятная новость... вас касается... Впрочем, теперь и меня.

Вполголоса стал читать: «Вчера поздним вечером при перестрелке на границе сектора Газа была смертельно ранена известная российская танцовщица Рената Бояркова. Обстоятельства происшествия выясняются». Тсс, никому! Неприятная история. Я еду сейчас объясняться, выясню, что и как.

Ефим молча закрыл лицо руками.

Халдей стал садиться в машину:

– Я откланиваюсь, дела! А за вами придет автобус.

Люди бессильно махали вслед и по одиночке, где попало, опускались на землю.



НА ОБРАТНОЙ СТОРОНЕ ЗЕМЛИ

Повествование в эпизодах



САННЫЙ СЛЕД

С ереньким февральским утром, после Сре-
тенья, из Маньчжурии выехали сани, за-
пряженные низкорослой рыжей кобылкой.
Двое ездоков – один пошире, другой по-мальчише-
ски тонкий – из-за неповоротливых дубленых полу-
шубков с трудом поместились в кузове.

Приграничный городок с неохотою просыпался.
Заречная сторона была вся еще темная, здесь берег-
ли керосин, но по улицам в центре плавали редкие
огни фонарей и начиналось движение. Знакомый
бакалейщик Лифучин тряс у своей лавки одеяло, из
открытой двери шел густой пар и слышался плач ки-
тайчат.

Вскоре улица кончилась и открылся степной про-
стор. Ветер, дувший, казалось, из-за реки в спину,
тут переменял направление и погнал поземку на-
встречу. Мороз был не жгучий, но все же из-за ве-
тра седокам пришлось остановиться и переменить
положение. Они вылезли из саней, покрепче затяну-
ли кушаки, накинули поверх полушубков мохнатые
козьи дохи и уселись по-другому, задом наперед.

Едва притихли, лошадь сама тронула и потрусилась по чуть приметному санному следу.

Над степью висело низкое бесцветное небо, только на востоке пепельно-желтоватой полоской обозначался рассвет.

– Что, Митрий, не застынешь? – спросил широкий, обкладывая свои ичиги сеном.

– А не холодно, – отвечал тот, что поуже, мальчишеским голосом.

– Это пока так, только выехали, а тепло беречь надо. Ведь ты впервой на охоту?

– Впервой, дядь Саша.

– Беда, Костя захворал, валяется, тот у вас бывалый, – продолжал широкий. Помолчав, добавил: – Да ничего, и тебе когда-то начинать. Была бы голова, а шапка найдется. Зверь, слышали, там есть, только бы не опередил кто.

Мите говорить не хотелось. Он смотрел на убегающий санный след, на отступающие последние плетни и под скрип полозьев думал о своем, невеселом. Вчера, в праздник, набрел в городе на Леньку Баранчикова. Зашли к Лифучину выпить за встречу. Вечером у казаков открывается новый клуб, рассказал Ленька. Надо бы пойти. Но если вернешься домой, мать может потом и не отпустить. Так лучше не являться, а сразу на вечерку. Скоротать время зашли еще в одну забегаловку. И все равно в клубе оказались первыми. Билеты продавал Толя Макаров, тоже приятель. Увидев Митю, предложил принять по стопке в новом буфете. Получилось не по одной. Потом подходили другие ребята...

Помнит, в коридоре его остановил Тихоновский, полицейский чин, в тот день одетый в гражданское. «Ты, Измайлов, чего здесь шастаешь?» «А тебе чего?» – отвечал Митя. «Получишь по башке, так протрезвешь». «Неизвестно, кто из нас получит», – возразил Митя. Полицейский ударил его по щеке. В ответ Митя коротким боксерским ударом двинул ему в челюсть и, не задерживаясь, пошел дальше. Тихоновский стал сползать по стене, однако одумался и изо всей силы нанес ответный удар. Но пришлось удар уже не по Мите, а по случайно проходившему Федьке Петрову. Тот в долгу не остался – и в коридоре завязался бой, одни стояли за Федьку, другие – за полицейского. Митю же подхватил Зарап, знакомый армянский парень, вывел из клуба и велел отчаливать домой, даже проводил полдороги. Только он отстал, Митя повернул обратно. Драка, как снежный вихрь, крутилась уже на улице. В тесноте схватки Митя отыскал Тихоновского и неведь откуда взявшимся в руке обломком кирпича ударил по голове.

И снова спасли друзья – утащили домой. Так что поездка на охоту, конечно, пришлось кстати. Но понимал Митя, что это дело полиция так не оставит и отвечать когда-то придется...

...Давно это было, а все-таки было. И вот проступило, словно зимний день в оттаявшем стекле.

Отложив тетрадь, Мирон Дмитриевич встал размяться, подошел к окну. С шестого этажа открывался широкий вид города – за дальней грядой

построенных и строящихся высоток дымчато-красными языками догорал закат, а ниже, по темному склону, горстью огней светились особняки. Пасмурный день на глазах сменялся морозной ясностью. На небесной синеве проступали первые звезды. Вот в такой же морозный вечер тогда накрывалась звездным пологом маньчжурская степь...

Первую ночь провели охотники на снегу, без огня. «Под дохами не замерзнешь, да как назло расстроился желудок, и приходилось по нескольку раз за ночь вылезать на мороз».

Жизнь – как огонек свечки на порывистом степном ветру.

ДАР СЛУЧАЙНЫЙ

Тетрадь в зеленой коленкоровой обложке Мирон Дмитриевич нашел в отцовском доме в годовщину похорон. Несколько лет не заглядывал в нее – не то, чтобы не было интереса, а как-то смущался, робел. Не обидится ли отец? Но и позволения теперь не спросишь...

Отец ничего не говорил ему о своих писаниях, держал их втайне, а может, просто забыл сказать, когда Мирон приезжал к нему в последний раз. Тетрадь и совсем могла потеряться. На опустевшее жилище – незадолго до смерти отец овдовел второй раз – Мирон навесил замок и отдал ключ соседу. Когда спустя год приехал помянуть, навестить могилу, увидел дом разграбленным. Не было ни холодильника, ни одежды, ни даже мебели.

– Пустил тут Христа ради пожить двоих, вроде как муж с женой, а они вот что, черти, натворили, – оправдывался сосед. – Все повытаскивали на водку. На что пить, когда не работаешь?

От отцовского обихода остались нетронутыми лишь этажерка с книгами да мрачноватого вида тяжелый дубовый буфет. Мирон знал и помнил его ровно столько, сколько знал и помнил себя. В Маньчжурию старинное изделие попало с родной стороны вместе с другим добром, что деду удалось спасти и вместе с семейством увезти в Китай.

В детстве Мирон представлял, как дед (дед, конечно, воображенный, живым Мирон его не застал) переправляет буфет через широкую бурную реку Аргунь. С сопок палят по нему красные партизаны со звездами на лбу, на другом берегу стоит бабушка и машет призывно руками. Со страха буфет валится в воду и, качаясь, плывет по реке прямо бабушке в руки, а дед багром вытаскивает его на берег.

Спустя много лет буфет перекочевал обратно в Россию, правда, совсем в другие края. И вот, всеми брошенный, скучно доживал он свой век в опустевшем отцовском доме. Мирон провел рукой по резным дверцам. За стеклом ничего: ни графина, ни рюмок, ни старых, тоже еще «царских», как говорила бабушка, плоских тарелок только мусор и пыль.

С этажерки Мирон отобрал несколько книг по истории, им же когда-то и оставленных. Тогда-то и увидел схороненную за книгами толстую тетрадь. Почти вся она, от корки до корки, была исписана мелким отцовским почерком. Мирон положил и те-

традь себе в сумку. Еще находка – альбом виниловых пластинок «Голоса певчих птиц», что он дарил отцу в школьные годы. Покрутил головой и увидел в углу знакомую рижскую радиолу в деревянном корпусе. Никому не понадобилась! Мирон поставил радиолу на едва державшуюся табуретку, вставил вилку. Диск показал способность вращаться. И вскоре в пустом доме послышалось росистое кукованье, трели жаворонков, трубные звуки перелетных гусей...

Ключ Мирон вернул тому же соседу:

– Пусть живет, кто захочет. Продажей дома мне некогда заниматься, да и живу далеко.

– А шкаф? – заинтересовался сосед.

– Себе возьмите, он крепкий.

В обратном самолете припомнилось Мирону из детства. Бабушка любила назидать его историями из святых книжек. И однажды рассказала о попавшем на тот свет скупом богаче. Вот предстал богач пред Божьим судом и видит, как чаша справедливых весов все грузится и грузится его злыми делами. Ангелу-хранителю жалко подопечной души, слезно просит он ее вспомнить хоть какое-нибудь сотворенное в жизни добро. Мнется богач, нечего ему сказать в оправдание. Наконец вспомнил: «Вынес я как-то нищему корку хлеба, жалобно пел он». Упала та корка на другую, порожнюю совсем чашу весов – и перевесила тяжкий груз зла. Тем и спасся богач от геенны.

Пятилетний Мирон тут же усвоил притчевую мораль. «А давай, баба, – сказал он, – отдадим бедным наш буфет, уж он-то все грехи перетянет».

И надо же, отдал он таки сегодня тот буфет «бедным». Вдруг перетянет!

СОН ЛАСТОЧКИ

Отец любил при случае рассказать о своей жизни, особенно ее ранней поре, да многое позабылось из его рассказов или сразу же выветрилось – ленива молодость помнить и беречь предание. Запало Мирону Дмитриевичу, что прадед его Михаил пришел в Забайкалье шестнадцатилетним за своим ссыльным отцом Василием Львовичем. Тот был сослан из западной какой-то губернии в середине позапрошлого века, похоже, за участие в одном из крестьянских восстаний. Михаил Васильевич в «диких степях» освоился и прижился, служил на Нерчинских рудниках смотрителем и в этом качестве даже был среди встречавших наследника, будущего Николая Второго, проезжавшего по Забайкалью в июне 1891 года. Прадед преподнес цесаревичу большую коллекцию минералов края, за что вскоре были высланы ему из столицы медаль, кафтан золотого шитья и книга инженера Герасимова «Очерк Нерчинского горного округа». В этом кафтане и похоронили Михаила Васильевича в 1923 году в Маньчжурии.

Вот то немногое, что запомнилось из отцовских рассказов о семейном древе. И, видимо, захотелось отцу оставить после себя хоть какое-то письменное свидетельство. Тетрадь, похоже, заполнялась им в старости, лет за пять-шесть до кончины, писалась урывками, не один год. Выходит, мысленно подсчитал Мирон Дмитриевич, от той первой его поездки на охоту в феврале 1929 года до записи прошло лет шестьдесят, не меньше.

А между тем вся жизнь с четырнадцати лет расписана отцом в зеленой тетрадке по годам, а кое-что даже по дням и часам. Дороги Маньчжурии и Монголии, которых немало прошел он обозником, охотником, гуртовщиком, обозначены точными названиями тамошних сопок, перевалов, падей, озер, солончаков, пересыхающих в зной речек, прозрачных, перемещающихся в пространстве селений. Остались имена некоторых, даже и случайных, попутчиков, содержателей постоялых дворов и харчевен, полицейских, чиновников, целителей, шаманов и лам. В записках они немногословно говорят о своих делах, задушевно беседуют, торгуют, молятся, спорят...

Домой охотники вернулись, когда в воздухе повеяло весной, снег в степи начал оседать и таять, показались проталины, рыжие, как тарбаганьих мех.

Драку в казачьем клубе Мите все же припомнили. В мае, спустя три месяца, вызвали его в полицию. Следователь Савин огорошил: «Драку ты, Измайлов, затеял нарочно, чтобы сорвать казакам вечер». Дело шили, можно сказать, политическое. Митя заговорщиком себя не признал. Отвели подумать в подвал. Два дня просидел там. На третий утром позвали наверх к начальнику Подрезову. Начал тот распекать: «Приходила сестра твоя Дуня, просила за тебя. Бедно живете, мать болеет. А ты пьянствуешь, да еще и дерешься». «Виноват, – повинился Митя, – в самом деле был выпивший». «Ладно, – сказал Подрезов. – Пойдешь к станичному атаману Эпову, а от него – к Тихоновскому прощенья просить». Скомандовал Савину

отпечатать два листка. С ними пошел Митя к Эпову. Самого дома не оказалось, так жена-атаманша под-писала. От них – к полицейскому. Тот чистил охотни-чье ружье. «Вот, Николай, послали к тебе мириться, – сказал Митя. – Не сердись, что так вышло тогда». «Ерунда, зажило, – отвечал Тихоновский, – что мне сердиться». Глядел исподлобья, но бумагу подписал. Все же станичниками были там, дома, в России!

На этом месте Мирон Дмитриевич не может сдер-жать улыбки. Для чего, казалось бы, старику с таким тщанием описывать молодецкую дурь, выставляя себя в смешном виде? А просто напрягал он память, исписывал тетрадь не для них, сыновей, или каких-то иных читателей, а для себя самого. Может, и не хотел вовсе, чтобы заглядывал кто-то другой. Себе же все сгодится, все дорого. Жалко забыть-утратить собственную жизнь, пусть мало кому известную, пусть сиротливую, которую до поры до времени сам считал не особенно интересной, случайной в срав-нении с историческими обстоятельствами, в верче-нии которых довелось существовать. Только в про-шлом человек чувствует себя дома. Прошное и Бог не изменит. Оттуда никто не прогонит.

НА ЧУЖОЙ СТОРОНЕ

Вихри, которые ожгли и перевернули жизнь отца, не улеглись еще и в детстве самого Мирона. Они окрашивали пугающим багровым светом расска-зы бабушки Анастасии Мироновны о покинутой

родине, о войне «брат на брата», за грехи посланную на русскую землю, о грабежах и убийствах «в Гражданскую». Маленьким особенно запоминается страшное. И вот осталось навсегда, будто сам видел Мирон Дмитриевич, как по забайкальской Борзе пылят дикие, заросшие, обвешанные ружьями всадники. Барон Унгерн в черной бурке и белой папахе, на вороном коне, грозит кому-то ташуром. «Зайдут напиться, а после них в избе тяжелый какой-то дух, приходилось долго двери настежь держать, проветривать или, лучше, обкуривать ладаном», – вспоминала бабушка. Тянутся по забайкальской степи скрипучие обозы с беженцами, в спину им с сопок гремят орудия подступавших «товарищей»...

13 ноября командованием отступавшей из Забайкалья Каппелевской группы войск было решено оставить станцию Борзя. Части 3-го корпуса начали отходить на станцию Даурия, а 2-й корпус переходить на станции Мациевская и Шарасун.

15 ноября поручик отступавшей армии Петр Савинцев записал в своем дневнике: «Из Чинданта вышли 13-го вечером. За ночь прошли 35 верст до станции Хоронор. В поселке Хоронор простояли день, а сегодня утром, погрузившись в вагоны, приехали на станцию Даурия. Расположились в казармах. Вечер. Еще не стемнело, и в комнате, где размещен второй взвод офицерской роты, в полумраке видно всех, лежащих на нарах. После тяжелых переходов, ночевок на открытых местах да в набитых до отказа избах здесь, в этой казарменной комнате-палате, даже уютно. С полчаса назад кончился ужин. Спать

рано, говорить о чем-либо в этот вечерний час не хочется, но потребность как-то выразить спокойное, несколько грустное настроение чувствуется у всех. И эта потребность выражается в песне.

Начали вполголоса, как бы нехотя. К одному голосу присоединился другой, третий. Запели даже безголосые, и красивое, никем не управляемое, но все же стройное пение всколыхнуло всю казарму. Невозможно словами передать красоту хоровой песни людей, привыкших смотреть в глаза смерти, людей, огрубевших в обезличивающей войне и вдруг, вот в такой момент отрыва от боевой и походной повседневности, открывающих глубину своих душ... Пережитое дало этим песням свой неповторимый оттенок. Это не разухабистая, не плясовая, не насмешливо-грустная песня Руси. Это тихая, грустная молитва людей, отдыхающих в данный момент, но знающих, наверное, что впереди еще много лишений, ужасов и могильных, часто бескрестных холмов... Это воспоминания, надежды и иногда слезы людей с исковерканной молодостью, с оплеванной душой, спрятавшейся где-то глубоко в человеке и теперь неожиданно показавшей свою красоту...

Душа вышла из своего тайника – и свят этот момент ее праздника...

Вот запели сибирскую песню – песню каторжан. И невольно встала перед глазами картина одного из недавних наших переходов.

Переход в семьдесят верст. Хромая на обе ноги, идет длинная черная лента людей. В затылок дует холодный, пронизывающий до костей ветер. Повер-

нешься к нему – и лицо твое застывает. Обутые в ботинки ноги промокли от снега, и сырой холод от ног назойливо-неприятным ощущением пробирается к мозгу. Хочется прилечь на снег и уснуть сном измотавшегося до крайности человека. Но лишь на минуту остановишься, как чувствуешь, что ноги стынут и надо идти дальше. Спишь на ходу, во сне тычешься в спины впереди идущих, но идешь – нельзя не идти...

Прошли много. Это чувствуется по ногам: они ноют от боли. Намятая ступня заставляет делать разные выверты для того, чтобы безболезненно ступать. А впереди, говорят, еще тридцать верст... Доходим до места привала. Бурятский улус. Две-три юрты. А нас около двух тысяч человек. Десятки костров, и у каждого – круг греющихся людей. Сушат ноги, кипятят воду, варят мясо. Хлеба уже давно нет, и живы только мясной пищей.

Издали кажется, что громадный табор кочевников, не успевших поставить зимние юрты, ночует под открытым небом... Но не кочевники это, привыкшие к степям. Это люди, спаянные чем-то более ценным, чем таборная жизнь. Они уходят от кого-то. Они не знают даже, куда в конце концов придут, что будет с ними на следующей стоянке, да и дойдут ли до этой следующей стоянки... Некоторые не дойдут, свалятся на дороге и уснут мертвым сном. Или их сразит пуля. А для выдержавших муку этого похода, для уцелевших – еще много, много впереди подобных костров...»

После длительных переговоров власти Маньчжурии дали разрешение на перевозку вышедшей из Забайкалья Дальневосточной армии по Китайской Восточной

железной дороге в Русское Приморье. Сдавшие оружие китайцам каппелевцы, а также семеновские части стали грузиться в железнодорожные эшелоны. Общая численность перебрасываемой армии составляла с семьями предположительно 25 тысяч человек, при ней – до 10 тысяч лошадей. Перевозка эшелонов – а их потребовалось не менее шестидесяти – должна была занять около месяца. Тем из бойцов, кого смертельно утомила боевая страда, у кого находились по линии дороги родные или друзья, способные обеспечить кров и убежище на первое время, удалось рассеяться по Маньчжурии, при проезде через Харбин и другие крупные населенные пункты. Большинство забайкальских казаков покинули эшелоны на станции Хайлар и ушли в Баргу, в район так называемого Трехречья, где присоединились к своим землякам, осевшим на китайской стороне двумя-тремя годами раньше.

Русское население в Харбине и полосе отчуждения Китайской Восточной железной дороги и до революции составляло несколько десятков тысяч человек. С Гражданской войной Харбин, другие города и станции КВЖД стали заполняться беженцами и эмигрантами. Измайлов надумал было переждать схватку близ железнодорожной станции Мацевской, в пустовавших дворах и домах богатого земляка Трухина. Сюда он с сыновьями перегнал свой скот, навозил сена, приготовился зимовать. А поздней осенью станцию занял отряд каппелевских войск. И кавалеристы стравили все припасы, правда, заплатив за них двести рублей золотом. 21 ноября, в Михайлин день, начался исход белых частей из Забайкалья на китайскую сторону.

Делать нечего, пришлось и деду перегонять свой скот в Монголию, к знакомому пастуху Эренчину, а самому переправляться со своим немалым семейством туда же, «за речку».

Первой на чужой территории станцией была Маньчжурия, заложенная при границе, среди сопок Сахарная, Офицерская, Синие горы, в начале строительства КВЖД. На исходе Гражданской войны мирную, патриархальную жизнь возникшего всего-то за двадцать лет до этого русского городка смело яростным людским потоком. Сибирские казаки, каппелевские офицеры, монголы-хорчены, бывшие военнопленные австрийцы и чехи – все бездомные, голодные, оборванные, обозленные поражением. Тут же – тысячи и тысячи бежавших от войны и грабежей забайкальских жителей.

Скот Измайлова, не привыкший зимовать без сараев и корма, весь в ту зиму пал в монгольской степи. Остались в живых две коровы и четыре коня. В Заречном поселке наспех построили землянку, где своих помещалось десять человек да еще квартиранты. Их пустили из-за того, что могли доставать дрова. В тесноте и сырости все часто хворали.

Деду суждено было остаться в чужой земле навеки, а сыновьям его «зимовать» в эмиграции сорок лет...

ПАНИХИДА ПО КАППЕЛЮ

Девятилетнему Мите запомнились каппелевские кавалеристы, молчаливые утомленные всадники – шнырял он между ними в те осенние дни, восхищал-

ся конями и оружием, хотя и переживал, конечно, за потрапу отцовского сена. Сам Каппель до Мациевской не дошел: он погиб в дни Великого ледового похода, когда доверенная ему Белая армия три тысячи верст – от Омска до Забайкалья – отступала по снегу и льду при сорокаградусном морозе. Генерал шел впереди войска. Провалившись под лед, обморозил ноги. Лишь на третьи сутки в таежной деревне Барга простым ножом без анестезии сделали ему ампутацию стоп. Началась гангрена, воспаление легких. На рассвете 25-го января Каппель попрощался с товарищами, снял с руки кольцо, с груди – Георгиевский крест, просил передать жене. Было ему 37 лет.

Сначала генерала похоронили в Чите. Но осенью того же 20-го года из-за наступления красных гроб генерала вынули из земли и отвезли в Харбин, на подворье военной Свято-Иверской церкви. Встал над могилой черный гранитный крест, охваченный у подножья терновым венком. Когда в 1945 году в Харбин вошли советские части, говорят, у могилы побывали генералы Малиновский и Василевский, постояли в молчании. А десять лет спустя по приказу советского консула памятник был уничтожен, место закатали асфальтом.

В декабре 2006 года Измайлова как специалиста по истории Китая и белой эмиграции попросили поехать в Харбин. Услышав, что речь идет о поиске и возвращении на родину останков генерала Каппеля, Мирон Дмитриевич согласился.

В Харбине стояли солнечные, с легким морозцем, бесснежные дни. Мирон Дмитриевич приезжал сюда

не однажды и всякий раз искал следы прежнего форпоста империи. Русского Харбина, о котором много рассказывал отец – он бывал в нем то на заработках, то на лечение, – давно уже нет. И нынче отец, доведись ему каким-то чудом здесь очутиться, в городе ничего бы не признал и прежнего ничего не нашел. С первых шагов оглушает ритм современного человека – небоскребы, реклама, огни, круговращение транспорта, мельтешение плотной массы народа. Такой же китайский мегаполис, как и другие. Но присмотревшись, настроившись на волну, замечаешь особняк в стиле модерн, явно русского происхождения, за углом другой. А там и церковь, еще старинные здания – и город становится ближе, теплее. Вот эту улицу отец, пожалуй, и узнал бы – она осталась наподобие декорации к фильму о белогвардейском Харбине. Так и видишь, как гуляют по ней Шалапин, Вертинский, поэт Арсений Несмелов...

Без Измайлова харбинская операция не могла обойтись – один он, и то приблизительно, знал местонахождение могилы Каппеля. План, нарисованный от руки неизвестной русской женщиной-харбинкой, ему прислал из Австралии друг детства, ныне житель города Брисбена.

Узкая, кривая, беспорядочно застроенная улица привела к Свято-Иверской церкви. Вот и показалась она – полуразрушенная, обезглавленная, с одним восстановленным крестом. Мирона Дмитриевича дождалась поисковая группа. Развернули рисунок. Крестик на плане указывал место у северной алтарной стены. Огляделись, прикинули, мелом разметили по брусчатке.

Работы начались на другое утро. Над местом раскопа натянули тент: китайская традиция строго требует, чтобы лучи солнца не попадали в открытую могилу. Приехавший из Москвы в составе группы протоиерей Димитрий отслужил краткий молебен. Рабочие-китайцы начали срывать отбойными молотками кирпичную брусчатку. Земля не промерзшая, работа шла ходко. На глубине двух с половиной метров открылся саркофаг – широкий деревянный ящик, тяжелый и прочный. Дерево хорошо сохранилось. Внутри саркофага – гроб. На крышке – серебряные инкрустации: двуглавый орел и венок из листьев. Под крышкой – пальмовые и хвойные ветви, образок Божьей Матери, ленточка Георгиевского кавалера. Мундир с погонами высшего офицера генерального штаба. Сомнений не осталось – в раскопе прах генерал-лейтенанта Владимира Оскаровича Каппеля.

Образок передали священнику. К северной стене притиснулся катафалк. Отец Димитрий творил панихиду с курящимся кадилом в руке, свечи в морозном безветренном воздухе горели ровно и ясно. Отзвучали молитвы, катафалк с обретенными останками отъехал от церкви – и тут же на Харбин обрушился тяжелый густой снегопад, в мгновение преобразив его в заснеженный русский город.

13 января 2007 года, некрополь Донского монастыря. Пришедшие встретить возвращающегося из изгнания белого воина входили в ворота в одиночку и большими группами, растекались ручьями среди склепов и надгробий старинного кладбища. Мирон

Дмитриевич узнавал военачальников и политиков, государственных чиновников и вожаков патриотических движений. Еще больше порадовало великое множество молодых лиц. Где-то здесь же находились внуки или правнуки генерала Каппеля, но Мирон Дмитриевич не стал их искать, не хотел портить высокого напряжения момента.

В зимнее небо вознесся траурный марш – и из собора Донской обители вышли усердно кадящие священники, за ними на плечах кадетов показалась скорбная ноша. Да нет, вовсе не скорбная то была минута – время печали и слез по героям Гражданской давно миновало – а светлая, ободряющая. Давно, давно пора русским людям подвести черту под той роковой усобицей, забыть старые обиды и страхи, мешающие смотреть в будущее, единить силы. О том и говорили над разрытой могилой, поместившейся между надгробиями генерала А.И. Деникина и философа И.А. Ильина, тоже недавно возвратившихся с чужбины.

Зажглись поминальные свечи. Золотыми словами литии приоткрылись на миг Вечность и Царство Небесное. Грянул воинский салют в честь белого ратника, в память Ледового похода и тех, кому не суждено возвратиться, хотя бы прахом, в родную землю.

А над могилой Каппеля позднее поставили памятник – точную копию разрушенного харбинского.

СВЯТИТЕЛЬ

Так, дальше, дальше – листает зеленую тетрадь Мирон Дмитриевич.

А вот это интересно: как теплым осенним днем 1922 года городок Маньчжурия встречал прибывавшего из Харбина епископа Иону. Тем же вечером владыка отслужил в соборе всенощную. Бас диакона Антония Галушко, соборный хор регента Павла Шиляева придали службе невиданную прежде торжественность и красоту. Все дивились молодости 34-летнего епископа, но в первой же проповеди он показал себя умудренным пастырем, ведающим пути к людским сердцам. Владыка говорил, а собор отвечал ему вздохами и плачем. Люди не стыдились слез, оплакивая потерянную Россию, убитых сродников, свою участь изгнанных.

Тяжелый крест достался епископу Ионе! Маньчжурия представляла собой становище, в котором попеременно с голытьбой и бывшими каторжниками разместились казацкие атаманы, белые офицеры, сибирские заводчики и купцы, сумевшие спасти кое-что из своих капиталов, местные предприниматели и коммерсанты, вполне обеспеченные железнодорожные служащие. Начались взаимные претензии и сведение счетов. Ночами городок содрогался от криков, стрельбы, пьяных драк, грабежей, убийств, вооруженных налетов с «той стороны». Горечь поражения, отчаяние выливались у многих в бесшабашное желание хоть еще денек прожить «по-старому», прогулять или проиграть все, что оставалось в карманах. Расцветали и сгорали десятки ресторанов, увеселительных заведений, опиумных притонов, игорных и публичных домов.

И как быстро все посерьезнело и построжало, обрзуилось и просветлело в городе с явлением па-

стыря! Всего-то три года служения в Маньчжурии были отпущены судьбой епископу Ионе, а он успел создать и поставить на ноги сиротский приют, два начальных ремесленных училища, общественную столовую, ежедневно кормившую Христа ради до двухсот человек, библиотеку духовного просвещения, амбулаторию для бедных с бесплатной помощью и лекарствами. Как-то умел находить средства владыка. В Китае, в Северо-Восточной его части, называемой Маньчжурией, еще до революции сложился слой русских промышленников и предпринимателей. Воспитанные в религиозной вере, не все в православной, но все в принятых тогда традициях благотворительности и меценатства, они в большинстве своем участливо отнеслись к беде соотечественников. Не чудо ли, что при великом масштабе бедствия беженцы смогли обустроиться и наладить сносную жизнь на чужбине все же быстрее, чем красные у себя дома. Потому-то и в двадцатые, и в тридцатые годы кидались под пулями в Аргунь и Амур молодые мужики, переплывали с той стороны «к своим» в Китай, спасаясь от советских порядков, от голода и расстрелов. Почти всех их потом выловили – кого в 29-м, во время боевого рейда Блюхера на китайскую территорию, кого в 45-м, после победной войны с Японией.

В открытую епископом Ионой школу Митя явился самочинно, вроде толстовского Филиппка, сразу же на урок. А дело было уж в ноябре.

– Где же ты раньше был? – спросила учительница Ольга Андреевна, невысокая, полная девушка, из-за

болезни коротко, по-мужски остриженная. – Теперь поздно, класс набран.

Потом сжалилась:

– Ну хорошо, посиди, я на перемене поговорю с директором. А что пришел – молодец.

Проучился Митя всего четыре класса, но этого хватило, чтобы писать почти без ошибок и хорошим почерком, полюбить умные книги, до старости наизусть помнить русскую стихотворную классику. В школе каждый день поили чаем с сахаром и сухарями. Бедным давали учебники и тетради, а то и одежду. На рождественской лотерее Мите достались стяженные штаны, в них было тепло зимой ходить на уроки.

Из Австралии, населенной многими потомками бывших маньчжурцев, прислали Мирону Дмитриевичу фотографию похорон епископа Ионы. 1925 год. Дворик Свято-Иннокентьевского собора, уйма народа, плывущий над головами гроб. Множество запечатленных лиц: люди в те годы еще оборачивались на вспышку фотографа. Мирон Дмитриевич с лупой разглядывал фотографию – а не выгянет ли из пестроты мальчишечье лицо отца? Вот какой-то подросток... Нет, не он!

ВНУТРЕННЯЯ МОНГОЛИЯ

В тринадцать лет Мите из-за бедности пришлось расстаться со школой и отправиться на рыбные промыслы Далайнора. Он подрядился к китайцу Ки Шун-дэ на отцовских лошадях возить улов в города.

Началась бродячая жизнь обозника, гуртовода, охотника. Дороги Внутренней Монголии, бесконечные сопки, перевалы, пади, солончаки, пересыхающие в зной реки, призрачные, перемещающиеся в пространстве войлочные селения, китайские постоялые двory с их прогорклой смесью кухонного чада, аргального (кизячного) дыма, конюшни и опия... Мир тот давно истлел, пропал, рассыпался в прах, развеян ветром и временем. Но сохранены в зеленой тетради умолкшие голоса...

Молодой монгол Абирмит охранял мост на реке Уршун, брал за проезд с каждой подводы. Поил проезжих чаем с верблюжьим молоком и солью. Не отказывался и от их угощения. Особенно нравился ему русский хлеб. «Наши старшие и сам угурда (волостной начальник) учат нас русских не трогать, не обижать, – говорил Абирмит. – У них здесь своей земли нет, зато они все умеют: и хлеб растить, и дома строить, и машины разные делать, и храбро воевать. И за скотом могут ходить не хуже нас. Надо с ними дружить».

Мирон Дмитриевич усомнился было, верно ли записаны отцом монгольские имена, ведь он запомнил их на слух. Проверил – все правильно.

Рассказывал Абирмит, как впервые увидел заехавший к ним в аймак автомобиль. Все сбежались смотреть. «Как так – ни коня, ни быка нет, а бежит, да так быстро, как ветер?» – спрашивали старики. След за машиной щупали, думали горячий. Говорили: «Вот какая голова умная у русских!»

Делился Абирмит и своими заботами: «Мать старая, скоро умрет. А что тогда ему скажет лама, что

он вычитает в святых книгах? Может, скажет, что ее надо бросить там, где вчера ночевали лебеди или бродили джейраны. Или там, где лежит большой красный или синий камень. Надо быть готовым. Или велит просто зашить в мешок, положить на двукол-ку, разогнать лошадей, где упадет – там ее место».

Несколько лет подряд Дмитрий с артелью ездил в степь к богатому скотоводу Бараху стричь овец. Тот встречал их радушно – резал барана, устраивал обед с выпивкой.

Вот такой был Бараху – низкий, плотный, с бритой головой, с длинной, хотя и жидкой, косой на затылке. Наряжен в халат из синего китайского шелка, в желтые китайские сапоги и плоскую шляпу с отвороченными вверх полями. Халат подвязан кушаком, синим или бордовым, на кушаке – неизменно кисет с табаком, трубка и огниво. А вообще-то монгол щеголяет не тем, как он сам выглядит, – к собственным нарядам он довольно равнодушен – а тем, как разодет его конь, какое на нем седло, насколько богато украшена серебром сбруя.

Уняв громадных лохматых собак, Бараху у юрты приветствует приезжих вопросами «Мал-сэ-бейна?» и «Та-сэ-бейна?», то есть «Здоров ли ты? Здоров ли твой скот?». Начинается взаимное угощение табаком – каждый предлагает свой кисет, папиросницу или раскуренную трубку. Старший из стригалей достает из мешка обязательный подарок, хадак, – полотенце или небольшой кусок шелка. Хозяин не останется в долгу, но свой хадак он преподнесет при расставании.

Вышедшая из юрты хозяйка шурит на приезжих русских парней и без того суженные, почти закрытые веками глаза. Косы по обеим сторонам груди заплетены лентами и бисером. Лоб украшен серебряной бляхой с красными кораллами, в ушах – большие серебряные серьги, на руках – кольца и браслеты. Одета в такой же халат, что и у мужа, только без пояса, поверх фуфайка без рукавов.

Хозяин приглашает в свое жилище. Весь пол войлочной юрты – в коврах и атласных подушках. На них, разувшись, и садятся гости. На низкие столики ставится первое непременно угощение – кирпичный чай. Монгол не пьет сырой, холодной воды, но всегда горячий чай с солью и молоком. Захочешь подкрепиться – сыпь в чашку с чаем жареное пшено, клади масло или курдючный жир. Чашки у Бараху изящной китайской работы из чистого серебра. В дугуне, домашней кумирне, перед небольшим изваянием Будды стоит чаша из человеческого черепа, разрезанного пополам и искусно оправленного в серебро. Такую ритуальную посуду мастерят ламы в дацанах.

Но вот и подают бухули – сваренное большими кусками и затем зарумяненное на широкой сковороде мясо, кирстен – поджаренную на открытом огне вместе со шкуркой спинку барашка, любимые кушанья любого монгола. Чем жирнее, тем лучше. Под такое жаркое хорошо идет ханжа, китайская гаоляновая водка. Сам хозяин не хочет сегодня напиться и ограничивается кумысом.

У него в этот день большие дела. Все стада и табуны – а владел Бараху двадцатью тысячами овец, сот-

нями лошадей, быков и верблюдов – согнаны в одну большую падь Хаматуй, чтобы освятить скот от падежа, краж и болезней, просить у неба обильный и здоровый приплод. Приглашенный из монастыря лама в желтом одеянии объезжает падь на запряженной двуколке, кропит скот водой, а жена хозяина ходит за телегой со стопкой священных книг на голове.

После очередного чаепития лама выходит из юрты и трубит в большую морскую раковину. Это зов к молитве. В юрте несколько учеников, тоже в желтых одеждах, сидят на полу и, слегка покачиваясь, нараспев читают. Лама – на возвышении, лицом к Будде. Временами он прерывает бормотание учеников громким возгласом, за ним повторяют и все молящиеся. При особых знаках ламы ученики бьют в бубны или в медные тарелки, помахивают курящимися кадилами.

Богу молятся на тибетском языке. Священная книга Ганчжур – 108 томов. Их изучают в монастырях-дацах, избранные отрывки читают вслух при молебнах. Простые же монголы обычно обходятся молитвой из четырех слов «Ом мани падме хум». Говорят, в мантре заключается вся буддийская мудрость.

Начинается обряд очищения: из замешанного хозяйкой теста лама лепит, искусно и быстро, крошечные фигурки людей, лошадей, овец и верблюдов и после долгих молитв – одну лишь мантру «Ом мани падме хум» повторяют 108 раз – бросает фигурки в жаровню с горящими углями. Для пущей остротки злых сил работник-бурят снаружи юрты еще и стреляет трижды вверх из ружья.

Однако зло оказалось не из пугливых: поздним вечером, когда в юрте сытно угощались лама с учениками, тот же наемный бурят оседлал двух подготовленных на скачки хозяйских коней и, прихватив ружье и еще кое-что ценное из сундука-чингилина, ускакал в степь. Только утром Бараху увидел пропажу, послал погоню. Да разве догонишь вчерашний ветер!

ГУЧИН-ГУРБУ – ТРИДЦАТЬ ТРИ НЕСЧАСТЬЯ

Тот же дядя Саша Усольцев, по-монгольски Санька-будун («толстый»), летом 1935 года, в июне, позвал Митю поехать с обозом вглубь Монголии, в ее пустынную западную сторону. Александр Львович бросил к тому времени незаконный, да и небезопасный, охотничий промысел, занялся более прибыльным делом – скупкой шерсти и пушнины. Заодно возил с собой для продажи кое-какую одежду, посуду и бакалею, но вся эта торговля часто служила лишь прикрытием для рискованной контрабанды водки и табака. «Была бы голова, а шапка найдется», – любил он повторять монгольскую пословицу. Для дальней поездки собрал артель из семи человек – пятерых русских и двух бурят. Обоз составил из двенадцати вьючных верблюдов и пяти верховых лошадей.

До озера Далайнор маньчжурцам места наезженные, привычные. От верховьев реки Шара-Мурен потянулись песчаные сопки-барханы Гучин-гурбу, по-монгольски «Тридцать три», то есть бесчисленное множество. То совсем оголенные, то заросшие травой или тальником. Трудно выбрать здесь

путь: взберешься на возвышенность, глянешь, а во все стороны – плавные линии новых горбов, таких же точно, словно сделанных по одной мерке. И так больше ста верст.

Впрочем, монголы тогда не знали ни верст, ни километров. На вопрос «Далеко ли до такого-то места?» кочевой человек отвечал: столько-то дней на верблюдах, столько-то на верховом коне. И добавлял вдогонку: «Если хорошо будешь ехать».

Барханы Гучин-гурбу стали переходить в ровную каменистую степь, когда поднялся сухой западный ветер, закрутил, заметался из стороны в сторону. К вечеру ураган охватил серо-коричневой мглой весь небосвод. Караван укрылся среди небольших сопок, люди спешили, разгрузили верблюдов. Всю ночь гремел ветер, в лицо хлестало песком и мелкой галькой. А мимо косматыми призраками проносились сорванные с корней кустарники. К утру местность изменилась до неузнаваемости: некоторые сопки были взвихрены и развеяны так чисто, как будто их никогда и не было, на ровном месте явился высокий бархан, а где-то наоборот выскребло котловину.

Проходивший монгольской степью, примерно по тем же самым местам, Марко Поло в «Книге о разнообразии мира» рассказывал о голосах, сманивающих путников в сторону: «И как станет человек нагонять своих, слышит он говор духов и почувдится ему, что товарищи зовут его по имени, и зачастую духи заводят его туда, откуда ему не выбраться, так он там и погибает. И вот еще что: и днем люди слышат голоса духов, и чудится часто, точно слышишь,

как играют на многих инструментах, словно на барабане». А то среди странного мерцания воздуха без конца проходят навстречу вихри, караваны и войска призраков, толпы лиц, бесплотно насаждают на ездока, прут сквозь него и вдруг рассеиваются, чтобы через мгновенье кучно объявиться на горизонте. И оттуда кричат, машут руками, зовут с собой в страну, откуда путники не возвращаются. Не могут или не хотят вернуться – никто не знает.

Той ночью и люди, и животные в обозе потеряли всякое представление о времени и пространстве. Утро почти не прибавило света, небо все так же осыпалось песком с мелким камнем. Казалось, этому не будет конца. Четырех верблюдов не могли поднять на ноги. Тут уж ничего не поделаешь: если тумэн-верблюд отказывается встать, значит, конец, никакие крики и побои его не поднимут. Останется умирать или, бывает, отлежится, накопит сил и через неделю-две явится сам. Кое-как увязали груз, оседлали коней, бросив павших верблюдов, двинулись в пыльной мгле, без дорог и примет. Хуже всего, у Дмитрия разболелся и потек правый глаз, с вечера нахлестало его песком. Да и левый слезился, смотреть было больно. Промыли из фляжки – не помогло. Пришлось забинтовать. Ехал вслепую, держась за поводья. Укачивало, голова кружилась...

УЛЫБКА БУДДЫ

Очнувшись, Дмитрий увидел перед собой монгольское молодое лицо, красивое, почти детское.

Одетый в желтый халатик, мальчик сидел рядом с ним на полу, поджав ноги, с книгой в руках и тихонько напевал, покачиваясь из стороны в сторону. Над ними круглился белесый войлочный купол, похожий на небо, когда оно в высоких кучерявых облаках. В небе – оконце, в него мутновато лился медовый солнечный свет. Почувствовав Митин взгляд, мальчик немедля вскочил на ноги, схватил где-то и подал кружку с водой. Дмитрий хотел взять, но руки его не послушались, и кружка упала на пол. Мальчик засмеялся, зачерпнул снова и, улыбаясь по-детски, стал поить Митю из своих рук. Сил у того хватило на два-три глотка. Уронив голову на подушку, Дмитрий стал ощупывать свое лицо. Правый глаз завязан – вот почему он видит так мутно. Главное – где он? Куда подевались остальные? Где Усольцев? Дмитрий спрашивал, но мальчик в ответ только улыбался. Потом снова протянул кружку. Он явно не понимал его – то ли из-за незнания русских слов, то ли из-за того, что язык у Дмитрия – и он сам чувствовал это – едва ворочался, а голос был похож на мычание.

Снова поплыли, закружились хмурые облака, подул ветер, зашуршал, посыпался с неба песок...

– Держи, держи его! – Усольцев гнался за тарбаганом, а тот не давался в руки, петлял и метался среди сопков. Потом встал на задние лапы и сам пошел на Усольцева, угрожающе щелкая и скрежеща зубами. Александр Львович прыгнул на своего Хунхуза и дал деру, только камни летели из-под копыт.

– Куда ты, дядя Саш, куда ты? – кричал ему вслед Дмитрий, пытаясь догнать. Да тот улетал все даль-

ше, превращаясь в облако. А тарбаган, теперь уже величиной с медведя, подняв лапы, стал наступать на него...

– Тихо, тихо! – вдруг проговорил кто-то в темноте.

Дмитрий открыл глаза и в свете тусклой свечки разглядел сидевшего рядом белобородого старика. Старик внимательно смотрел на Митю узкими монгольскими глазами и тихо покачивал головой.

– Проснулся? – ласково спросил он. – Вот и ладно, молодец.

Сухой, морщинистый, в темном красноватом халате и в такой же круглой шапочке на голове, настоящий бабай детской сказки, старик сразу понравился Дмитрию. От него приятно пахло лошадьё, полыньё и сеном.

– А где я? – спросил Дмитрий.

Старик сухонько засмеялся:

– У своих, угу, бояться не надо. Я лама Бадмаев, могу лечить, угу. Глаз болит?

– Не знаю, – сказал Дмитрий.

– Смотреть надо. Эй, Чагатай!

Подбежал мальчик, тот самый. Старик что-то велел ему по-монгольски, а сам стал разбинтовывать митин глаз. Мальчик поднес подсвечник поближе.

– Ох, ом мани падме хум! – бормотал старик. – Падме хум! Что видишь?

Он закрыл ему ладонью левый глаз.

– Свечку едва-едва.

– Угу. А еще что?

– Ничего, муть какая-то.

– Ом мани падме хум! Лечить надо, угу.

И снова что-то сказал мальчику по-монгольски. Тот принес баночку и бинты. Старик густо намазал кусок ваты мазью и положил его на правый глаз, туго перевязал. Слегка зашипало. Потом он долго, раздвинув веки пальцами, смотрел в левый глаз. И стал намазывать другой кусок ваты.

– А как же я буду смотреть? – забеспокоился Дмитрий.

– Будду молитвам не учат, – засмеялся лама. – Смотреть потом.

И закрыл-замотал второй глаз. Сухой костистой ладонью потрепал по руке.

– Лежи. Что надо – зови Чагатай. Хорошо будет, угу – ты попал в Шара-Мурен.

Дмитрий слышал про этот монастырь, он лежал на их пути.

– А где Усольцев?

– Сашка-будун? Дальше пошел, в Батухалки, угу. Вернется, не бросил. Лежи.

Старик снова погладил по руке и ушел. А Чагатай стал кормить его мясом и поить соленым чаем из своих рук.

Три недели провалялся Дмитрий в монастыре. Каждый день приходил лама, лечил, разговаривал. Левый глаз зажил быстро, а правый видел плохо и в конце концов покрылся белесым пятном. Пришлось на другой год ехать в Харбин.

Но вот однажды под вечер знакомый голос громко, торопливо заговорил с кем-то по-монгольски – и в юрту зашел Усольцев, нагнувшись, оглядывался в темноте.

– Вот ты где! – разглядел Дмитрия. – Поправился? Бадмаев – лекарь на славу. Благодарю, а он не берет. Чаю только и взял, байхового. Научил тебя монгольскому, говорит. Я теперь с тобой по-монгольски... Мал-сэ-бейна? А надоело, наверно, тебе здесь. Собирайся, домой едем. Как мы? А нам что! Все живы. Семь верблюдов купил, груза много. Голлова есть – шапка найдется. Чагатай, чаю давай!

ЗА РАССТАВАНИЕМ – ВСТРЕЧА

С юности Мирон замечал свои отличия от отца-степняка: сам он был в материнскую родню – по выше ростом, постройнее, светлее лицом. И борода у него росла не черная, а каштановая, с рыжинкой. Эти отличия, как он помнит, тогда радовали его. А еще он сознательным принуждением выработал в себе прямую, без раскачки, упругую походку, быстрый и легкий шаг, гимнастикой и тренировками сформировал более гармоничные пропорции фигуры. Образование, занятие наукой, преподавание, поездки, большой круг общения, мыслительный кругозор тоже, конечно, сказались на физиономии, придали ей чаемую интеллигентность.

Приезжая к отцу на непродолжительные свидания, Мирон любил послушать его застольные рассказы. И всегда они были о том давнем, унесенном временем, теперь и подобия никакого не имеющем мире. Отец приобрел привычку всех долгожителей – питаться памятью. Он прекрасно ориентировался в именах, датах, однако образы уже становились

малокровными, будто изнашивались от времени, окостеневали. Видно, с годами не только вещи, но и тени вещей тускнеют и выцветают.

Нельзя сказать, что отец не интересовался настоящим. Нет, он получал кое-какие газеты, рассуждал о политике, но сравнительно с прошлым все нынешнее выходило у него скучным, мало понятным, блеклым. Душой он остался там, в Маньчжурии, на просторах степной Барги. Жизнь самого Мирона отец мало интересовался, особенно его научными, карьерными делами, с советами никогда не лез, здоров – и ладно. Сам в гости, пока позволяли силы, наезжал ежегодно, но с женой Мирона и с внуками общался без особенной теплоты. С детьми не умел сходиться из-за того, наверное, что и своих в былые времена из-за непрестанной занятости мало видел. Приезжал одетым по старой харбинской моде – в длинном темном плаще или в кожане, под ними френч и галифе, в мягкой широкой шляпе. В пятидесятых годах такой фасон сразу выдавал репатриированных эмигрантов. В семидесятые наводил на мысли о престарелом актере, донашивающем театральный реквизит.

Мирон Дмитриевич потянулся к тетради, сердцем почуяв, что со смертью отец не отдаляется от него, а, наоборот, возвращается, становится ближе, роднее. Все больше сходства он замечает в своих привычках, звуках голоса, в интонациях, в прищуре глаз. Да ведь и походка же возвращается к нему та

самая, торопливая, враскачку, отвергнутая в юности и вроде бы навсегда преодоленная. Вот и сквозь среднерусское обличье заметно проступили черты степняка-забайкальца. Глубоко сидит корень! Всю жизнь он мог считаться столичным жителем с вполне европейской внешностью, не бывать ни разу в тех местах праотческих, не знать их, не любить, отвергнуть – но в итоге родина, степная Даурия, земля Чингисхана, сама находит, напоминает о себе, и он со смущением слышит в своем сердце сухой шелест ее ковыля, ее казацкие песни, ее бубен шаманский, гортанный ее зов...

Давно, с XVI века, доходили до русского правительства в «отписках», «скасах на писме», «распросных речах», «доездах» (отчетах) слухи о расположенных за Байкал-озером богатых «Даурских землях». Для проверки этих донесений были предприняты походы Петра Бекетова и Максима Перфильева. В 1653 году «первые» русские основали Иргенский острог (между р. Хилок и оз. Иргень) и Ингодинское зимовье (на слиянии рек Ингода и Чита). В том же году сподвижником Петра Бекетова Максимом Уразовым основывается Малый острожек на правом берегу Шилки, близ устья реки Нерча. Первый даурский воевода А.Ф. Пашков, получивший «Наказ на воеводство в Даурской земле», основал в устье Нерчи Нелюдский тунгусский острог, который впоследствии стал называться Нерчинским. Так в 60-х годах XVII века произошло присоединение Забайкалья к России. Процесс освоения земель русскими в XVI-XVII веках носил поистине взрывной характер: если

«бледнолицые» заселяли просторы Северной Америки на протяжении почти 350 лет, то русские от Урала через всю Сибирь до Тихого океана прошли в шесть раз быстрее – за шестьдесят лет!

Мама Мирона, рано умершая, была родом из казачьей станицы Курунзулай, возникшей в 1739 году. В более давние времена местность обживали семьи тунгусов, дауров, бурят, занимались они скотоводством, охотой, сбором лесных даров. Название села бурятско-монгольское: в здешних густых лесах водилось множество хуры (глухарей). Хуры имеют обычай устраивать залан (токование). Получается Хурын-Залан. Русским слышится Курунзулай. Когда-то тунгусы имели здесь медный рудник, плавили руду, недалеко от села сохранились останки шахты и доменной печи. Рудник со временем истощился, тунгусы покинули эти места, хотя в горах на большой глубине много меди. Но подлинное диво в соседнем селе Конуй (Кондуй). Здесь обнаружено целое городище с остатками великолепного дворца площадью около трех тысяч квадратных метров. Кондуйский городок – усадьба ранних монгольских властителей. Дворец возвышался на двухметровой насыпной платформе, окруженный двухъярусной террасой и пандусами. На нижней террасе брусья балюстрады опирались на каменные изваяния драконов. В центральном зале стояли деревянные колонны на гранитных базах. Кровля дворца была многоярусной и покрывалась черепицей, украшение стен рельефное с фигурами драконов, птиц и зверей.

Отец вышел из поселка Алгача Александровско-Заводской волости. Алгач – слово эвенкийское (тунгусское), означает солнцепек, к югу обращенный склон. Поселок был знаменит своей тюрьмой для «политических». Алгачинская тюрьма – старейшая в крае, времен Петра I. Здесь отбывали каторгу участники польских восстаний 1830-31 и 1863-1864 годов, террористы-народники, эсеры и представители других российских революционных партий, в том числе знаменитые Мария Спиридонова и Фанни Каплан. Труд узников использовался для добычи свинцово-серебряных руд. Ликвидирована после Февральской революции 1917 года.

Алгачинцы пользовались в Забайкалье нелестной славой людей пьющих и буйных.

Соединились мать и отец уже в Маньчжурии в 1938 году.

ЗАРЕЧЕНСКИЕ УХАЖЕРЫ

Парни из Заречного – малограмотные, грубоватые, с загорелыми дочерна лицами – завидными ухажерами не считались. Учиться им было некогда. Если и случалось свободное время, шлялись по поселку, играли в карты или катали бабки. Проигравшие ставили магарыч. Городские девушки, особенно из богатых семейств, с зареченскими не водились. Когда дело пошло к тридцати, Дмитрий сам выбрал для женитьбы тихую соседскую девушку.

Миرونу Дмитриевичу не терпелось узнать, что же написал отец о встречах с невестой, будущей его

матерью. Что сказал о ней, какими словами выразил свои чувства жениха, мужа? Но нашел в тетради лишь несколько скупых строк о свадьбе: кто венчал, кто гулял, да как играли – и ничего сокровенного, будто стеснялся отец передавать бумаге сердечные дела. Забыл их? Или слишком помнил, чтобы записывать? Еще больше огорчило, что в тетради никак не засвидетельствовано его, Мирона, рождение. О появлении старшего брата – одна строчка. Неужели так мало значили для него жена и дети? Нет, Мирон помнил, как отец страдал из-за смерти матери, чтил ее память, пять лет ходил бобылем. Но в тетради об этом – ни слова.

«ТОВАРИЩ БЛЮХЕР, ДАЕШЬ ОТПОР!»

В июле 1929 года китайские власти объявили в Маньчжурии военное положение: ждали советского нападения. Город стал похож на развороченный муравейник – кругом рыли окопы, противотанковые рвы, строили казармы и доты. Лопатами орудовали в основном китайцы, тысячами согнанные из глубин страны. Гужевая сила – от русских. Без передышки шла перевозка кирпича, бревен и рельсов, измочаленных коней возвращали хозяевам, требовали замену.

Мирон Дмитриевич прочел десятки книг и сам мог лекцию прочесть (да и читал же) о причинах того советско-китайского конфликта, расстановке сил, ходе военных действий и условиях последовавшего затем соглашения. Но и профессиональному исто-

рику – а скорее ему-то особенно – интересен безыскусный рассказ очевидца. Все начинает видеться, как в бинокль, с близкого расстояния, выпукло, в деталях, картинках, у истории появляется цвет и запах.

Заречный поселок опоясала блиндажами и дзотами. До погранзаставы в Бугатуре – меньше пяти верст. На сопке, рядом с домом Измайловых, окопались китайские солдаты. Подходит время обеда. Из штаба, низко пригибаясь, рысцой, китайцы несут на коромыслах ведра с едой. И тут же с советской стороны, из-за реки, начинают бухать орудия. Солдаты, роняя ведра, падают на землю, лапша растекается по траве. «Советские воевать не умеют, – жалуется офицер. – Обед, кушать надо, а они стреляют». Та же хохма из-за Аргуни повторяется в обед и на другой день.

В ноябре, с первыми морозами, братья Измайловы собрались на реку Уршун за садковой рыбой. Кони подкованы, телеги исправлены. Утром оделись в новенькую зимнюю амуницию. Все наше, навязано материнскими руками – стяженные верблюжьей шерстью штаны, толстые носки, к ним стяженные же портянки, свитера, полушубки, бараньи шапки, варежки, рукавицы. В Барге зима шутить не любит, три-четыре месяца держатся тридцатиградусные морозы. Коням в дорогу насыпан овес, сами позавтракали мясными пирожками. Пора запрягать...

И тут тишину утра взорвал гром. Выбежали из землянки. С запада на город летела стая крылатых машин. Земля под ними взметалась взрывами

и огнем. Сделав большой круг, стая ушла обратно, за нею показалась другая. И снова взрывы, столбы дыма, пальба. А если начнут бить по китайским укреплениям в поселке? Конные и пешие бросились из Заречного в сторону от реки. Боялись больше не за себя, а за лошадей. Митя запряг Серко, любимого своего жеребчика, и помчался вскачь в город, чтобы потом увести туда же других коней. Но лишь разогнался, как навстречу бросился китайский солдат с ружьем, сел по-хозяйски в телегу и велел поворачивать назад в депо. Там в тесноте расположилась целая рота китайцев. Принесли пампушек и каши. Пообедав, солдаты задремали, и Митя решился бежать. Перелез через забор и железнодорожными путями домой. Бог спас: минуту спустя орудийными залпами из-за реки накрыло депо и железнодорожную школу, здания превратились в дымящиеся развалины. Редкие оставшиеся в живых солдаты побежали прятаться в сопки.

К вечеру все стихло. Серко жив остался и сам вернулся домой. С рассветом в поселке показались красноармейцы. Перебежками, пригибаясь, они продвигались к окопам и блиндажам. Напрасно боялись: ночью китайские части отступили в сторону станции Чжалайнор. Но там их встретила прорвавшаяся далеко на юг красная кавалерия. Солдаты бросились назад в Маньчжурию. В городе придумали переодеваться в гражданских, в поисках гражданской одежды стали чистить магазины. Улицы были завалены армейскими полушубками, шапками, сумками, винтовками. А по дворам метались, пытаются

спрятаться, небритые чумазные типы в дорогих английских пальто и модных шляпах не по размеру, кто в мужских, а кто и в женских.

Маскарад, конечно, только насмешил. Но советских в Маньчжурии больше интересовали не разбитые китайские вояки, а русские беженцы. Удачный выпал случай посчитаться с теми, кто успел уйти от красного пожара в двадцатом году. В приказе по Дальневосточной армии главнокомандующий Блюхер требовал уничтожить белых эмигрантов, способных носить оружие, которых он насчитывал в Маньчжурии до пяти тысяч. Пока армейские части сражались с китайцами, каратели НКВД хватали всех попавшихся под руку русских молодых мужиков. Дмитрий лишился старшего брата Георгия. Соседи Поздняковы – двух женатых сыновей – Гавриила и Степана. Редко какая русская семья не потеряла родных той осенью. Схваченных бросали в подоспевшие вагоны и отправляли из Маньчжурии на другую сторону. Все равно, что на другой свет: ни один из угнанных не вернулся и не подал никакой вести родным.

Подобная же судьба ждала несколькими годами позже и советских служащих КВЖД. После уступки дороги японцам их отправили в СССР, в Воронеж, и почти все они в 1938 году погибли в лесной растрельной Дубовке: чекисты разглядели в репатриантах японскую агентуру.

И в целом кампания для китайской армии складывалась неудачно. 22 декабря 1929 г. был подписан хабаровский протокол, по которому во-

енные действия в Маньчжурии были закончены, советские арестованные освобождены и на КВЖД восстановлено прежнее положение. После подписания перемирия положение русских эмигрантов стало меняться к худшему. Боясь возобновления конфликта, китайские власти решили разоружить и взять под свой контроль белогвардейские отряды и органы эмигрантского самоуправления. Они выслали из Харбина и других городов Маньчжурии видных вождей белой эмиграции. Тем самым положили начало более активному переселению русских в портовые города Китая, главным образом, в Шанхай.

ПЯТОЕ КОЛЕСО МАНЬЧЖОУ-ГО

Невелика река Аргунь, но разделила мир надвое. Неширока – а не переплывешь. На той стороне Советский Союз, оцетинившись заставами, готовился к отражению Квантунской армии. На этом берегу хозяйничали японцы.

Относительно эмиграции оккупационный режим поначалу действовал мягкой лапой. Русских официально провозгласили «пятой нацией», участвующей – совместно с японцами, китайцами, маньчжурами и монголами – в строительстве и защите Даманьчжоу-диго – Великой Маньчжурской империи.

Начальник японской военной миссии в Харбине генерал Янагита обратился к эмигрантской молодежи Маньчжурии с призывом не забывать оставленное отечество – Россию, гордиться именем рус-

ского. Но при этом знать и помнить, что у них есть вторая родина – Маньчжоу-го, готовиться служить ей и помогать в священной войне против коммунистов и англосаксов. С победой мир и благоденствие наступят для всех народов, сомкнувшихся под одной крышей с героической нацией Ямато.

Для единения сил оккупанты организовали Русское эмигрантское общество. В Маньчжурии его возглавил станичный атаман забайкальских казаков Эпов. Парням и девушкам пришлось примерять японскую форму. Утро новобранцев начиналось с исполнения гимнов и церемонных поклонов. Русский текст гимна Маньчжоу-го отец, оказывается, запомнил на всю жизнь – и однажды запел тонким плаксивым голосом, изображая китайские интонации:

*Явилась на Земле новая Маньчжурия.
Новая Маньчжурия — обновленная страна.
Сделаем же наше государство цветущим
и безбедным!*

*Пусть царит любовь и не будет вражды.
Нас тридцать миллионов.
В семье и в государстве порядок. Что еще нужно?
Власть императора благотворна и сильна.
Мир наполняется божественным светом.
Пожелаем императору долголетия и здоровья
И поддержим все его начинания!*

– Вишь, не забыл, – говорил отец. – Вот что значит молодость! А теперь на другой день ни слова не вспомнишь.

На учениях «дружинники» тушили воображаемый пожар, часами передавая друг другу по цепи пустые ведра, ползали по земле, прятались в ямах, рогожками или песком из бумажных кульков накрывали «падающие с неба бомбы».

Миرون спрашивал, сразу ли узнали в эмиграции о нападении фашистской Германии на СССР, как восприняли начало войны, что вообще могли знать о ее ходе.

– Японцы вели такую пропаганду, что ваша страна, мол, оккупирована коммунистами, врагами всего русского, что Советский Союз – это поработенная Россия, а потому надо готовиться к войне за ее освобождение, – рассказывал отец. – Говорили, что достаточно небольшого толчка извне – и СССР рухнет. И вот, мол, этот момент настал – Германия начала войну. Да, из газет мы знали, что немцы дошли аж до Волги. По радио и на митингах власти клеймили «изменников», то есть тех, кто испытывал симпатии к СССР и не желал победы державам «оси».

С началом войны японские власти установили в Харбине и по всей Маньчжурии строгий информационный режим. Все находившиеся у населения радиоприемники были зарегистрированы и опечатаны так, что могли принимать только одну местную радиостанцию. Новости, которые она передавала, проходили строгую японскую цензуру. Сохранность пломб на радиоприемниках контролировалась японской жандармерией.

И все же православные батюшки удивляли в проповедях и частных разговорах своей осведом-

ленностью о положении дел на советско-германском фронте. Ходил слух, что сведениями их снабжает харбинский архиепископ Нестор, а он, мол, каким-то образом получает информацию прямо из Москвы.

– В общем, зимой 41-го и до нас в Маньчжурии стало доходить, что немца гонят, немец драпает... Радовались, конечно, торжествовали в душе. И как-то сразу стало забываться все плохое – гражданская война и бегство, колхозы, гонения на церковь и наше собственное бесправие на чужбине. Главное – Россия выстояла. И разгоралась у людей вера, что рано или поздно граница между нами рухнет, вернемся домой.

Но чем более радостные вести приходили с запада, тем сильнее ожесточались и закручивали гайки оккупанты. Стали они вмешиваться во все дела русской колонии и даже в дела церкви. В начале 1943 года японская администрация обнародовала многословное, напыщенное «Наставление верноподданым». Населению подконтрольных территорий предписывалось, среди прочего, «благоговейное почитание» основательницы японского императорского рода богини Аматэрасу Оомиками. Согласно «Наставлению», в положенные дни всем, независимо от национальности, надлежало приходиться и совершать поклоны перед статуей божества.

Велели собраться и жителям Заречного поселка. Начальник особого отдела японской военной миссии Нагата зачитал полученное «Наставление». Первым пунктом «верноподданных» обязывали бла-

гоговейно почитать богиню Аматаэрасу. «Какая еще богиня, что за япона-мать?» – запереглядывались, зашушукались люди. Японец предложил задавать вопросы. Вытолкнули вперед Дмитрия, избранного недавно поселковым атаманом.

– Господин Нагата, – начал Дмитрий, получив разрешение говорить. – Ведь мы, русские, имеем эмигрантские паспорта и вообще-то не обязаны считать себя верноподданными...

– Вы думаете, что говорите? – строго прервал Нагата.

– Но главное, – продолжал Дмитрий, – почитание других богов несовместимо с нашей христианской верой.

Со всех сторон – шум одобрения.

– Я снова спрашиваю – вы думаете о том, что говорите? – прикрикнул Нагата.

– Да, думаю, – отвечал Дмитрий. – Думаю, что это распоряжение жители поселка исполнять не могут.

С минуту японец смотрел на него молча, стараясь сразить, подавить взглядом неожиданно встретившееся сопротивление. Замолчал и Дмитрий. Но шум и движение в толпе нарастали. Нагата резко встал и пошел к выходу. На ходу бросил:

– Изложите письменно ваши возражения.

– Как бы худа какого не было, – забеспокоился один из стариков.

– Ничего, не бойсь, всех не посадят, – успокоил казак помоложе.

– А мне-кась пускай садят! – громко крикнула казачка. – Я первая готова пострадать за веру! А

какой-то матраске, или как ее там, кланяться не стану.

Узнав про «наставления», жители Заречного заволновались:

– Поклоняться их косоглазой богине? Никогда! Никаких японских паспортов и матрасок не признаем. И детям своим не позволим, в школу не пустим, пусть лучше сидят дома.

Прошел слух, что везут из Японии целый пароход этих самых богинь гипсовых – ставить в церквях. Это было, конечно, выдумкой, но настроение подогрело. Духовенство готовилось держать оборону и не пускать, хоть ценой жизни, статуи за ворота приходов. А один из батюшек с опасностью язычества управился просто:

– А я вычеркнул из наставления про богиню Ама-тераску-то, да написал вместо этого «благоговейно почитать Господа Бога» – и дело с концом. Так народу и зачитал.

МАНЬЧЖУРСКИЙ ОРЕХ

Излагать свои возражения на бумаге Дмитрий не стал, да и не силен он был в богословии. Сказал, как чувствовал, во внезапном порыве, не думая о последствиях. Надеялся, что замнется, забудется. Однако на третий день после собрания принесли повестку от начальника особого отдела военной миссии. Дмитрий слышал, что в городе начались аресты. Взяли его друга Леньку Власова, работавшего в бюро эмигрантов. Священники, открыто выра-

жавшие неповиновение «наставникам», были либо изгнаны из своих приходов и выдворены из Маньчжоу-Го, либо замучены в застенках (священники Александр Жуч, Федор Боголюбов, иеромонах Павел). Так что шел он в отдел с настроением кролика перед удавом. В лавке знакомой старухи-китайки выпил для смелости стакан ханжи, заел зинтаном, таблетками, хорошо убивающими запах.

Отдел Нагаты размещался в бывшем доме торговца Евангелидиса. И вспомнилось, как в молодости, еще холостыми, приходили в магазин, чтобы только увидеть, хоть мельком, дочку хозяина Женю. Покупали какие-нибудь пустяки, садились за столик и ждали, не покажется ли черноокая гречанка с косами до колен. Бывало, она сама и стояла за прилавком. Чаще же торговал приказчик или хозяин. «Неудачный сегодня день», – смеялись на улице, не повидав Женю.

Теперь в бывшем магазине встречал не приветливый Евангелидис, а секретарь Нагаты, высокий японец со злым и хитрым лицом. Около часу протомил в прихожей. Но принял не сам Нагата, а советник Накамура, довольно молодой, интеллигентного вида, в тонких золотых очках. С улыбкой протянул руку, пригласил садиться.

– Господин Измайлов, начальник отдела опечален и возмущен вашей выходкой, которую вы допустили при ознакомлении жителей поселка с «Наставлением верноподданным», – начал он по-русски мягким негромким голосом. – Инцидент может иметь серьезные политические последствия. Вот почему мы не могли оставить его без внимания. Думаю, все

произошло из-за того только, что вы не поняли суть «Наставления», не знаете, какой богине призывают вас поклоняться. Так вот я хочу по-дружески вас просветить. Амаэрасу Оомиками – душа нашего народа, основа государственного строя империи. Вы русский, а все русские, как пятая народность Маньчжоу-Го, должны гордиться, что получили право войти в семью этих народов.

– Скажите, господин советник, а эта богиня Амаэрасу действительно существует? И где она обитает? – спросил Дмитрий.

– Конечно, существует и живет там, на небе, – советник поднял вверх указательный палец.

– Выходит, – продолжал Дмитрий, – мы, христиане, должны признать существование двух богов – нашего бога и вашей богини. Но тогда мы перестанем быть христианами, перестанем быть русскими. Единобожие не позволяет нам этого.

– Нас это не касается, – ответил советник. – Вы, конечно, можете иметь своих богов – Христа, Будду, Конфуция, Магомета, это ваше частное дело, но все эти ваши боги пребывают в свете великой богини солнца Амаэрасу Оомиками.

– Скажите мне, Накамура-сан, – продолжал Дмитрий, – что более ценно в ваших глазах – правда или ложь?

– Разумеется, правда, – ответил советник. – Императорская власть уважает и ценит правдивых и честных людей.

– Тогда зачем вы заставляете меня кривить душой? Ведь даже согласившись с вами на словах, я

все равно останусь при своем мнении и вынужден буду лгать людям. На лжи далеко не уедешь, люди ее не примут.

Советник помолчал в раздумье, а потом сказал:

– Что ж, благодарю вас за откровенность. Я не знал, что у русских так глубока вера. Кажется, я вас понял и постараюсь сделать, что от меня зависит, чтобы поняли высшие власти.

Дней через пять после этого разговора с советником Нагаты Дмитрия вызвали в департамент полиции. Казалось бы, ничего особенного, вызывали и раньше – вручать под роспись административные распоряжения, требовать людей на военно-строительные работы, по другим делам. Но тут сразу пошло иначе. Взяв повестку, дежурный офицер потребовал паспорт, куда-то позвонил, отдал распоряжения по-японски. Подошли три жандарма с револьверами наготове и повели на улицу, через двор в темное двухэтажное здание с мелкими окнами. Сердце сжалось – да это же тюрьма! Мрачный холодный коридор. С правой стороны – узкая дверь с решеткой. Открыли и толкнули внутрь. Сопротивляться и говорить что-то было бесполезно. Дверь закрылась, щелкнул замок. Несмотря на полушубок, пронизывающий холод охватил все тело. Стал думать, с чем связан арест. Хотят допросить по делу Леньки Власова? Или шьют политику из-за этой самой Аматаэраски? Вызывали же к Нагате. А тот советник, должно быть, только казался добрым и сочувствующим. Сообщат ли жене? Впрочем, сама поймет, сказал же, что идет в полицию. А оттуда не

всегда возвращаются в последнее время. Но когда же вызовут? Как ночевать на холодном полу?

Очнулся от боли в шее и в ногах. Конура два на три метра слабо освещалась утренним светом, проникавшим через затянутое льдом окошечко. Грязно-серый низкий потолок, загаженные стены, в двери зарешеченное отверстие. На полу гнилая солома, битый кирпич. И насквозь пронизывающий холод.

Зимний день угасал, когда в окошечко постучали.

– Луска, канцелярий ходи, – сказал кто-то и щелкнул замком.

Дмитрий едва выполз из конуры. В коридоре встал на дрожащие ноги и, опираясь о стены, пошел за жандармом. В небольшой комнате на этом же этаже за письменным столом сидел довольно молодой японец в штатском, с простым и вроде бы добрым лицом. Разрешил сесть. Первый вопрос:

– Вы знаете, за что вас арестовали?

– Нет, не знаю, – ответил Дмитрий. – И думаю, при справедливой японской власти не должны так поступать, бросать в тюрьму без всякого объяснения.

– Советую вам так не говорить, – мягко сказал японец. – Вас задержали за выступление против власти. Ваши действия опасны, особенно в военное время.

– В чем же опасность? – спросил Дмитрий. – Я лишь открыто в присутствии господина Нагаты сказал то, что думаю.

– И все же – что заставило вас встать на такой опасный путь?

Дмитрий тоскливо огляделся.

– Господин следователь, нельзя ли чаю? Я не пил уже сутки. И страшно промерз.

– Вы хотите пить? – улыбнулся японец. – Вам дадут горячий чай и галеты. Но прежде скажите, кто из ваших знакомых разделяет такие взгляды? Это облегчит вашу участь.

Дмитрий молчал.

– Вы обвиняетесь в оскорблении его величества, так как нарушили закон о священной особе императора Маньчжоу-го и отвергли его наставление верноподданным, – продолжал следователь, смотря в глаза.

– Я русский эмигрант и верноподданным его величества считать себя не могу, – отвечал Дмитрий.

– Так нельзя говорить! – крикнул следователь. – Я не разрешаю!

– Я все сказал, а вы решайте.

Следователь опустил на стул, помолчал, собираясь с мыслями.

– Мне жаль вас, – начал он, меняя голос на прежний, спокойный. – Я чувствую, что вы искренний человек... Но я исполняю свой долг перед родиной и императором. Вас освободят при условии, если осознаете свою ошибку и вину перед японскими властями.

– Господин следователь, я не могу отказаться от своей веры. Вы как самурай хорошо знаете, что такое вера и долг. И моя вера нисколько не противоречит японской власти и государству Маньчжоу-го.

– Хорошо. Но ради простой формальности вы должны раскаяться в своей ошибке, я занесу это в протокол, и вас вскоре освободят.

– Никакой ошибки не было.

– Нет, вы ошибались! – твердо сказал следователь и что-то написал в лежащую перед ним книгу.

Отвели в тот же промерзший каземат. «Видно, придется околевать здесь», – думал Дмитрий. Но чудо – вскоре принесли горячий чай и пампушки. Вечером в коридоре, близко от камеры, кто-то бросил на пол дрова, стал растапливать невидимую печь – и в камеру проник запах смолы и дыма. Воздух стал нагреваться. Потом в окошко кинули кусок войлока. Теплее стало и на душе.

Утром Дмитрий проснулся в радостном ожидании: должны выпустить. Но прошел день, и другой, и третий. И неделя прошла. Каждый день приносили кусок черствого черного хлеба и чашку с водой. Подавали молчком, на вопросы не отвечали.

На девятый день снова повели в канцелярию. За столом сидел тот же следователь.

– Я сделал для вас все, что мог, – сказал он. – Сегодня получено разрешение освободить вас. На прощанье хочу дать совет – никому, никогда и ничего не говорите о богине Аматэрасу Оомиками. Это в ваших интересах. Вообще забудьте о ней. Лично вас никто не заставит кланяться Аматэрасу, а что касается других – это не ваше дело.

На слабых шатких ногах Дмитрий вышел со двора департамента, постоял, удивляясь высоте и голубизне неба, свежести морозного воздуха, сверкающему снегу. Дома со слезами бросилась на шею жена. Выпустили! Каким страшным было ожидание! Выпускали не всех...

Оказалось, освобождению Дмитрия помогли харбинские архипастыри Мелетий, Димитрий и Ювеналий, строго запретившие церковным приходам Маньчжурии любые ритуалы, нарушающие чистоту православной веры. Японские власти дрогнули. Генерал Янагита послал запрос в Токио – и там сочли возможным смягчить первый пункт «Наставления»: «благоговейное почитание» богини Аматэрасу заменили простым «уважением».

Но аресты продолжались, чаще всего по обвинениям в диверсии и шпионаже в пользу СССР. Опасно стало даже смотреть в советскую сторону. «Тебе туда хочу?» – спрашивал полицейский парней, оказавшихся на берегу реки. Потянулись люди на восток, подальше от границы. Кто побогаче, уезжали в Харбин, кто мог – и в Шанхай.

Дмитрия встретил как-то на улице знакомый следователь Савин – теперь он служил у японцев.

– Что, Измайлов, все атаманствуешь? – заговорил с подковыркой. – Советую тебе убираться из Маньчжурии от греха подальше, спокойнее будет.

– Какого греха? – растерялся Дмитрий.

– Сам знаешь, какого. Серьезно советую.

Дмитрий так и не понял, пугал его Савин или предостерегал. Но и без его советов было понятно, что над приграничем сгущаются тучи, недалеко до грозы. Решили с женой перебираться в Хаке, небольшой станционный поселок восточнее Хайлара, где собралось уже немало бывших маньчжурцев.

Стоял март – и надо было быстрее, пока не тронулась Аргунь, заготовить и привезти тальник, огородить дворы на отведенной для постройки площадке. Поставил Дима дом на новом месте. Тут и суждено было появиться на свет Мирону. Ничего, здоров, седьмой десяток пошел. Спасибо бабке Агеихе, повитухе, что приняла его, не повредив ни головы, ни ног. Спасибо батюшке Ростиславу, что окрестил в хайларской церкви. Вечная память!

В школе Мирон учился уже по советским учебникам, вместе с тем хакинский батюшка отец Алексей продолжал просвещать на уроках Законом Божиим. Жили по двум календарям. Вот Мирон, разглядывая советский, оповещает бабушку: «А сегодня, смотри-ка, праздник – день Парижской Коммуны!» Она ему в руки свой календарь, церковный: «Какой еще коммуны, прости Господи! Сегодня мученики, почти-ка ихний акафист». Как праздновать Парижскую Коммуну никто не знает. И они с бабушкой, конечно, отправляются к вечерне в церковь помолиться добропобедным мученикам.

Взрослые по праздникам – а отмечались лишь церковные, православные – гуляли широко, весело, пели старинные, сбереженные из прежней России песни и романсы, могли под шумок грянуть и «Боже, царя храни!». Однако молодежь уже знала «По долинам и по взгорьям», «Катюшу», «Широка страна моя родная». В основном сохранялся уклад старорежимный. По воскресеньям и стар, и млад шли в церковь, все помнили молитвы, многие дер-

жались постов, в каждом доме в красном углу светились иконы, зажигались лампы. Одевались в большинстве тоже по старой моде – казацкой или гражданской. Да и стол в дни торжеств составлялся из блюд старинной кухни, названия многих теперь встретишь лишь в книгах. Женщины свято хранили и передавали младшим, дочерям и снохам, рецепты русского гостеприимства. Каждый праздник обставлялся особым набором яств. Пировали с размахом, большими, шумными застольями, из домов гулянья нередко выливались на улицы. Но «черного» пьянства не было, и в будни, без повода, питье не приветствовалось, да фактически и не встречалось. «Любителей» всех знали наперечет, они становились посмешищем и в какой-то степени изгоями. Трудились основательно и серьезно. И не просто «вкалывали», а умели развернуть дело, собрать капитал, обучиться необходимым профессиям, завести деловые связи с границей. Потому-то русская колония выделялась в море нищего тогда китайского населения относительным благополучием и порядком. Сегодня отцу было бы трудно, почти невозможно, поверить в то, что китайцы в чем-то смогли обойти русских, преуспеть больше их.

ВОЗВРАЩЕНИЕ

– Смотри, Митя, да ведь там, кажись, вороны летят! Живность! Так что не пропадем, ворон стрелять будем!

Сосед Иван Кузнецов, дядька богатырского роста и невероятной силы, перебежал на станции из

своего вагона, и вот они с отцом, сидя у окна друг против друга, как-то невесело балагурят. Пятый или шестой день пошел, как поезд пересек границу и едет по Советской стране. Мирон лишь проснется, тут же бросается к окну. Смотреть не наскучит – все новое, невиданное. Позади остался Байкал. На больших станциях их снабжают кипятком и солдатским супом. Длится и никак не кончается Сибирь. А переселенцы и не знают, куда их везут, где та остановка, на которой предстоит сойти и начинать жить заново. Собрались в Союз, а что там, как там, – и сами взрослые, кажется, знают ненамного больше детей.

– Нет, поститься придется. Теперь, Иван, мясо видеть будешь только на Октябрьскую и Первомай, – говорит отец. – Магазинов-то, наверное, вовсе нет.

– Деньги тогда для чего же? Нет, раз деньги печатают, то и торговля какая-то должна быть.

– А помнишь, говорили, что коммунисты без денег живут? Теперь вижу, что врал.

Иван достает из кармана новенькие бумажки, разглядывает:

– Смотри-ка, с Лениным!

– Привыкай!

На приграничной станции с суровым названием Отпор дали «подъемные», кажется, по три тысячи на семью. Зато отняли все «неположенное» – иконы, книги, граммофонные пластинки. Мирону до слез жалко старой Библии с благословением батюшки Алексея. Да что там, пропала и книга инженера Герасимова о рудах Забайкальского края, подарок деду царя Николая. Какие картинки были там инте-

ресные! А отец побоялся взять из-за царской подписи на обложке и сам сжег книгу еще дома в печи.

На границе переселенцев встречали «покупатели» живой силы из целинных хозяйств Сибири и Казахстана. Они ходили вдоль эшелона, заглядывали в вагоны, заговаривали – выбирали работников покрепче и помоложе. Их вагон в числе десяти прочих достался Курганской области. Высадили на станции Шумиха и куда-то повезли на разбитых грузовичках.

После нескольких часов тряского пути машина развернулась у плоских длинных бараков, похожих на китайские фанзы. Множество незнакомых женщин и детей смотрели во все глаза и угрюмо молчали. Мирону стало страшно: только сейчас он осознал со всей безысходностью, как далеко они заехали от родных мест, от привычной жизни и что туда не вернешься теперь никогда, и жить придется среди этих непонятных людей. Взяв поданную из кузова табуретку, он понес ее к дверям, толпа перед ним испуганно расступилась. Позже «местные» признавались, что ждали настоящих китайцев, представившихся им, видимо, в ярких шелковых халатах, с косичками, с веерами и зонтиками в руках. Простой русский вид переселенцев, видимо, удивил и разочаровал. Впрочем, в деревне все равно их еще долго звали китайцами.

В темной сырой конуре с просвечивавшимися от худобы стенами (к зиме их потом сами залепили глиной потолще) предстояло прожить два года в режиме карантина: к советским порядкам надо было

привыкать постепенно. В соседних бараках обитали сосланные в Сибирь после войны молдаване. И несколько цыганских семей, попавших под объявленную тогда кампанию приручения к оседлой жизни. Их неунывающий нрав, пенье и пляски под гитару, детские драки и ругань придавали барачному житью-бытью живописный колорит табора.

Понемногу у костров стали появляться и местные. Поначалу они не решались близко сходить с «китайцами» – все же люди из-за границы, под присмотром. Первыми, как всегда бывает, осмелели и перезнакомились между собой дети, за ними их матери. На первых порах женщины молча смотрели со стороны, отказываясь переступить порог или садиться за стол. Мужики сходились быстрее. Но мужчин в селе было мало, особенно здоровых, не увечных. Из разговоров понемногу узнавалось, что и как здесь бывало, какую великую войну перемогла страна всего лишь несколько лет до этого, сколько горя пришло с нею почти в каждый деревенский дом. И собственные лишения перед испытаниями и утратами этих людей казались мелкими и необидными. Да сколько же всего предстояло еще узнать и понять, принять в сердце, чтобы не остаться навсегда чужими, приезжими, чтобы по-настоящему, кровно соединить себя с живущими рядом, с незнакомой пока еще, хоть и русской, землей, свою долю сочетать с общей судьбой. Ведь только тогда могло состояться настоящее возвращение и обретение России – не той, воображаемой песенной, былинной, эмигрантской, а нынешней, здешней, советской. А давалось это не просто...

Отец Мирона умел делать, кажется, любую работу. Если взяться считать, он владел десятком-другим наиболее полезных профессий: способен был поставить дом – хоть деревянный, хоть каменный; выложить печь; завести пашню или расплодить без числа коров и овец; своими руками выделывать кожи и нашить шапок, сапог, полушубков; знал повадки диких зверей и умел лечить домашних; находить в степях и в лесу дорогу без карт и без компаса; владел на бытовом уровне китайским и монгольским; играл на гармонии, а в молодости и в любительском театре; несколько лет атаманствовал, т.е. занимался земской работой. Но все это, наработанное и скопленное в той жизни, враз оказалось ненужным и бесполезным в этой, где на работу «гоняли» (так и говорилось: «Тебя куда завтра погонят? А меня вчера загнали на посевную»). Здесь невозможно было никаким умением, старанием, упорством что-либо исправить, улучшить, сделать по-своему, облегчить жизнь своей семье. Переселенцы будто остались без рук, которыми еще вчера умели столь многое. Было от чего пасть духом и занемочь. Кладбище в соседней рожице за два года сильно подросло могилами «китайцев». У Мирона умерла мать, умерла бабушка. Когда же срок карантина подошел к концу, выжившие стали разбегаться. Первыми на разведку кинулась молодежь. Совхозное начальство тянуло с документами, не давало отпусков, запугивало – но люди разлетались, как воробьи. Еще раньше за лучшей долей куда-то откочевали цыгане.

Как-то Мирон Дмитриевич вновь посетил печальное селенье – воскресить память детских лет, навестить могилы. На месте бараков увидел длинный ряд бугорков и ямок, поросших бурьяном.

Первые годы репатрианты еще держались друг за друга, соблюдали обычаи, жениться предпочитали на своих, знали, наезжали в гости. Но уже их дети стали забывать прежнее землячество и родство, побтерлись и стали вполне советскими. Мирон Дмитриевич по отцу видел, как менялись со временем взгляды и настроения бывших эмигрантов. В семидесятых годах его как-то разыскал и навестил двоюродный брат из Австралии, бывший харбинец. «Хвалился, как они там богато живут, – рассказывал отец потом с неудовольствием. – А я его спрашиваю: кем же твои парни работают? Грузовики водят? Ну вот, а мои все трое институты закончили. Да и говорим здесь, слава богу, на своем языке».

Спустя двадцать лет им уже трудно было понять друг друга. Их сняли со льдины, называвшейся Русской Манчжурией, и развезли на разные континенты. А сама льдина растаяла...



МОЛОДЫМ НЕ ХОДИ В ГУАНДУН

*Записки о бедствиях войны,
написанные Ли Вэньхуа, конфуцианцем*



ГЛАВА ПЕРВАЯ

1

Как отдаленное, во времени ли, в пространстве, часто кажется нам прекрасным, даже не будучи таковым, так и юность моя представляется мне замечательной и полной большого смысла, несмотря на лишения и многие опасные события, о которых надлежит рассказать.

Отец мой, господин Ли, служил в округе Фэнхуа провинции Чжэцзян*, недалеко от приморского города Нинбо, в звании чиновника седьмого класса*. С детства помню его наряд с изображением утки-мандаринки, а на шапке – бронзовый шарик. Ребенком звали меня Мацзы (Жеребенок)*, но с пятнадцати лет я получил настоящее имя и с тех пор зовусь Вэньхуа, что значит Грамотей, или Начитанный.

Такое имя надо еще заслужить. Я действительно рано освоил письменность. Получилось так, что начальник уезда пригласил из Ханчжоу в наставники своему сыну достойного и весьма ученого конфу-

* Примечания в конце повести.

цианца, звали его Ши Синьюэ. «Лучше обучить наследника, чем оставить ему короб золота», – говорит известное присловье. Отец приказал мне пойти к господину Ши и тоже попроситься в ученики. Так я и сделал. Шэнли, сын начальника уезда, стал моим однокашником, и мы быстро с ним подружились. Сблизили нас не забавы и детские шалости, а прежде всего искреннее и глубокое почитание нашего наставника и желание побольше напитаться всей премудростью, что нам он внушал.

Оттого и грамотой мы оба овладели довольно быстро и в достаточном совершенстве. О платье и еде для нас заботились родители, а сами мы днем и ночью читали и перечитывали творения старых мудрецов. Как говорится, бумага стала нашей пашней, а кисть – плугом. Или еще из подобных изречений: летом книги нам озаряло мерцание светляков, зимой – блистание белого снега. Вчера мы читали писания Канона, сегодня – Книгу истории «Шуцзин»*. Примером нам служил Сым Гуан (посмертное имя его Вэньчжен*) со своим изголовьем. Прославленный историк был столь усерден в ученых занятиях, что ложился спать, кладя голову на круглый отполированный чурбачок. На таком изголовье голова долго не задерживалась, соскальзывала – Сым Гуан просыпался и снова садился за книги.

Так и мы, не зная отдыха, пробирались в чащу познания и плыли в море премудрости, разбирая письмена, все больше проникаясь мыслью и духом Чжу Си*. Путь нам освещали негасимые светильни-

ки Лао-цзы и Конфуция*. Причмокивая от усердия, твердили мы изречения полководца Сунь У*, поднимая глаза к потолку, пересказывали содержание стародавних трактатов по воинскому искусству «Шесть стратегий» и «Три расположения». И все для чего? Чтобы когда-нибудь, преступив красный порог государевых чертогов в «шапочке беззаботного странника»*, преуспеть в словесных и воинских состязаниях, заслужить признание и милость и вернуться домой, блистая пожалованным парчовым платьем, шелковыми цветами на шапочке, красной перевязью через плечо и с цаплей, а то и с серебряным фазаном на груди и спине. О таком мечтает каждый юноша, посвятивший себя учености и ведению законов. Вода течет туда, где ниже, а человек стремится забраться куда повыше.

Отец не желал мне другой судьбы, как только стать чиновником, а затем продвигаться все дальше и дальше по службе.

— Достойный муж является в этот мир, чтобы прославить свое имя и запомниться людям замечательными делами, — внушал мне старик. — Он покидает пост полководца лишь для того, чтобы стать главным министром. Он ест и пьет из священных треножных сосудов, услаждает слух изысканной музыкой. Жизнь удалась, если род процветает, а семейство многочисленно и богато. Дабы призвание состоялось, молодые годы проводи в ученье, а затем углубляй свои познания в странствиях. Наступит время, выдержишь экзамен и облачишься в парчовые одежды.

Впрочем, в другой раз, в ином настроении, отец мог внушать мне и нечто противоположное.

– Не беспокойся о том, что не занимаешь высокий пост, – говорил он, – беспокойся, хорошо ли служишь на том месте, где находишься.

Или:

– Не горюй о том, что тебя мало кто знает; постарайся быть достойным того, чтобы тебя знали.

Отец говорил мне это, а я вспоминал любившую мне старинную повесть «Записки о случившемся в изголовье»*. Некий юноша, говорится в ней, мечтал о карьере чиновника. Всю жизнь посвятив продвижению по службе, достиг он в конце концов должности начальника главного секретариата империи. Император пожаловал ему высочайший титул яньского князя, осыпал почестями и наградами. Но потом, при наследнике, он попал в немилость, его обвинили в преступлениях и приговорили к казни. В слезах и отчаянии царедворец всходит на помост, кладет голову под топор и... Юноша проснулся в хижине старца-отшельника, к которому сам пришел просить совета, как добиться в жизни чинов и богатства. Голова его лежала на чурбачке, том самом волшебном изголовье, а весь путь к успеху и дурное окончание этого пути были лишь сновидением. Таким-то образом, наведя провидческий сон, мудрец показал юноше тщетность и неразумность подобных стремлений.

2

Втайне от родителей я мечтал совсем о другом: о бесконечных странствиях по всей нашей благосло-

венной Срединной Империи, а потом и за ее пределами, по примеру великого флотоводца и открывателя дальних морских путей Чжэн Хэ*. Больше всего стремился я сердцем в Обитель закатного солнца, то есть в Индию, страну неземной красоты и неземной мудрости, откуда явился к нам когда-то Просветленный и столь многих увлек таинственной своей улыбкой, куда неслышными шагами навсегда ушел Лао-цзы. Из всего множества книг чаще других оказывались у меня в изголовье «Шань хай цзин»*, «Книга гор и морей»*, полная невероятных приключений в запредельных странах, а также «История Чжоу-вана» – о путешествии чжоуского государя к Си-ванму, царице Преисподней.

«Мир так велик, что не придумать ничего такого, чего бы в нем не нашлось», – говорится в книгах. «Огородные черви в огороде и умирают», – гласит народная пословица. Мне червем быть не хотелось.

Первые мои собственные отлучки из дома были связаны с нашим наставником. По старости лет господин Ши не мог передвигаться на большие расстояния самостоятельно и однажды попросил меня и Шэнли сопровождать его в поездке в Ханчжоу. Не зря путешественники называют этот город самым прекрасным местом на земле. Тогда я впервые увидел озеро Сиху, ни с чем не сравнимое, еще тысячу лет назад воспетое поэтом Оуян Сю* в благозвучных стихах. В восхищении любовались мы совершенным зодчеством Драконова колодца и Небесного сада. Камни и плиты для них, как нам рассказали,

привезены частью из Древней пещеры в Сучжоу, а частью даже из Индии. Пруд, что в Небесном саду, питается водой из Нефритового источника, отчего она всегда светла и прозрачна, а обитающие здесь разноцветные рыбки резвы и беспечны. Невозможно забыть Малую обитель спокойствия, с изяществом которой могут сравниться разве что самые изысканные цветы. А вот Агатовый храм на Лиановой горе показался мне довольно грубым и простоватым.

Вблизи моста Силянцяо увидели мы восьмигранный купол могилы Су Сяо-сяо, знаменитой ханчжонской певицы древности. Голос «малютки Су», как ее здесь называют, смолк за много веков до нас, при династии Южная Ци, но слава звучит до сих пор, и нет человека, который бы не знал ее имени. Сколько смелых героев и прекрасных женщин сошли с лица земли за это время! Почему, хотел бы я знать, одних боги наделяют бессмертием, а к другим, вполне заслуженным и достойным, они остаются равнодушны? Как выплыть из волн времени, смывающих все живое, и остаться в вечности? Ответ нам подсказывают мудрецы прошлого, да только трудно бывает во всем следовать их наставлениям.

Школа почитания словесности в нескольких шагах от моста Силянцяо, в ней мы с Шэнли на другой день держали экзамен. Наши экзаменационные сочинения получили высшую оценку и были названы образцовыми. Отметить это радостное событие мы с другом пошли в Пещеру розовых облаков, превращенную кем-то в питейное заведение. Там мы впер-

вые попробовали вина, заедая его сушеной олениной, водяными орехами и белыми, совсем как снег, корешками лотоса.

Домой я вернулся с прекрасными впечатлениями, полный сил и желаний и дальше преуспевать на поприще учености, а затем и государственной службы. Увы, моим надеждам не было суждено сбыться. На исходе осени отец подхватил малярию. Он лежал на раскаленном кане* и то просил протопить лежанку еще сильнее, то требовал льда и холодной воды. Болезнь осложнилась тифом, отец слабел и таял на глазах. Я не смыкал глаз ни днем, ни ночью, менял компрессы, подносил целебные отвары – и так весь месяц. Однажды отец позвал меня, чтобы сказать свою последнюю волю:

– Я болен, опасаясь, что уже не встану. Ты же только читаешь книги и не знаешь, как будешь кормить себя, мать и сестру. Потому препоручаю тебя моему побратиму Жэнь Илану в надежде, что он сможет тебе найти место и продолжить мое дело.

На другой день прибыл господин Жэнь. Перед ложем отца я поклонился ему, признав своим наставником и руководителем. А спустя еще несколько дней в нашей хижине пели слезную Песнь о белом коне*, раздавались причитания о росе на стеблях дикого лука. Мимолетность человеческая сравнивается в них с тенью неудержимо бегущего коня, уподобляется высыхающей на солнце утренней росе. Рядом со свежей могилой отца я соорудил хижинку из бамбука и веток*, вроде шалаша, и как почти-тельный сын жил в ней почти неотлучно три месяца,

сжигая каждое утро по горсти погребальных денег*. Все это время я предавался размышлениям. Если души не умирают, думал я, а только перемещаются из одного мира в другой, уместны ли при прощании громкие стенания и мучительные обряды? Зачем мы делаем вид, что расстаемся надолго, если знаем, что увидимся завтра? Уверенные в бессмертии, для чего жалуемся, что случайны и мимолетны?

3

Отец познал волю Неба, а мне пришла пора надеть шапку совершеннолетия*.

По окончании траура я получил от начальника уезда приглашение на службу в управу. Наверное, постарался мой благодетель Жэнь, ведь я не сдавал еще положенных государственных экзаменов. Служба, заключавшаяся в переписыванье и сверке дворов уезда, не была особенно хлопотной, но и жалование было таким, что больше походило на милостыню. Потому нам с матушкой и сестрой приходилось довольствоваться тем, что называют «пищей святых отшельников».

Но это не огорчало нас. Как-то за ужином я рассказал домашним притчу из жизни Конфуция. Некто спросил Учителя, может ли человек совершенный оказаться в униженной бедности и как ему быть в таком случае. Конфуций разъяснил, что оказаться, конечно, может всякий, жизнь не всегда воздает по заслугам, но человек совершенный тем отличается от несовершенного, что не унывает в бедности и не теряет достоинства.

Так-то оно так, но все же я не Чжуан-цзы* и не мог представить себя порхающим мотыльком. Подходила пора возжигать собственный семейный очаг, позаботиться, чтобы не прервались жертвоприношения нашим предкам. Надо сказать, я давно уже переглядывался через улицу с соседской девушкой по имени Сюли. Все мне в ней нравилось – милое личико со смущенной улыбкой, маленький рост, делающий ее похожей на птичку, мелкий, торопливый шаг. Как-то я встретил ее по дороге и успел сказать ей несколько вежливых слов. Конечно, видом я не Пань Ань, да и с девушками у меня не было опыта. Сюли опустила вниз свои длинные ресницы и молвила в ответ обычные приветствия. Слова-то обычные, но голос ее, я это почувствовал, дрогнул от радости. Вернувшись домой, я сказал матушке, что пора начинать откармливать гуся* для подношения родителям невесты. Узнав, что невестой моей предполагается стать Сюли, матушка просияла и тут же поручила сестре кормить выбранную гусыню отборным рисом и земляными орехами.

Но, как говорится, Небо лучше нас знает про наш завтрашний день. Тут-то и появился к нам мой двоюродный братец Дэмин. Он как раз вернулся из провинции Гуандун*, угощал привезенными с юга сладкими ягодами личжи* и хвастался, какой успешной была поездка. Узнав о моих делах, Дэмин стал смеяться:

– Ты нетерпеливо считаешь дни до жалованья, чтоб было чем растопить очаг и хоть что-нибудь

положить в миску. В общем, как курица, не видишь дальше своего двора. Почему бы тебе не поехать со мной в Гуандун? Как говорится, быстрая слава при дворце, быстрая нажива в торговле. Еще не известно, удастся ли тебе дойти до дворца, а в Гуанчжоу сам увидишь, как легко и просто делают состояния на том, что перевозят товары с юга на север. Лучше сейчас, молодым, потрудиться, чтобы потом не вестись забот. А с женитьбой год-другой можно и подождать. Богатых женихов охотнее привечают.

Со свойственной ему склонностью к цветистой болтовне Дэмин рассказал, какой товар привез он из Гуандуна. Походило на нелепую басню:

– Тот, кто попробует это чудесное зелье, способен летать и уходить под землю. Старый становится молодым, нищий богатым, урод красавцем, бездомный бродяга ощущает себя сыном Неба. За такой товар не жалко никаких денег. Изготовлен не где-нибудь, а в самой Индии, его привозят нам рыжие морские разбойники. Поначалу они и в самом деле кажутся страшными, но с ними легко подружиться. Если придешь к ним с серебром, они с тобой весело и честно торгуют. Здесь-то, в нашей глуши, снадобье еще как следует не распробовали, а вот в Гуанчжоу и Шанхае немало любителей. Кое-кто пользуется, говорят, и при дворе императора. Но я нашел и у нас деловых людей, способных наладить сбыт. А наше дело – поставлять товар и считать серебро.

Своим напором и говорливостью Дэмин смог уговорить матушку отпустить меня с ним. На другой

же день я пошел в управу и попросил позволения оставить должность. Для начала торговли требовались средства, и я убедил нескольких своих богатых друзей сложиться, обещая им хороший куш. Дополнительно я взял несколько больших сосудов с шаосинским вином, которое, как сказал Дэмин, высоко ценится на юге. Матушка обеспечила меня рубашками и провизией, и через пару дней мы вышли на лодке из Дунба и поплыли в Уху. Было это в восемнадцатом году правления Даогуан*.

Так я впервые увидел воды Янцзы. Ее простор и быстрое течение изумили и воодушевили меня. Увы, я не мог и вообразить, в каких невероятных обстоятельствах мне придется возвращаться великой рекой назад, видя бедствия и разрушения на ее берегах. И все это сотворили те самые морские разбойники, в чьих руках суждено было мне оказаться.

4

Как раз к полнолуннию, сменив лодку сначала на самсан, а потом и на старую морскую ладью, прибыли мы в Гуанчжоу (его еще называют Уянчэн или Хуачэн, а европейцы Кантоном). Жилье сняли у Цзинхайских ворот, большую комнату на втором этаже окнами на улицу. Свои товары поручили сбывать местным торговцам. Близился Новый год, покупатели слетались, как мухи на съестное, так что за пять дней иссякли все наши припасы. Зато в сумках прибавилось серебра.

В незнакомом месте хорошо зарабатывать деньги, а праздники встречать лучше дома. В новогод-

нюю ночь меня удивило назойливое гудение комаров, у нас их не увидишь в такое время. В здешних местах не только погода иная, но и сами люди. Гуандунцы – народ легкомысленный и веселый. Того же обличья, с теми же пятью органами тела, а по духу и нравам сильно отличаются от наших. На праздник молодежь нарядилась: поверх подбитых ватой халатов надела яркие платья из разноцветного шелка. А уж фонарей, драконов, летучих змей – весь город заблестал разноцветными огнями!

В полнолуние Дэмин потащил меня на реку поглазеть на певичек, «выйти на лов», как здесь говорят. Вообще-то я по своему характеру предпочел бы, подобно поэту Ли Бо*, пить вино наедине с лунной, предаваясь созерцанию и молчаливой радости. Но недаром по всей Поднебесной поется «Молодым не ходи в Гуандун!» – очень уж здесь много соблазнов, из-за которых можно душу потерять и забыть родной дом.

Мы вышли из Цзинхайских ворот, на реке (называемой Чжуцзян, на ней и стоит Гуанчжоу) наняли лодку с навесом и вскоре приплыли к Шамянь – Песчаному острову. Удивительная картина представилась мне: в два ряда стояли «цветочные ладьи» с певичками, в каждом ряду – до двадцати лодок, а в проходе между ними взад-вперед сновали челны с «ловцами».

К одной ладье мы и причалили. Хозяйка заведения, прозываемая Шутоу-по (Матушка, расчесывающая волосы), одета в темную короткую куртку и такие же темные шаровары до пят с красным поло-

тенцем по поясу. На голове – пышный высокий убор с живыми цветами. Ходит она на манер актерок – босые ножки на ходу будто танцуют. Только мы поднялись на лодку, Шутоу-по с улыбкой выплыла к нам навстречу, подняла занавеску и в глубоком поклоне пропустила внутрь. В каюте стояли в ряд табуреты и стулья, посредине – широкий кан. «Гости пришли!» – возгласила хозяйка, тут же послышался топот многих ног и показались девицы. Все напудрены, словно выбеленные стены, наруганы, как гранатовый плод, наряжены в красные куртки и зеленые шаровары или, наоборот, в зеленые куртки и красные шаровары, на ногах у одних короткие носки и туфли с бабочкой, другие босы, зато с серебряными браслетами на щиколотках.

Поклонившись, девицы уселись на кан, не говоря ни слова, только крутили глазами.

– Что теперь делать? – спросил я Дэмина.

– Нравится тебе какая-нибудь? – шепнул он. – Подмигни, позови и проведешь с ней вечер. Только не набрасывайся на всех, на первый раз хватит одной.

Я еще раз осмотрел девушек – ни одна не понравилась.

– Экий ты! – вздохнул братец. – А вот в Чаочжоу, на другом берегу, красотки разряжены, как настоящие дамы, а то и богини. Едем к ним!

Поплыли в Чаочжоу. Там заведение на десяти лодках, а девушки наряжены в широкие рукава и длинные юбки, белила и румяна у них наложены тонко, прически напоминают воздушные облака. Главное,

мне понравились их изящество и скромная манера изъясняться (у южан ведь не всегда и поймешь, что они говорят).

Управительница вдова Шао встретила нас с той же любезностью. Дэмин подозвал лодку, с которой торговали вином, а мне велел выбирать девушку. Приглянулась молоденькая, хрупкая, как журавленок, с крошечными лotosовыми ножками, приглянулась, думаю, тем, что лицом напомнила мне Сюли. Она назвалась Ксиаоли (Утренний Жасмин). Себе Дэмин подозвал девушку с именем Аи (Любовь). Вместе с ними мы уселись на кан, принялись пить вино и шутить.

Пробило третью стражу*. Веселье иссякло, гости принялись обнимать певичек, другие задремали, склонившись на кан. Служка принес подушки, стеганые одеяла и принялся стелить постели. Хотя мне тоже захотелось спать, я не мог укладываться вместе с другими. И спросил Ксиаоли, нельзя ли найти место, где мы могли бы остаться вдвоем.

– У хозяйки есть отдельные каюты, но не знаю, не заняты ли, – ответила девушка.

Я кликнул лодочника и велел переправить нас на джонку вдовы Шао. Хозяйка встретила так, как будто только нас и ждала:

– Знала, знала, что придет дорогой гость, потому и оставила для него лучшую каюту.

Тотчас явился слуга со свечой и повел нас на корму. Каморка оказалась крошечной, но вполне уютной, с кроватью и широким застекленным окном. Одеяло, полог, туалетный столик и зеркало выказы-

вали чистоту и изящество. Ложе было осыпано ароматными лепестками, к стойкам кровати привязаны колокольчики. Против изголовья картина с резвящимися Зеленым Драконом и Белым Тигром.

Ксиаоли предложила вернуться на корму и полюбоваться луной. Мне тоже того хотелось. Чарующий лик луны, бездонные небеса, безбрежные воды... По реке – мириады огней, множество лодок. Поодаль играли свирели и струны, слышалась разудалая песня «Молодым не ходи в Гуандун!» Я оглянулся на Ксиаоли – лунный свет преобразил девушку в прекрасное привидение. Я обнял ее за плечи и увел с палубы.

Хозяйка прислала нам подкрепиться – чайник и миску горячих мантоу*. Мы сели есть, потом стали пить чай и разговорились. Оказалось, что Ксиаоли – это имя для гостей, а по-настоящему ее зовут Минчжу, Чистая Жемчужина – не местная, родом из Цзянсу. Отец ее умер, мать снова вышла замуж, а жестокий дядя, брат отца, продал Минчжу в Кантон. Из-за молодости и некрепкого здоровья ма-тушка-хозяйка жалеет ее и отпускает не со всяким гостем. Но с другими девушками, хотя бы с той же Аи, не церемонятся: одного проводишь – другого встречай; на сердце камень – все равно улыбайся; от вина тошнит, а пей; пой, даже если горло болит; тело просит отдыха – а ложись под гостя, устраивай скачки. Бывают такие кутилы, что и оскорбят, а то и ударят.

Минчжу так рассказывала, что из глаз моих потекли слезы. Хотел поцеловать ее и наткнулся губа-

ми на мокрые щеки. Я привлек девушку к груди, стараясь приласкать и успокоить. Так, не раздеваясь, продремали с ней до утра.

5

А все-таки надо было приниматься за дело. На другой день Дэмин нанял вместительную лодку, погрузил в нее кое-какую поклажу, мне же велел взять ровно половину наличных денег. И тотчас после полудня мы оттолкнулись от речной пристани и поплыли в сторону моря. Попасть нам следовало на остров Лянсин, что у входа в город, где, по словам Дэмина, нас и ждали «бесы» – люди из народа ханг-мау* (рыжеволосые). Я с интересом и волнением разглядывал берега и во множестве снующие по реке джонки под парусами, весельные челны, лодки и лодчонки. Нигде и никогда я не видывал такого движения. Вдруг из тумана на горизонте показались серые призраки, похожие на скалы или на слонов под парусами. Когда мы подплыли ближе, я разглядел два больших корабля. Как матки присосавшись детенышами, они были окружены джонками и ладьями.

Мы причалили к острову и оказались среди низких, выложенных из сырого кирпича строений, не имевших окон, а только двери. У одного из строений вокруг большого стола сидели странного вида люди, они громко переговаривались, смеялись и по очереди со стуком бросали что-то на стол. Увидев нас, они, не вставая, стали поднимать вверх руки и что-то выкрикивать. Я взглянул на Дэмина – он тоже

махнул рукой и крикнул им, не знаю, что именно и на каком языке. Да, кажется, это были просто возгласы без всякого смысла – «ха!», «хо!», «хе!», лишь бы обратить на себя внимание. Так, взлаивая, приветствуют друг друга знакомые собаки. Но Дэмину, видно, такое общение было привычным. Он спокойно уселся на свободную табуретку, на другую указал мне.

Я впервые видел ханг-мау – до этого считал, что все жители Поднебесной и сопредельных стран похожи на нас. Эти же имели невероятные лица – белые, розовые, рыжие, конопатые, с большими носами и круглыми бесцветными, как у рыб, глазами. «Случись матушке увидеть таких, вот бы она напугалась!» – подумал я. Еще больше меня удивило, что странные люди не ведали общего языка. Конечно, я знал, что мань* на южных границах империи, как и племена* и на северных, говорят на своих варварских наречиях и зачастую не понимают ханьцев*. Зато все достойные люди обучены письменности. Эти же тупо смотрели, когда я кистью и тушью, предусмотрительно захваченными с собой, пытался передать им хотя бы простейшие понятия. «Нет, видеть, они совсем из другой породы, возможно, и не люди, а принявшие человекоподобный вид демоны», – подумал я, стараясь припомнить на всякий случай заклинания против демонов. В этой мысли я совсем утвердился, когда услышал от Дэмина, что оборотни приплыли к нам с обратной стороны земли.

Один из них, бородатый, с большой дымящейся трубкой в зубах, подсел к нам и стал короткими

клекочущими звуками, а больше на пальцах, что-то объяснять брату. Дэмин, мне показалось, понимал его и отвечал то жестами, то такими же непонятными звуками. Потом они встали и пошли в помещение. Вскоре Дэмин вынес оттуда аккуратный ящик, за ним еще два. Мы унесли их в лодку и, помахав на прощание демонам, поплыли обратно.

– Неужели эти ящики стоят так дорого? Ведь мы отвезли немало серебра, – спросил я брата.

– Нет, не беспокойся, больше половины денег остались при мне, – пояснил он. – У англичан, к сожалению, кончился товар, кончился здесь, в фактории. Там, на кораблях, сколько хочешь, но на берег доставки нет.

– Почему? Ведь море спокойное, волн нет.

– Э, да тут разыгралась целая буря! – засмеялся Дэмин. – И море взбаламутил государь, дорогой наш Даогуан. Не по душе ему вся эта торговля опиумом, и прислал он сюда мандарина*, уполномоченного навести порядок, а если не получится, вообще выдворить чужеземцев куда подальше. Уполномоченный начал с того, что приказал блокировать факторию иностранных купцов и сдать ему весь опиум. Какую-то часть чужеземцы сдали, а какую-то припрятали. Но теперь все кончилось. Корабли же, видишь, стоят на рейде и не смеют приближаться к Кантону.

– Так значит в этих ящиках опий?! А мы с тобой нарушаем указ императора! – вскричал я.

– Не шуми! – невозмутимо отвечал Дэмин. – Не первый это указ и не последний. Сколько раз вла-

сти начинали бороться с контрабандой – и все безуспешно. Ни одному чужеземцу, как ты знаешь, под страхом смерти не позволено ступить на землю священной нашей империи. И что же? Десятилетие за десятилетием белые почти в открытую поставляют и продают в Кантоне опий. Их корабли становятся на якорь в устье реки, потом лодками перевозят товар на остров, где у них, ты видел, склады и жилье. И все это покрывают наши чиновники, в том числе здешний губернатор. Говорят, чтобы не прикрыли эту лавочку, он постоянно отправляет богатые дары в Пекин. Говорят, у предыдущего губернатора наркотики отняли одного из сыновей, а его жена настолько пристрастилась к ним, что однажды продала себя торговцу хлопком, чтобы только получить ежедневную трубку с опием. Так можно ли с этим справиться? В целое яйцо муха не залетит.

6

На другой день Дэмин предложил мне «открыть дверь сновидений», то есть попробовать самим то волшебное зелье, которым мы собирались ошастливить своих земляков. Искали недолго – в центре Кантона на каждом углу вывески, приглашавшие зайти покурить. Братец толкнул одну из дверей – и мы оказались в помещении, тускло освещенном стоявшей посередине жаровней. На тесно составленных деревянных лежаках виднелись люди, кто-то сидел с трубкой, кто-то, лежа, уставился в потолок. В воздухе стоял сладковатый душистый дым. Мы тоже уселись на свободные лежаки – тут же хо-

зяин принес нам циновки, ватные подушки, сплошь изрисованные черными и красными драконами, и две длинные бамбуковые трубки. Одну из них я взял себе и стал разглядывать. Инкрустированный медью почернелый чубук шелковый на ощупь, мундштук выточен из рога. Посередине трубки – углубление, а в нем – фарфоровая чашечка в форме луковицы. Дно чашечки испещрено крохотными отверстиями.

Дэмин, улыбаясь, кивает на хозяина: смотри, мол. А тот длинной иглой достает из красивой бронзовой вазочки темный шарик и подносит его к жаровне. Над огнем черная смола светлеет, размягчается и начинает пузыриться. Хозяин подбегает к нам и ловко сует кипящий шарик в чашечку протянутой трубки, после чего братец берет ее двумя руками и начинает затягиваться. Я смотрю на Дэмина и удивляюсь его бессмысленной блаженной улыбке. Но смотреть некогда – подходит моя очередь. Шарик положен в чашечку, надо курить. Я сжимаю мундштук губами и начинаю тянуть. Чувствую, как сладкий запах кольцами вьется во рту, проникает в горло. Я начинаю задыхаться, в глазах темнеет. Вынимаю трубку и, как рыба без воды, дышу широко открытым ртом. Дэмин смеется и знаками показывает, что надо повторить. Делаю еще затяжку, вторую, третью... Дышать становится легче, сладкий дым проникает все глубже, голова слегка кружится. После четвертой затяжки драконы на подушке начинают шевелиться, крутить хвостом и разевать пасть. Я смотрю на брата – но вижу почему-то

лицо Сюли. Мне становится весело, и я начинаю смеяться. На кольцах дыма я поднимаюсь все выше и выше, но вдруг кольца теряют упругость и силу, ломаются, и я стремительно, в полном изнеможении, свергаюсь вниз. Трубка выпадает у меня изо рта и словно куда-то улетает. Все начинает кружиться и перемещаться по сторонам. Я падаю головой на подушку...

Не знаю, сколько продолжался мой сон. Очнувшись я оттого, что Дэмин грубо тряс меня за плечи и громко ругался. Он силой заставил меня подняться и потащил на выход.

– Не думал я, что ты такой слабак, от одной дозы свалился, – укорял он меня по пути. – Я-то три шарика выкурил. И так славно полетал по поднебесью, даже дома был, Сюли привет тебе передавала. Что, не веришь? Нет, тебе еще надо втянуться, с первого раза всегда так: удовольствия не получишь. Но как сладко бывает, когда привыкнешь!

Я пообещал назавтра повторить посещение курьильни. Но в ту же ночь при закате луны мне приснился отец. Он был суров и требователен, каким я никогда не видел его при жизни.

– Скажи мне, что такое сыновнее благочестие? – строго обратился он ко мне, будто на государственном экзамене.

Даже матушка возмутилась (она пребывала тут же на территории сна):

– Дожил до седой бороды, а не знаешь таких вещей.

– Я-то знаю, да вот от него хочу услышать, – отрезал отец.

– Батюшка, я, конечно, отвечу на ваш вопрос, – сказал я. – Вот обязанности сына к родителям: заботиться, чтобы они располагали всеми удобствами жизни; каждый вечер опрашивать им постель; утром, при первом крике петуха, справляться почтительно о здоровье; в течение дня многократно спрашивать, не беспокоит ли их жар или холод; поддерживать при ходьбе; уважать то, что они уважают, любить то, что они любят; при жизни родителей не уходить из дома, в котором они живут. Так определяли сыновнее благочестие древние...

Суровые морщины отца стали немного разглаживаться, но он продолжил свой допрос:

– Сын мой, ты перечислил обязанности самые простейшие. На самом же деле проявления уважения и любви бесконечны. В старые времена некто Лао Лайцзы дожил до шестидесяти лет, его родителям было тогда за восемьдесят. Чтобы его возраст не напоминал отцу и матери об их глубокой старости, Лайцзы, несмотря на седину, одевался в детские платки, играл и танцевал, веселя стариков. Или другой пример. Мальчику по имени У Мэн было всего восемь лет, а он летними ночами сторожил родительский сон, при этом раздевался совсем, чтобы комары кусали его, а не стариков. А вот еще. Вань Боу, заслышав гром, бежал на могилу матери, при жизни ужасно боявшейся грозы, и с криком: «Я здесь, матушка, не бойтесь, я с вами!» – укрывал могилу собственным телом. Нынче же сыновней

почтительностью нередко именуют одну лишь способность прокормить родителей. Но ведь кормят и лошадей с собаками. Коли нет благоговения, то в чем же разница? Существует много степеней сыновнего благочестия, и ты не сказал мне о высших. Слушай меня! Первая степень требует почитания родителей, вторая – служения государю, третья – достижения высокого сана. Итак, начало сыновнего благочестия в том, чтобы сохранять тело, полученное от родителей, и заботливо избегать всего, что может ему повредить. Достигнуть высокого сана, действовать согласно требованиям истинной нравственности, оставить навечно по себе добрую память во славу своих родителей – вот верх сыновнего благочестия. Тот, кто, имея родителей бедных и престарелых, не стремится к высокому сану, не проникнут глубоко сыновними чувствами. А потому говорю тебе: прекрати игру с ядовитой змеей, которую ты начал, и тогда вернешься живым в наш дом. Это не только мое повеление, но и моего отца, и отца моего отца, и всех отцов. Надеюсь, ты отнесешься к нему с почетом.

Отец повернулся и стал уходить, провожаемый частыми поклонами матери. Я проснулся в холодном поту, тут же вскочил и стал зажигать поминальные свечки. Мне все казалось, что отец только что побывал тут, в моей комнате. Слова его все еще звучали и отдавались эхом от стен, а шарканье подошв удалялось по коридору.

Надо ли говорить, что назавтра я, к удивлению и огорчению Дэмина, отказался от посещения ку-

рильни и впредь стал обходить подобные места стороной. Самого же Дэмина я не посмел призывать к благоразумию – все же он старший.

7

Меня-то тянуло в другое место – в Янчжоу, к лодкам вдовы Шао, где обитала полюбившаяся подружка. Стал я навещать ее не каждый конечно день, а по настроению и по возможности. За каждое посещение здесь брали четыре заморские серебряные монеты*. Но не жалко было их отдавать за радость видеть милую Минчжу (наедине я не называл ее иначе). Хотя легкомысленный Дэмин всякий раз выбирал новую, как в простолюдье говорится, «прыгал от лохани к лохани», а порой и сразу заказывал двух певичек, я всегда звал Минчжу. Выпивали с ней на верхней палубе чашку-другую вина, потом тихо болтали и развлекались в каюте. Мы оба были юными, притом чужими в большом шумном городе, жили вдали от родных – вино помогало нам забывать невзгоды. Вот и Ли Бо говорит:

*Прекрасен крепкий аромат
Ланьлинского вина.
Им чаша яшмовая вновь,
Как янтарем, полна.
И если гостя напоит
Хозяин допьяна –
Не разберу: своя ли здесь,
Чужая ль сторона.*

Я не заставлял Минчжу петь, много пить или как-то иначе угождать мне, и все девушки заведения завидовали ей. Кричали: «Вон твой любезный братец явился!» Все они весело, с явным одобрением поглядывали на меня, ласково привечали и старались сказать что-нибудь доброе. Взглянешь на одну, кивнешь другой – они и рады, да так, что хоть осыпь их с ног до головы серебряными монетами, а такого расположения не добьешься.

Я видел, как трепетала и таяла Минчжу в моих объятиях. В бумагу огонь не завернешь. Я пообещал накопить денег, выкупить ее и жениться. Конечно, для такого шага требовалось соизволение матушки, и я понимал, что мне нелегко будет ее уговорить. «Невестка из портовых певичек!» Для матушки это будет позор, такого несчастья она может не пережить.

Дня через три мы с Дэмином снова побывали на острове. На этот раз морские пришельцы не показались мне такими уж страшными. Они сидели и пили что-то из больших кружек. Налили и нам. Когда я поднес кружку ко рту, из нее сильно пахло неизвестным мне запахом. С первого же глотка у меня перехватило горло, а из глаз побежали слезы. Чужеземцы засмеялись, а один из них, самый молодой и веселый, потянулся ко мне со своей кружкой и знаками объяснял, что надо отхлебнуть еще и еще. Я отказался, а он единым глотком осушил свою посудину и зачем-то показал мне поднятый кверху большой палец. И снова засмеялся. «Чар-ли!» – тыча

себя в грудь, говорил он. Я понял, что он произносит свое имя, и назвал ему свое. Между тем Дэмин, не церемонясь, выпил из своей кружки, и ему налили еще. «Это у них такое вино, ром, очень крепкое», – пояснил он мне с вдруг заблестевшими глазами.

Потом Дэмин долго, опять же с помощью пальцев, гримас и непонятных слов, изъяснялся с чужеземцами. Я ждал, что нам снова вынесут ящики, однако товара на этот раз у них вовсе не оказалось: императорская пограничная служба перерезала все поставки. Оставалось ждать, когда власти и англичане договорятся. Нам чужеземцы предложили другое занятие – снабжать их продовольствием. Оказывается, они уже несколько дней сидели почти без еды и теперь умоляли доставлять им за серебро рис, мясо, рыбу и овощи. Дэмин дал согласие, хотя понимал, что и такая торговля может быть приравнена к контрабанде, ведь власти Поднебесной хотели всеми способами принудить чужаков к покорности и заставить соблюдать наши законы.

Мы отплывали на своей лодке, а «демоны» стояли и махали руками. Я уже не боялся их – голодные, они нуждались в нас, а значит, не представляли опасности.

8

Есть дорога в рай, да редко кто по ней идет; ворота тюрьмы крепко закрыты, а люди непрерывно стучатся.

Стали мы с братцем переправлять продукты с кантонского рынка на остров, запрашивая за них с

англичан двойную, а то и тройную цену. Конечно, мы рисковали, но зато и запасы серебра у нас хорошо подросли. Дэмин смог купить у местных купцов-дайбаней еще четыре или пять ящичков опия (конечно, платить за них теперь пришлось больше) и решил отправиться с грузом домой. Причем на этот раз сухопутным путем, так как морем провозить зелье стало опасно. Мне он велел оставаться в Кантоне, чтобы не терять налаженные связи и следить за обстановкой. Мне и самому не хотелось уезжать, оставляя в постыдной неволе Минчжу. Я отправил с Дэмином матушке и сестре денег и просил его позаботиться о них.

Дэмин уехал, а я, как заботливая нянька, продолжал навещать иноземцев на острове, подвозя им лодкой заказанные продукты. Плавал поздно вечером, прикрываясь потемками.

Однажды – дело было уже поздней осенью – я приплыл к англичанам на остров, чтобы доставить им с кантонского рынка несколько корзин добротной еды. К тому времени я стал сносно понимать и говорить по-английски, в чем мне много помог Чарли. От нечего делать мы с ним часами сидели на берегу, обмениваясь словами и выражениями. Наш китайский ему плохо давался, почти все, чему я его обучал накануне, он на другой день забывал. Мне же нравилось осваивать странный и непривычный язык, письменность, оказавшуюся такой простой, хотя и удобной. Ни одного урока не прошло бесследно, возможно, сказывалась прежняя моя привычка к усердным занятиям. Меня только беспокоило и

смущало то, что получался я двойным преступником, — ведь подданным императора запрещалось изучать чужеземный язык и еще строже преследовалось обучение иностранцев языку хань. Конечно, эти законы устарели и часто нарушались без всяких последствий для нарушителей. Я как будто знал, что когда-нибудь знание языка англичан может сослужить мне хорошую службу, а то и совершить полезные дела для государства. Так впоследствии и получилось.

В тот раз я сразу заметил, что насельники острова были сильно чем-то встревожены. Они взяли корзины, отсчитали мне серебро, но против обыкновения угрюмо молчали. Только Чарли уделил мне привычное внимание. Отведя меня в сторону, он рассказал, что между англичанами и китайцами в море произошла серьезная драка. Наша береговая охрана на джонках окружила и попыталась захватить два английских военных корабля, те в ответ открыли оружейный огонь и потопили четыре китайских судна.

В воздухе запахло порохом. Неизвестно, что предпримет ваш императорский мандарин, говорил Чарли, но его родина, «старая добрая Англия», конечно, не стерпит вызова и пошлет к берегам Китая десяток-другой военных судов, чтобы наказать вашего императора, потребовать от него возмещения убытков и установления свободной торговли. Мне рассуждения Чарли показались нелепыми: ведь это английский флот незаконно шныряет у берегов нашей страны, занимается контрабандой, а потом топит китайские суда, а отвечать за произошедшее при-

дется китайцам. Все равно, как если бы разбойники напали на чей-нибудь дом, а виноватыми назвали бы не разбойников, а попытавшихся защититься хозяев. Но спорить не имело смысла: не в первый раз я слышал от моих знакомцев-англичан подобные суждения. Послушать их, так морским пиратам принадлежит весь мир и они имеют право всюду вести себя, как дома, и творить все, что заблагорассудится. Люди, которые не согласны с этим, объявляются дикими и подлежащими наказанию.

Мне надоело все это слушать, и я стал прощать-ся. Главное прояснилось: мои знакомцы покидают остров и перебираются отсюда на военный корабль, опиума от них в ближайшее время ждать не стоит, торговля сворачивается. Не скажу, что я очень уж был этим расстроен. В последнее время меня мучила мысль: а не участвую ли я в потакании злу? Сам-то я благодаря отцовскому наказу избежал плохой участи, но своими делами, по сути, способствовал тем, кто ввергает в пучину других, более слабых.

ГЛАВА ВТОРАЯ

1

По вечерам в Гуанчжоу с окончанием работ множество людей разных званий и возрастов спешат в дымные притоны, стремясь насытить алчбу, томившую и съедавшую их в течение дня. Дрожащими руками они отсчитывают деньги, торопясь поскорее заполучить трубку с дымом, после первых затяжек хохочут, толкуют бессмыслицу, потом

валятся на нары, чтобы корчась с искривленной улыбкой на губах, бредить в видениях. Для новичка довольно одной-двух трубок, опытный курильщик может тянуть весь вечер. Завсегдатая видно сразу: ноги его не держат, колеблются подобно стеблям травы, тело сгибается сгоревшей свечой, лицо в морщинах пугает смертельной бледностью, глаза блуждают и плохо видят. Перестают служить память и рассудок.

Правильно говорят: «Дверь, скрывающую что-то доброе, трудно открыть; дверь, за которой дурное, трудно закрыть». За несколько месяцев, а то и неделя, сильный, здоровый человек превращается в тень, умный и грамотный – в идиота, состоятельный становится нищим. Не получившие в свой час трубку слабеют телом, из глаз и из носа у них текут нечистоты, к работе они не способны. Несколько глотков опиумного дыма ненадолго возбуждают силы и ум. Найдет несчастный несколько медных монет, может быть украдет у соседа и влачится к грязной лавчонке, где надеется утолить пожирающую страсть выброшенными из трубок окурками. Последнее его пристанище – задний двор притона, обитель смерти, где лежат рядом курильщики, которым уже не суждено проснуться. Оттуда их, никому не нужную падаль, увозят на кладбище и валят в общую яму.

Ступившим на эту тропу невозможно остановиться. Жизнь им не в радость, их манят смертельные объятия призраков. Когда курильщиков хватают и отводят к начальству, они предпочитают вынести жестокие наказания, чем выдать тех, от кого полу-

чают опиум. Хотя стоит это удовольствие недешево. Говорят, заядлые курильщики тратят на свою страсть не меньше 35-40 лянов серебра* в год. А ведь простой крестьянин зарабатывает в среднем за год 15-20 лянов. Так что среди потребителей опиума больше людей зажиточных. И войско поражено этой язвой, и чиновники. Не курит пока еще только народ, живущий в деревнях и в городских хижинах. Но ведь допусти свободную торговлю – и морские разбойники завалят страну опиумом, будут его продавать на каждом перекрестке, сбавят цены. Кто тогда будет засевать поля, учить в школах, защищать империю от варваров?

В Гуандуне узнали, что государь весьма обеспокоился распространением заразного пристрастия, выкашивающего его подданных подобно чуме. Он созвал на совет высших сановников и губернаторов. На совете одни говорили, что невозможно избавить народ от глубоко укоренившейся привычки и предлагали не бороться с нею, а использовать для своей пользы – то есть разрешить свободную торговлю опиумом и курение, но обложить их высоким налогом. За такой путь высказался в числе других и Дэн Тинчжэнь, наместник «самых обкуренных» провинций Гуандун и Гуанси. Другие советовали оставить все как есть, ничего не меняя. Запрещать опиум бесполезно, говорили они, это делалось много раз и не давало желаемых результатов, а официально разрешать тоже нельзя, так как это сделает нас сообщниками торговцев и может вызвать возмущение в стране. Выслушав тех и других, император в кон-

це концов занял сторону решительных противников опиума – столичного сановника Хуан Цзюэцзы и его друга стихотворца Линь Цзэсюя*, наместника провинций Хунань и Хубэй, советовавших принять самые жесткие и безотлагательные меры по искоренению зла, очищению и воспитанию народа. Государь назначил Линь Цзэсюя своим чрезвычайным уполномоченным посланником, командующим военно-морскими силами в Гуандуне, и повелел раз и навсегда покончить с проникновением отравы в империю. Увидев такой поворот, и губернатор Гуандуна господин Дэн мгновенно перековался из сторонника легализации опиума в его мнимого врага.

В Гуанчжоу комиссар Линь начал с того, что силами береговой охраны задержал два десятка английских судов с опиумом, а от торговавших с иностранцами местных дельцов потребовал прекратить контрабанду и предоставить ему полную опись накопленных складских запасов. Главный поставщик опиума и содержатель факторий – Ост-Индская компания* – не только не изъявила готовности к послушанию и сотрудничеству, но и приказала капитанам угнать из-под стражи арестованные суда в море. Тогда Линь военными силами заблокировал английские фактории, а всем китайцам повелел прекратить любую работу на иностранцев. Чтобы избежать тюрьмы, конфискации и других возможных последствий – а императорским указом торговцам опиумом, в том числе и иностранным, грозили суровые наказания, вплоть до казней, – англичанам все же пришлось сдать властям 20 тысяч ящиков

завезенной гадости. В городе было устроено показательное сожжение конфискованного опиума, как акт очищения и победы над злом.

В журнале «Гуанчжоуские записки» господин Линь обнародовал обращение к английской королеве. Все понимали, что не к далекой чужеземной правительнице, отправившей к нашим берегам военные корабли и заносчивых своих слуг, обращается уполномоченный, а к жителям города и провинции, да и всей Поднебесной, призывая их свидетелями и помощниками в нелегкой борьбе. Сотни людей собирались на перекрестках и оживленно слушали послание Линь Цзэсюя, оглашаемое чтецами. Вот что писал сей достойный муж:

«Наш великий и премудрый властитель целенаправленно и блестяще правит Поднебесной*. При наличии дохода он делится им со всем народом, если случается беда, старается помочь каждому. Ибо он не отделяет жизнь людей от своей собственной, дела Земли от велений Неба.

Правители разных стран уважают великие принципы, на которых стоит наша империя, испытывают искреннюю благодарность за ее милости. Благоклонное отношение государя к иноземцам позволяет им вот уже более двухсот лет получать значительный доход от торговли с нами. Однако не все ваши купцы следуют добрым нравам: некоторые из них стали заниматься злостной контрабандой опиума, распространением сей отравы в нашей земле. Эти люди думают только о собственной прибыли и пренебрегают вредом, который они наносят людям.

Его Величество Император, узнав про такое коварство и беззаконие, испытал неимоверный гнев. Он послал меня в Гуандун для принятия решительных мер.

Довелось слышать, что курение опиума в вашей стране строго преследуется из-за его очевидного вреда. Но если запрещать зло в собственной стране, то не много ли хуже причинять подобное зло другим народам и государствам?

А ведь из Китая в другие страны вывозятся исключительно добротные и полезные товары: чай, барбарис, шелк, без которых не обойтись, а еще сласти, имбирь, корица, сатин, фарфор. С другой стороны, нам из-за границы привозятся одни лишь малозначащие безделушки. Их можно принимать, а можно и без всякого ущерба от них отказаться. Поэтому у Китая нет никакой нужды в торговле с вами. Если мы позволяем беспрепятственно продавать по всему миру чай, шелк и другие наши товары, то потому только, что желаем блага всем людям.

Между тем в находящихся под вашим контролем некоторых областях Индии выращивается и изготавливается опиум. Дурной запах отравы поднимается оттуда, раздражая Небо и возмущая богов. Вам, о правительница, по силам искоренить опиум и засеять освободившиеся поля полезными злаками, что умножило бы общее благо и избавило людей от беды. За такое доброе дело Небеса продлят годы вашей жизни и жизни ваших потомков.

Пока же нашей стране, чтобы противостоять злу, приходится принимать более строгие законы: отны-

не подлежат смертной казни как продающие опиум, так и его потребляющие. В столь суровых мерах не было бы необходимости, если б опиум перестал поступать к нам из-за границы: ведь тогда китайцам нечего было бы ни курить, ни перепродавать. Выходит, это безнравственные и корыстные торговцы заманивают наш народ в опасную ловушку. Отчего же мы должны позволять им творить зло?

Тот, кто убил одного человека, по закону должен заплатить за это своей жизнью. Но опиум убивает людей тысячами. Поэтому суровые наказания – отсечение головы или повешение – ждут теперь в Китае и иноземцев, в том числе ваших подданных, попавшихся на контрабанде опиума. Только так можно избавить народ от смертельной опасности.

Наша божественная династия веками правит Небесной империей, а также множеством других государств и народов, проявляя во всем терпение, мудрость и духовное благородство. Даже преступников государь-император не желает подвергать казни без того, чтобы не попытаться образумить их и предостеречь от незаконных действий. Когда ваш консул господин Эллиот, посчитав закон о запрещении опиума слишком строгим, обратился с просьбой отсрочить его исполнение, последовала невероятная милость его Величества: он повелел, чтобы ваши подданные, виновные в контрабанде опиума, однако добросовестно признавшие и сдавшие запрещенный товар, освобождались от всякого наказания. Вот пример божественной справедливости и совершенного правосудия!

Ваши торговцы, если хотят торговать с нами долго и честно, должны с уважением отнестись к законам Поднебесной и сами уничтожить источник беды. Вас же, Ваше Величество, мы просили бы тщательнее отбирать и испытывать людей, отправляющихся в Китай, чтобы наши страны могли вместе наслаждаться благословенным миром. Какая это была бы благодать!»

2

Послание господина Линя английской властительнице окончательно прочистило мне мозги и, словно фонарь во мраке ночи, высветило путь, по которому следовало идти. Все передуманное, все накопленное за годы учебы и странствий, лежавшее, как закопанное серебро, до сих пор без употребления, заговорило во мне и потребовало выхода и применения. Я почувствовал, что настал мой час, и я понял, что надо делать. Пусть я чужой в этом городе, пусть у меня нет ничего, кроме собственной головы, я смогу многое, если буду смел и настойчив. Экзамены ведь сдают не только в академиях и при дворе, в решительные минуты человека экзаменует само Небо, верности и послушания от него требуют наши предки.

На другое утро я надел новый, небесного цвета, халат, скромную, но достойную «шапочку беззаботного странника» и отправился в центр города, в квартал, где располагалась резиденция императорского посланника. Задача предстояла непростая – дождаться выхода господина Линя или хотя

бы его помощников. Для этого надо было держаться поближе, но и не привлечь преждевременного внимания стоящих у ворот, вооруженных луками и копьями стражников. Поэтому я стал прогуливаться на значительном отдалении от дворца, не показывая никакого интереса к происходящему. Вскоре из ворот выкатилась закрытая коляска, запряженная двумя рыжими лошадьми, выкатилась – и ворота снова закрылись. Кидаться наперерез коляске было бы неподобающей дерзостью, и мне ничего не оставалось, как только проводить ее глазами.

И тут на воротах сменилась стража. Мне это почему-то придало смелости. Я решительно направился к воротам и, поклонившись каменным тиграм, охранявшим вход, сказал стражникам, что у меня есть дело к уполномоченному посланнику господину Линю. Стражники посмотрели на меня из-под низко опущенных на лицо кожаных шлемов и ничего не сказали. Я повторил свою просьбу. Стражники, словно они были неживые, даже не пошевелились. Я отошел от ворот и снова стал прогуливаться. Наконец показался пеший чиновник, судя по одежде, невысокого разряда, и я решил преградить ему путь.

– Мне нужно поговорить с господином уполномоченным, – сказал я как можно почтительнее.

Чиновник остановился.

– А кто ты такой, чтобы господину уполномоченному говорить с тобой? – он недовольно посмотрел на меня.

– Дело касается путей распространения опиума, я кое-что знаю об этом, – нашелся я, что сказать.

Глаза чиновника стали внимательнее.

– Встретиться с самим господином Линем не такое простое дело, как тебе кажется, парень, – сказал он. – Но я берусь помочь. Только ты составь записку со своей просьбой и приходи завтра утром, позовешь советника Чжоу. Писать-то умеешь?

– Чуть-чуть! – воскликнул я весело и откланялся.

Назавтра я стоял у тех же ворот. Советник Чжоу вышел ко мне и, забрав записку, велел ждать его возвращения. Наконец он явился вновь, предъявил начальнику стражи заготовленный пропуск и провел через двор в резиденцию. Я ожидал найти роскошный дворец, а увидел небольшое трехэтажное здание, скромное снаружи и не так уж богато обставленное внутри. Чжоу указал мне на стул и уселся рядом. Мне хотелось спросить его кое о чем, но Чжоу прижал пальцы к губам и покачал головой. После непродолжительного ожидания передо мной отворили дверь, отмеченную серебряным изображением журавля. Чжоу подтолкнул меня, а сам остался в прихожей. Я же переступил порог и по знаку встречавшего чиновника прошел вперед. В кресле под балдахином сидел белобородый старик в шелковом коричневом халате с журавлем-буфаноном на груди и внимательно смотрел на меня. Я замер в поклоне.

– Говори, раз пришел, – раздался негромкий повелительный голос. – Ты ведь, я слышал, что-то собирался мне рассказать?

– Господин мой, я, как подданный и раб государя, хотел бы помочь тому чрезвычайной важности делу,

которое он поручил своему усердному и верному слуге, – отвечал я.

Старик, показалось мне, усмехнулся:

– И чем же ты можешь помочь?

– Я нездешний, но сейчас живу здесь, в Гуанчжоу, занимаюсь торговлей...

– Опиумом торговал? – перебил он меня.

– Да, господин, покупал у иноземцев и отправлял домой. Но по милости Неба понял, какое это зло, и поклялся больше не делать этого...

– Сам-то курил? – снова перебил он.

– Нет, господин, только один раз попробовал.

Старик засмеялся:

– Не понравилось? Что ж, продолжай.

– Я грамотный. А здесь, общаясь с иностранцами, поневоле узнал их язык, могу говорить и читать.

Старик приподнял брови.

– Нет-нет, познания мои невелики и ничтожны и вряд ли могут что-то значить, – поправился я. – Все же надеюсь, мой господин, искупить вину послушностью и прилежанием.

Старик молча смотрел на меня. Кажется, никогда в жизни еще я не встречал столь умных и проницательных глаз. Будучи строгими, они светились внутренней добротой; потонув в морщинах старости, блестели молодым блеском.

– Хорошо, что пришел, – вдруг попросту сказал он и дружелюбно улыбнулся. – Если умеешь изъясняться с чужеземцами, то действительно будешь полезен, без слова ведь и никакое дело не сделаешь. Как звать-то?

Низко склонившись, я поцеловал старику руку. Это и был Линь Цзэсюй, всевластный посланник императора, гроза ханг-мау, рыжих морских пиратов.

3

Линь отнюдь не собирался запрещать торговлю с иностранцами или отгонять их от китайских берегов – он хотел только, чтобы они вели дела открыто и честно, и потому потребовал от иностранных капитанов и негоциантов расписок с обязательством не заниматься контрабандой и никогда больше не привозить в Китай опиум. Но как добиться расписок, если спугнутые обысками англичане попрятались все на своих кораблях? Да и возможно ли договориться о чем-либо с каждым отдельным капитаном или торговцем, когда они все заодно?

Линь решил встретиться с английским «министром китайских дел» (он называл себя суперинтендантом) Чарльзом Эллиотом, чтобы попытаться убедить его в необходимости согласия и сотрудничества. Несколько дней они обменивались письмами, договариваясь об условиях встречи. Приглашение на английский корабль господин Линь отверг с порога – к лицу ли уполномоченному Сына Неба посещать иностранцев? Эллиот же не соглашался приезжать в город под смехотворным предлогом опасения за свою жизнь. Предложил встретиться в беседке на морском берегу: здесь суперинтендант мог чувствовать себя в безопасности под защитой своих корабельных пушек.

Для меня эти переговоры стали трудным экзаменом. Произношение моих учителей с острова Лянсин, простых моряков и торговцев, а значит, и мое, видимо, сильно отличалось от выговора важного английского мандарина Эллиота. Но выбора не было, настоящих переводчиков тогда не находилось. В ходе беседы мне много раз приходилось переспрашивать и уточнять, а переговорщикам терпеливо выслушивать мои сбивчивые пояснения. Все же так объясняться им было много лучше, чем на пальцах.

– Три четверти того, что завозила и сейчас пытаются завезти в Китай ваша Ост-Индская компания, другие английские торговцы, составляет опиум, – после обмена любезностями сказал господин Линь. – Ваш товар стал для китайцев национальным бедствием. Страсть к курению каждый год губит тысячи людей. Неужели у вас нет других товаров, достойных столь просвещенной и передовой нации? И почему вы не отвечаете на законные требования, чтобы построить наши отношения на взаимной заинтересованности и дружелюбии?

Господин Эллиот выслушал перевод без малейшей перемены в лице. В ответ он сказал:

– Англия стоит за свободу торговли, где бы то ни было: в Европе, в Индии или в Китае. Мы считаем, что если возник спрос на какой-либо товар, то его, этот спрос, не могут остановить никакие границы, никакая сила на земле. Есть спрос – будет и предложение, таков всемирный закон. Если бы все правительства усвоили эту истину, жить повсюду стало бы

гораздо легче. Вы же изгоняете наших негодянтов из Кантона, блокируете их в Макао, вынуждая перебираться на корабли. Неужели вы надеетесь тем самым отменить спрос? Если запретите дверь, товар влезет в окно. Наше предложение таково, я говорю в данном случае официально, от имени королевы: легализуйте опиум, обложите его налогом – и все выигрывают, мы будем сотрудничать, а в китайской казне прибавится денег.

– Скажите, разве спрос, о котором вы говорите, заключен в сущности человека? – негромко заговорил господин Линь. – Может быть, он встречается где-либо в природе? Или его благословляет Небо? Нет, любое живое существо, как и всякий неиспорченный человек, испытывает отвращение к ядовитому дыму. Мы не найдем похвалы опиуму ни в одной древней книге, ни у даосов, ни у буддистов. Слышал, что и христианство, религия вашей страны, его не приветствует. Значит, потребность в курении прививается искусственно, обманом и принуждением, вопреки чистой природе. Так следует ли поощрять такую потребность? Не будет предложения – исчезнет и спрос, выветрится как дым.

– Неужели вы полагаете, что способны изменить человеческую природу? – засмеялся суперинтендант. – Боги и те, потеряв надежду что-то исправить, отвернулись от грешной земли.

– Возможно, они сменяют гнев на милость, когда увидят, что мы стараемся очистить землю от лжи и отравы, – улыбнулся господин Линь. – Но сейчас надлежит поговорить о неотложных делах. Как вы

знаете, велением императора в Гуанчжоу разрешено торговать только тем из купцов, кто даст письменное обязательство больше не провозить опиум. Намерена ли английская сторона выполнить это условие?

Эллиот тут же нахмурился.

– Нет, ни в коем случае! – поднял он голос. – Я запретил соотечественникам, как военным, так и штатским, подписывать любые китайские документы, брать какие бы то ни было обязательства перед вами. Не может быть и речи о том, чтобы подданные королевы подлежали местному правосудию. На англичан распространяются только английские законы.

– Что ж, верно говорят: одной чашкой не чокнешься, – вставая, сказал господин Линь.

Скоро нам стало известно, что английские матросы в фактории Хон-Конг, предаваясь пьяным бесчинствам, убили несколько беззащитных работников-китайцев. Господин Линь отправил помощника к Эллиоту с требованием выдачи убийц. Эллиот ответил, что, несмотря на все старания, он не может отыскать виновных. «Возможно, – сказал он, – убийства совершены американскими матросами». Можно ли было терпеть такие издевательства от незваных пришельцев? Уполномоченный дал команду до Нового года выгнать всех английских торговцев, удалить их товары и корабли за пределы Гуанчжоу и установить морскую блокаду факторий в Макао. Эти действия были одобрены и поддержаны дво-

ром. Император объявил закрытой для английских коммерсантов всю Поднебесную.

Увы, это ничему не научило англичан. Весной (в апреле 1840 года) Эллиот сообщил нам, что Англия объявляет нашей стране войну и что к нашим берегам из Индии направляется флотилия из сорока кораблей с многими тысячами солдат на борту.

Помню, когда я передал слова суперинтенданта господину Линю, возможно, в преувеличенных выражениях обрисовав ему размеры и силу увиденных корабельных пушек, господин Линь, прищурив глаза, задумчиво молвил:

– Нет большей беды, чем недооценивать противника. Однако в конце концов побеждает не порох, а тот, кто его выдумал.

Эти слова я хорошенько запомнил.

4

У меня появился хорошее и постоянное жалование – и я решился выкупить Минчжу из неволи, чтобы назвать ее своей. В ответ на мое предложение она покраснела, потупилась, долго мотала головой, пока, наконец, догадалась произнести: «Готова служить вам изголовьем и циновкой»*. А я сказал ей, что мы будем как утка с селезнем, неразлучной парой.

Конечно, ни мне, ни Минчжу не у кого было просить согласия и благословения, я предлагал ей соединиться, что называется, «диким браком», без надлежащих церемоний. Но Гуанчжоу – город вольный, тут такое на каждом шагу, да и другого выхода у нас не было. Ради шутки я купил на рынке корзину с жи-

вым гусем и отправился к вдове Шао. Она изумилась моей просьбе отдать Минчжу в жены, долго охала и причитала, но потом согласилась отпустить ее за сто лянов. Сумма была просто непомерная, у меня тогда и не набралось бы столько. Мы с Минчжу едва не заплакали. И тогда хозяйка сбавила сразу вдвое: «Помните мою доброту!»

Мы сняли помещение из двух комнат и устроили свадебную вечеринку. Посаженым отцом пригласили знакомого мне торговца с рынка, посаженной матерью вдову Шао, а гостями нескольких подружек из ее заведения. Стол украшали четыре смены закусок, к ним – ароматный соус из баклажанов, соя, подливки из душистого перца и сладкого чеснока, большое блюдо солонины, крепкое вино. Потом подали в чашках лапшу. Завершили пир чаем и сладостями. Я поблагодарил вдову Шао за хорошее воспитание приемной дочери. Все засмеялись, а веселее всех смеялась в тот вечер Минчжу.

5

Земля не треснула, а черти появились. Спустя два месяца стая военных английских кораблей, больших и малых, показалась у Гуанчжоу в устье реки Чжунцзян (Жемчужная) и блокировала реку. Командовал флотилией из тридцати кораблей адмирал Джордж Эллиот, как выяснилось, родной брат суперинтенданта. Город стал готовиться к осаде. Однако хангмау не ограничились южным взморьем. Часть их пошла морем вдоль побережья на север и вторглась, как мы потом узнали, в мою родную провинцию

Чжэцзян, захватила архипелаг Чжоушань. Только после этого в Пекине осознали военную опасность и приняли меры по обороне всего побережья.

Мы же готовились к отпору у себя в провинции. В Гуандуне стояли части Лу-ин*, Войск зеленого знамени, те, что собираются вольным наймом из местных жителей. Господин Линь говорил, что дисциплина и боеспособность этих войск никуда не годится. Солдаты ходили в обычных крестьянских штанах и рубашках, отличаясь от местных огородников только синей курткой без рукавов да круглым значком-иероглифом, обозначающим батальон. Голову они покрывали соломенной шляпой. Из оружия у них были длинные пики и копья, топоры и мечи, сабли и бердыши. Самой грозной силой считались лучники и стрелки с фитильными ружьями.

Видя это, господин Линь попросил правительство прислать восьмизнаменные войска*, то есть регулярную армию. Вскоре в Гуандун прибыли кавалерийские и артиллерийские части, и уполномоченный назначил смотр артиллерии. За несколько дней до смотра военные погрузили свои пушки, фальконеты и разного рода пищали на наемные повозки и торжественно повезли за город, к подножью горы Бай-юнь-Шань.

В день смотра мы приехали в лагерь с рассветом. На обширной равнине стоял палаточный город. Народ начинал подниматься. Сквозь полотно палаток мелькали огни, разносился многоголосый крик торговцев пирогами и блинами. На переднем плане виднелись выставленные в ряд орудия разного ка-

либра, медные и чугунные. У каждого орудия развешено шитое шелками знамя. Пушки были увязаны веревками – иные просто к положенным плашмя брускам, иные к одноколкам, колеса которых были врыты до половины в землю. Ни часовых, ни прислуги: солдаты сидели беспечно в палатках, покуривая трубки, как мне показалось, набитые не одним лишь табаком, но у многих и опиумом, другие завтракали или чинили одежду. О предстоящем смотре, кажется, никто и не думал.

Вот на дороге показалась процессия из пеших и конных, посередине на белой лошади ехал военачальник-маньчжур с красным резным шариком на шапке, означавшим высокий воинский чин. Приветственный рев длинных труб и больших раковин встретил его. Вместе с другими командирами маньчжур занял место в палатке за столом с бумагой, кистями и тушью.

Трубы снова вскричали, теперь на самых высоких тонах, возвестив о приезде императорского посланника. Господин Линь со свитой разместились в открытой главной палатке.

Начался смотр. У первого ряда пушек, числом до двадцати, встали солдаты с горящими фитилями. На середину, между судьями и пушками, вышел полковник с красным флагом в руке. Он взмахнул флагом – и пушка изрыгнула огонь. Первый выстрел оказался очень неудачным, ядро почему-то не вылетело, а выпало из ствола, взбугрив землю и обдав пылью судей. Фейерверкер, протирая глаза, отправился к другому орудию. В палатке секретарь

что-то записал на бумаге. Полковник снова взмахнул флагом – на этот раз ядро далеко перенеслось над мишенью. Пушки при выстрелах подскакивали, крутились и рвались, как дикие кони в неловких руках, разметывая по частям самодельные лафеты. Стрельба продолжалась до последней заряженной пушки, после чего солдаты принялись выпутывать орудия из обрывков веревок и снова складывать их на телеги. Только пять или шесть выстрелов из сотни попали в цель.

Уполномоченный пригласил в свою палатку военачальников. Судя по голосу, он был очень недоволен итогами смотра.

– Почти полвека империя, успокоив окраины, почивала в условиях почетного мира и благоденствия, – говорил господин Линь. – Подобного воинства нам хватало для поддержания внутреннего порядка, столкновений с контрабандистами и пиратами. Но вот в наши ворота ударил мечом враг, не известный доселе, не признающий законов Вселенной, не знающий общего языка, а потому беспримерно опасный – так сможем ли мы ему дать отпор и отогнать от могил предков, от домашнего очага? Сегодня я не получил надлежащего ответа на этот вопрос.

Генералы разъезжались в том же порядке, но уже без труб и литавр.

Линь Цзэсюй видел, что серьезное сопротивление чужеземцам невозможно без народной поддержки. «Мы легко сможем справиться с врагом, если призвать всех военнообязанных из народа, – писал он в Пекин. – Я с помощниками выяснил настроение

жителей провинции. Во всех деревнях и поселках по побережью жители с трудом сдерживают свое негодование, ненависть велика. Люди, несомненно, будут защищать себя и свои очаги и готовы объединяться для обороны».

Но Линь понимал и то, чего, как показали события, понимать не хотели в Пекине: без серьезных перемен в государстве и в воинском деле нелегко будет справиться с армией, вооруженной такими средствами истребления, изобретенными пытливыми европейцами, которых империя еще не знает. Он видел, что часть зажиточного населения и нашего войска уже пристрастилась к английской отраве. Потребители опиума, как и некоторые жители южного побережья, привыкшие жить контрабандой, могли принять сторону врага. Главное, и при дворе немало влиятельных людей получали выгоду от торговли опиумом и были заинтересованы в присутствии англичан. Многие из придворных сами покуривали.

Потому-то сэр Эллиот и вел себя столь дерзко, отвергая наши предложения и требуя всяческих уступок. Англичане думали, что мы, китайцы, разобщены, что ханьцы ненавидят правящую династию, захватившую страну два века назад, и готовы восстать, чтобы вернуть прежнее правление Мин. Но тут они ошибались. К нашему времени маньчжуры уже мало чем отличались от китайцев, почитание же императора (богдыхана)* освящено Небом.

— Нам необходимо знать силу и слабости англичан, и не только состояние их флота и вооружения, но и промышленности, финансов, только тогда мож-

но вести с ними дела, – говорил Линь. – Надо научиться искусству врагов, чтобы затем превзойти их.

Для этого господин Линь заставлял своих людей разузнавать, где только возможно, о малоизвестном западном мире, покупать и переводить английские книги и газеты. Не было дня, чтобы он не требовал меня к себе и не поручал перевести тот или иной текст. Надо сказать, со временем в канцелярии уполномоченного появились и другие переводчики из числа местных коммерсантов, прежде крутивших дела с англичанами. Много позже я узнал, что в те самые дни службы в Гуанчжоу Линь Цзэсюй создавал «Сы чжоу чжи» («Сведения о четырех материках», 1840 г.), необычный и очень нужный для нашего времени труд, в котором доступно и толково рассказывается о географии, истории, праве и политике разных стран.

Без боязни прослыть вольнодумцем, господин Линь делился с нами своими мыслями. «Поднебесная тогда будет сильна и сможет противостоять врагам, – считал он, – когда сумеет изгладить или хотя бы уменьшить недоверие и вражду между двором и народом, между живущими в показной роскоши сановниками и простыми людьми». «Чем глубже пропасть между излишеством и бедностью, тем ближе гибель, чем меньше расхождение, тем крепче порядок, – говорил Линь. – В древности отношения между правителями и народом были подобны отношениям между людьми, пьющими вместе вино». И напоминал слова мудреца Куна: «Возвышайте праведных, ставьте их над неправедными – и люди

будут послушны. А если возвысить неправедных и поставить их над праведными – люди слушаться не будут». «Управлять – значит исправлять. Исправьтесь сами – и никто из ваших слуг не посмеет быть кривым».

6

Двор богдыхана не доверял простому народу, а вот господин Линь не побоялся обратиться к нему. Рыбаков, лоцманов, ловцов жемчуга, городских ремесленников и крестьян соединяли в ополчения, вооружали, готовя для боевых действий на суше и на море. И когда враг блокировал Гуанчжоу и высадился на берег, партизаны-пинъинтуань стали нападать на захватчиков и бить их в самых неожиданных местах.

Однако двор, судя по всему, начал опасаться возросшей самостоятельности Линь Цзэсюя, уважения и любви к нему простых людей. Император стал отменять многие его распоряжения. До государя дошли распускаемые врагами слухи, что отряды пинъинтуаней не только обороняются от англичан, но и готовятся свергнуть власть маньчжуров, объявить Гуандун независимым от Пекина. Такие настроения тогда на юге действительно были, но они зрели в «тайных обществах»*, к которым Линь не имел никакого отношения. И все же капитулянты и предатели при дворе нашептывали государю о необходимости договориться с англичанами и уладить дело миром.

Тем временем английская эскадра, оставив большинство судов и гарнизон на архипелаге Чжо-

ушань, отплыла на север – в Желтое море, поочередно блокируя и громя китайские порты. В августе из Бохайского залива корабли англичан вошли в устье реки Байхэ и стали угрожать фортам Дагу, прикрывавшим подступы к Тяньцзиню. А там недалеко и до Пекина. Император Даогуан в связи с постигшим страну вражеским нашествием обратился с мольбой к Небу, в которой были такие слова (обращение зачитали в храмах и разослали по провинциям):

«Грехи мои множатся день от дня, недостает подлинного благочестия, и в этом я вижу причину постигшего страну бедствия – вторжения чужеземцев. Отринув ложь и лукавство, желая одной лишь истины, со слезами вопрошаю себя: не относился ли я небрежно к жертвоприношениям? Не поселились ли в душе, подобно совам в брошенном храме, самолюбие, гордыня и страсть к роскоши? Или недостаточно ревностен я был в служении государству, мало заботился о нуждах народа? Может быть, не вмещаю я в своем сердце сердца всех людей, как учил великий наставник Кун-цзы? Кланяясь до земли, не смея поднять глаз, в надежде искупить свою вину и негодность, молю царственное Небо ниспослать нам победу, помочь спасти жизнь людей!»

Мольба государя об искуплении и прощении тронула души людей, многие, слыша эти кроткие жалобные слова, плакали и тоже молили богов о помощи. Я сам, как и другие, горел желанием встать под маньчжурские знамена и идти сражаться.

Но тут дошли до нас вести, что император и придворные, видимо, не очень-то веря в силу своих покаянных молитв, не придумали ничего лучшего, как, отбросив твердость и принципы, быстрее замирились с врагом. Вести переговоры поручили Ци Шаню, наместнику столичной провинции Чжили, известному вожаку трусов и капитулянтов. Сэр Эллиот, ощутив себя победителем, с порога предъявил требования: возместить стоимость уничтоженного в Гуанчжоу опиума и понесенных англичанами военных расходов, принести официальные извинения, а самое главное – передать Англии два или три острова у южного побережья под стоянки флота и складирование того же опиума. И – о малодушие! о предательство! – Ци Шань принял эти требования, поставив, правда, одно условие: чтобы англичане поскорее увели эскадру из Желтого моря обратно на юг.

Тот, кто обращается в трусливое бегство, уже не может остановиться. Вскоре мы с поникшими головами слушали пришедший из Пекина указ императора об отмене запрета на торговлю и курение опиума и о лишении Линь Цзэсюя всех его должностей. Наместником Лянгуана (провинций Гуандун и Гуанси) становился Ци Шань. «Два тигра в одном лесу не живут», – пошутил тогда Линь. И действительно, через непродолжительное время он был объявлен «виновником всех бед» и отправлен в ссылку в далекую от побережья, пустынную и глухую область Синьцзян.

– И как только вы будете ладить с тамошними дикарями? – сочувственно обратился к нему один из чиновников.

– Если где-либо поселится просвещенный и благо нравный человек, вроде меня, то какая же там будет дикость? – был ответ. – Бывает достаточно одного пламенного человека, чтобы воспламенить весь народ.

Конечно, это тоже было сказано в шутку: господин Линь не любил говорить о себе. Он у нас, своих подчиненных, просил прощения за то, что теперь, с его уходом, и мы попадали в опалу, теряли должности и жалованье. Все служащие с великой печалью расставались с Линем, безупречным руководителем, и желали ему долголетия и возвращения в милость государя.

В ссылке Линь Цзэсюй, как теперь мне известно, пробыл пять лет. Только после его смерти император понял, какого преданного друга и честного сановника он потерял, и воздал ему должное. Линю присвоили звание Князя культуры и верности (Вэньчжун-гун), табличку с именем установили в Храме прославленных чиновников (Мин хуань цы), а в Сиани возвели храм в его честь.

Все, что в трудной борьбе совершил Линь Цзэсюй во имя независимости и достоинства государства, для избавления народа от постыдной болезни, было тут же немилосердно порушено. Новый наместник не только восстановил связи с англичанами, разрешил им неограниченный ввоз опиума, но и в раболепной угодливости стал расправляться с участниками сопротивления. Он даже потребовал казни командира гуандунских морских сил Чэнь Ляньшэ-

на, отдававшего приказ открывать огонь по английским судам. Только громкое возмущение всей провинции спасло жизнь герою, а все же сражавшиеся с захватчиками морские и сухопутные части были расформированы.

Ци Шань быстро договорился с Эллиотом о прекращении боевых действий, приняв все его требования. Однако трусил честно обо всем доложить государю, скрыл от него самое позорное деяние – сдачу острова Хон Конг. С древности говорят: «Землю и жену не уступай никому». Захватчики же не стали скрывать торжества и тут же подняли над островом свой флаг. Когда обман раскрылся, император в гневе приказал арестовать предателя и отдать под суд. Все имущество Ци Шаня было конфисковано, а жены и наложницы проданы с аукциона.

7

Так я остался без службы и жалованья, а ведь теперь приходилось думать не о себе только, но и о названной жене, милой Минчжу. Она, как птичка в гнезде, каждым вечером ждала моего возвращения, восторженно встречала и старалась повкусней накормить и погорячее обнять.

И вот что меня удивляло: пребывание, хоть и непродолжительное, в заведении вдовы Шао не испортило Минчжу, не помешало ей сохранить редкостную стыдливость. В супружеской жизни она предпочитала путь Золотой середины*, давно проторенный, отвергая все новые и тем более неожиданные тропинки, вроде «игры на свирели» или «добы-

вания огня за рекой». Думаю, именно оскорблявшая ее служба певичкой и внушила ей неприязнь к разного рода изыскам и придумкам. Всякие такие действия и желания Минчжу называла непристойными. «Недаром всем этим люди занимаются ночью, как воры, потому что стыдятся самих себя», – говорила она. Я спорил с нею и убеждал, что в страстной любви нет ничего постыдного, а мужу с женой можно ласкаться и днем, потому что они не воры, не «крадут яшму», как говорят о тайных связях, а отдают друг другу положенное. «Плохо же ты знаешь, – говорил я, – мудрое учение об Инь и Ян*, в их соединении гармония и совершенство мира, здоровье и радость супругов».

Впрочем, я и сам в любви был не из тех, кто, как голодный иноходец, рвется к кормушке, ложе называет полем битвы, себя – наездником, и жадно стремится отыскать и присвоить субстанцию Инь. Мы с Минчжу чаще любили в сумерках сидеть вдвоем, играть на лютне, тихо петь в два голоса, мечтать, как у нас родится сын или дочь, а потом мы уедем ко мне домой, упадем перед милостивой матушкой, прося простить и принять нас во имя спокойной ее старости.

«В жаркий день острым ножом разрезать спелую дыню на красном блюде – что может быть лучше этого удовольствия!» – восклицал поэт. «Седая луна над высокой башней, струится прозрачный свет. Дремлешь, положив на колени лютню, нежное дыханье цветов наполняет складки халата...» К таким простым радостям я стремился, о спокойной жизни

в ученых трудах и размышлениях я мечтал. Но, как говорил Учитель Кун, дерево желает покоя, а ветер – вечно в движении.

8

Если ворота осаждают грабители, сможет ли кто предаться сну и покою? Вот и государь наш возмутился вероломным захватом Гонконга и призвал народ к сопротивлению. Средства для ведения войны правительство надеялось найти, как обычно, продажей доходных мест и званий, сбором пожертвований с людей богатых и дополнительными налогами с простого народа. Гуанчжоу укреплялся, на реках возводились заграждения. Способ устройства заграждений был простой и дешевый: толстые бревна скреплялись между собой железными скобами так, что получались ящики, равные высотой глубине реки. Затем ящики нагружались камнями и опускались на дно. Такие наскоро сооруженные дамбы надежно преграждали путь английским кораблям на случай, если бы они попытались войти в город.

Огнестрельное оружие закупалось у португальцев в Макао. Несмотря на все старания англичан перехватывать китайские джонки за пределами португальских владений, в город завезли около пятисот медных и чугунных орудий, сотни ящиков с ружьями и пистолетами. Началось военное обучение добровольцев, их численность достигла почти тридцати тысяч. Командующим в Гуандун император послал своего племянника Ишаня, тот в допол-

нение к местным силам собрал войска из соседних провинций и в мае начал военные действия на суше и на море. Увы, наши суда оказались слишком слабы перед английскими пушками, и многие были потоплены. Противник стал наступать, захватил форты к северу от Гуанчжоу и вынудил войска Ишаня укрыться за крепостными стенами. Началась осада, артиллерийские обстрелы, в городе стало не хватать воды и продуктов.

Я каждое утро спешил на рынок, чтобы раздобыть какой-нибудь еды. Но подвоза не было, крестьяне не могли попасть в город, а на имевшиеся припасы торговцы невероятно подняли цены. Как говорится, акула будет только рада, если весь мир окажется под водой. Повсюду на улицах сидели и лежали голодные и больные люди, и им некому было помочь. Мне становилось страшно за жену – ведь мы ждали ребенка, у Минчжу заметно округлился животик, и потому ей особенно хотелось есть.

В тот день с раннего утра враг как-то особенно яростно обстреливал город. Со стороны моря слышался сливающийся гул пушечной пальбы, вблизи – свист, удары ядер и взрывы падающих гранат. Из домов вылетали стекла, по улицам, как муравьи из разрытой кучи, во все стороны бежали люди. И все же рынок не пустовал, мне удалось купить вяленой рыбы и мешочек проса, и я поспешил домой. Земля на улицах была в ямах, будто изрыта свиньями, небо застлано дымом пожаров.

Канонада вдруг стихла. После оглушающего неистовства орудий страшно было расслышать треск

горевших крыш, стоны раненых, плач детей и крики о помощи.

И тут я увидел наш дом – он был объят пламенем, корчился и извивался, словно живой. Рядом стояли люди. Приняв свою судьбу, они больше не бегали, не крутились и не кричали, а заворуженно смотрели на огонь. Увидев меня, они расступились. В стороне, на траве, я увидел Минчжу. Она, скорчившись, лежала на боку – комок грязной одежды, намоченный кровью. Она была еще жива, но от боли, с прокушенным языком, не могла говорить, только стонала. Она смотрела, но не видела, глаза ее западали под веки, уходили от меня навсегда...

Еще около года скитался я в Гуанчжоу, но плохо, не ясно вижу то время, не люблю и вспоминать, как я тогда жил. Я словно заглянул тогда, со смертью Минчжу, с пожарами и гибелью множества людей в городе, за пределы видимой жизни, в другой мир, где меня обдало тлением и холодом, и я ходил, как тень, мало думая и ничего не желая. Надеюсь на забвение, я даже пробовал курить опиум – но душа вновь не приняла его, и мне стало стыдно за свое малодушие. Я мог есть, а мог и целыми днями обходиться без пищи; мог спать, а мог лежать с открытыми глазами и видеть что-то другое, чего не могло быть на толке и на стенах. Как-то, еще в хорошие времена, в городской харчевне захмелевший старичок делился скопленной за длинную жизнь мудростью: «Если увидишь в винной чашке кого-то, кого на самом деле нет рядом, больше не пей». Я и вина не пил, а

видел то Минчжу, то отца, то матушку, то сестру, подолгу разговаривал с ними. Видно, они приходили поддержать меня и спасти.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

1

Я понял, что мне нельзя, опасно пребывать в одиночестве, и силой заставлял себя выходить из лачуги и брести вдоль улицы.

В один из дней я увидел колонну людей с лопатами и кирками и пошел вслед за ними. Это были ополченцы, горожане, сомкнувшиеся для защиты от англичан. На городской окраине они рыли траншеи, в них солдаты устанавливали орудия и сами прятались с ружьями. Несколько дней я ходил на работы, потом на военные учения, мечтал пойти в бой и погибнуть.

Но тут ополчение распустили, объявив нам, что война закончилась и мы с англичанами стали вновь друзья и партнеры. Оказывается, Ишань запросил мира и согласился «выкупить Гуанчжоу». Хорошенькое дело – выкупать у захватчиков собственные города! Он обязался вывести из города и приморских районов все войска, разблокировать фактории, выплатить англичанам большую контрибуцию, а те снимали осаду и возвращали захваченные форты. Гонконг, разумеется, оставался у англичан. Возобновлялась торговля. Снова между островами и показавшимися на горизонте английскими торговыми судами стали сновать парусные лодки и джонки, а над городом, как прежде, повис опиумный чад.

Однажды я встретил на набережной своих знакомцев-англичан. Подошел Чарли, как ни в чем не бывало протянул руку и завел разговор. Я тоже не чувствовал ненависти к этим простым людям – сами по себе они ведь не сделали мне ничего плохого. Чарли сказал, что они вернулись на остров Лянсин и хотели бы, чтоб я снова привозил и продавал им продукты. Я согласился. Если губернатор и сам государь помирились и подружились с англичанами, то мне ли враждовать с ними? Никакой другой работы не находилось, а я задумал собрать денег, чтобы хватило пробраться домой. Дороги стали чрезвычайно опасными.

Так прошли осень, зима, снова близился Новый год, четвертый для меня Новый год в чужом краю. Никакого праздника я не ждал, радоваться мне было нечему. Почти каждый день я покупал продукты на рынке (несмотря на перемирие, иностранцы показываться в городе побаивались) и отвозил их на лодке своим англичанам. И снова мы часами сидели с Чарли на берегу и говорили о всякой всячине. Он оказался грамотней и начитанней, чем я прежде о нем думал, и много мне рассказал интересного об Англии, о своем городе, о морских путешествиях и даже географических открытиях, в которых ему довелось участвовать. Я же старался ему открыть глаза на Китай.

Однажды Чарли спросил:

– Ну почему вы, китайцы, называете свою страну Поднебесной (Тянься), а государство – Срединным (Чжунго)? Ведь земля, да будет тебе известно, как

шар, и никакой середины на ней нет и быть не может. Плыви из любой точки, хоть, например, из Кантона, все время в одну сторону и опять приплывешь в Кантон, только с другой стороны. Я видел много разных стран и городов – и каждый представляется центром мира, пока живешь там.

– Надо знать географию и историю Китая, чтобы понять, почему мы считаем свою страну срединной, – сказал я. – В какую сторону ни пойдешь, достигнув окраин, увидишь, что за границами Поднебесной лежат дикие края, непригодные для жизни людей пустоши, глухие задворки мира. На севере – плоские и безводные степи, летом они изнывают от зноя, зимой – от невыносимой стужи. На западе – раскаленные пустыни и заоблачные ледяные горы. На юге, чуть дальше Кантона, начинаются смрадные болота и непроходимые леса, полные хищных зверей, ядовитых гадов и смертельных болезней. На востоке – безбрежный океан, с островов которого на наши берега налетают страшные морские пираты. Когда сравнишь все это с плодородной и живописной китайской равниной, с ее женственно-округлыми взгорьями, с обильными реками и мягким климатом, каждый уверится, что попал в лучшее место, в середину мира.

– Понятно! – рассмеялся Чарли. – Понятно, что все же таки ты кроме Китая не видал ничего другого. На свете же множество стран с многоводными реками и прекрасными долинами. Но ты прав в одном: родина все равно всех милее. Ты знаешь, как мы называем свою Англию? – он мечтательно про-

тянул. – Ста-а-рая до-о-бряя... А ведь кто-то может мне возразить: да какая она старая по сравнению с Индией или Китаем? И разве она добрая, если воюет и посылает к нам корабли с пушками? Но для меня она – как матушка, старая, добрая. Самое забавное то, что мы друг друга до сих пор считаем варварами – мы вас, а вы нас. А вот так поговоришь и переменишь мнение, перестанешь обзывать. Мы просто разные и пока не понимаем друг друга. Когда-нибудь пойдем, как ты думаешь?

Тут я задал Чарли вопрос, который давно занимал меня: «Поклоняются ли англичане чему-то высшему, знают ли что-нибудь о божестве?» Чарли сказал, что да, у них есть бог, он один, он добр и милостив, учит любить других людей («ближних», – сказал Чарли) и не обижать их.

Конечно, мне тогда легче было поверить, что тигр не загрызает косуль, а насыщается ароматом лесных фиалок, чем в доброго английского бога. «Почему же англичане считают себя вправе вторгаться в пределы нашей страны, угрожать нашему государю и предъявлять ему наглые требования, а при отказе – начинать войну, разрушать города, убивать стариков и детей? – думал я. – Что позволяет им так поступать? Наверное, не одни огромные корабли и скорострельные пушки, множество снарядов и пороха, и даже не пославшая их королева, а тот самый бог, которому они поклоняются. Только он, видимо, совсем не такой, каким его нарисовал Чарли. Ведь не посмеют же люди так дерзко нарушать повеления своего бога. Возможно, он и добр, но только

к своим слугам, «ближним», как сказал Чарли. Все остальные для него – «дальние». Но какой же это тогда бог? Вот Будда учит любить всех людей, все живое. Потому-то ему сам собой открылся Китай, отворились сердца. Англичане же двери, в которые их не пускают, хотят разбить пушками».

Такие мысли мучили меня тогда. И как тут нам было с Чарли по-настоящему понять друг друга?

2

Однажды, приплыв на остров, я увидел среди англичан человека в форме морского офицера.

– Капитан Грей, – назвал он себя.

Не очень молодой, с неторопливыми внимательными глазами и светлой улыбкой сквозь бороду, он мне почему-то сразу понравился. Стали все вместе пить пиво.

– Слушай, Вэнь, – сказал вдруг Чарли. – Ты не знаешь, как выбраться к себе домой. А они, – он кивнул на капитана, – через несколько дней отправляются в Шанхай. Ведь вы в Шанхай идете?

– В Шанхай, а потом в Нинбо, провинция Чжэцзян, – подтвердил капитан.

– Мой дом, моя родина совсем рядом, – сказал я обрадованно.

– Так возьмете его с собой? – спросил Чарли. – И Вэнь вам может пригодиться, видите, как ловко говорит по-английски.

Капитан Грей пообещал поговорить с командующим:

– Думаю, он не станет возражать.

Спустя восемь дней мы с Греем на нанятой джонке плыли в Гонконг, в расположение английской флотилии. «Сам сэръ Поттинджер* распорядился взять вас на корабль, — сказал капитан. — Переводчик ему очень нужен, ведь мы направляемся в глубь Китая». На вопрос, кто это такой, Грей пояснил, что Генри Поттинджер — очень важная фигура, наделенный всеми полномочиями представитель королевы, министр торговли и всех прочих дел в Китае. В общем, главный здесь человек, которому подчинены и все военные, в том числе командующий эскадрой генерал Хью Гоф*.

Так я попал на фрегат «Куин», отправлявшийся в сопровождении еще нескольких кораблей из Гонконга в Шанхай и в Нинбо.

В «Куин» погрузилось несколько колонн английских моряков и солдат, и это, наполняя сердце тяжелыми предчувствиями, омрачало радость скорой, как мне казалось, встречи с родными. Мне отвели койку на нижней палубе, где никто меня не тревожил, и я все время или дремал, или просто смотрел на море. Удивительно, с какой скоростью разрезал корабль морские волны, какая мощь выгибала его паруса! На четвертый или пятый день явился капитан Грей и сказал, что меня вызывает к себе Поттинджер.

— Не волнуйся, он хочет с тобой познакомиться и кое о чем расспросить, — сказал капитан. — С ним надо держаться почтительно, но без раболепия, просто каждую фразу начинай или оканчивай словом «сэр».

Мы зашли в каюту, по величине и убранству походившую на небольшой дворцовый зал. Развалившись в кресле, посланник королевы читал газету, на столе в фарфоровой пепельнице дымилась трубка. Хорошо откормленный, с пухлыми, гладко бритыми щеками и подбородком, белыми полными руками и круглым, выпирающим из шелкового в цветочек жилета животиком, Поттинджер меньше всего походил на военного человека.

Оторвавшись от газеты, он сунул в рот трубку и долго смотрел на нас, как бы недоумевая, откуда могли появиться в его каюте посторонние люди. Потом кивнул капитану Грею на стул.

Капитан сел, а я остался стоять.

– Ты китаец? – уставился на меня Поттинджер.

– Как видите, сэр, – сказал я.

Мой ответ заставил его усмехнуться.

– Действительно, тут нельзя ошибиться, – проворчал он. И обратился к капитану Грею. – Знаете, о чем я только что читал в этой газете?

– Не могу представить, сэр.

– Тут один умник из Оксфорда рассуждает о наших китайских делах. И вот что он пишет, только послушайте: «Можно сказать без преувеличения, что в настоящее время в мире существуют только две цивилизации – наша, европейская, и китайская. Америка и Австралия с этой точки зрения лишь продолжение Европы. Мусульманская цивилизация, одно время столь блестящая, поражена неизлечимым бесплодием и шаг за шагом отдает европейцам свои владения. Индия спит, оцепенев в тягостной и сла-

дострастной грезе. Япония, ранее близкая по духу Китаю, склоняется в сторону нашей цивилизации. Остается китайская со своими тремя или четырьмястами миллионов жителей, чрезвычайно жизненная, совершенно бодрая и тем способная возбудить наши опасения». Каково?

Глянув на капитана, Поттингджер перевел глаза на меня.

– Все понятно?

– Понятно, сэр.

– Можешь сесть, – вдруг предложил он. – Читаю дальше: «Конечно, наша западно-арийская раса в настоящее время превосходит Китай силой и интенсивностью. Низшие расы, которые она захватывает, должны подчиниться или исчезнуть. Особенно в последние три века ее распространение представляется каким-то чудом. Ее наука, смелость ее гения, ее непреодолимое оружие, по-видимому, обеспечат ей исключительное обладание земным шаром в ближайшее время. Так оно и было бы, если бы не Китай. Китаец чувствует, мыслит, рассуждает иначе, чем мы. Он имеет очень высокое понятие о себе и о своей цивилизации. В этом он похож на нас. Но хотя обыкновенно уступчивый и вежливый, гораздо более нас смиренный пред силой, он в сущности нас глубоко презирает, в его глазах мы не более как грубые варвары. Усвоив со временем все новейшие достижения европейской техники, китайцы могут добиться небывалого роста государственного и военного могущества Срединной Империи. Это усвоение, которое долго удержи-

валось консервативным духом нации, ныне станет обязательным – и мы сами виноваты в этом, развязав с Китаем войну. Ведь никогда не предугадаешь, чем отзовутся те или иные наши дела. Сожгли хижину, снесли деревянное или глиняное поселение – в результате вместо хижины появится каменный дом, вместо груды лачуг современный город. Показали силу наших пушек, меткость ружей, эффективные военные приемы – и потерпевший унижительный разгром противник вскоре вооружится тем же самым, выучится тактике и стратегии. Мы сами готовим свое будущее поражение». Каково, черт подери! А? Что скажете, капитан?

– Дело ученых обдумывать все возможные варианты, – не очень охотно, как мне показалось, отозвался Грей. – А наше дело, сэр, – действовать сегодня таким образом, чтобы об этом не пришлось пожалеть завтра. Тогда плохие варианты станут в принципе невозможны.

– Да-а-а, – лениво протянул Поттинджер. – А по-моему, так все это фантазии, никогда им не стать вровень с нами. Знаешь, почему я считаю вас не способными выйти из варварства? – повернулся он ко мне. – Совсе не потому, что вы другого цвета, все это ерунда, а потому, что не уважаете и не цените свободу. Вас покорили маньчжуры, жалкое племя, и вы уж двести лет подчиняетесь им, носите косицы, кланяетесь, как болванчики. Перед вашим приходом я сочинял как раз обращение к китайской нации. Объясняю, что мы воюем не с народом, а с богдыханом и его кликой. Призываю

восстать, сбросить маньчжуров к чертовой матери и установить свободу торговли и всяких сношений. Нечего отсиживаться в своей Поднебесной! И тогда и у вас, черт подери, начнется движение и развитие. Лет через пятьсот станете в чем-то похожи на нас. Как думаешь?

– Сэр, у нас говорят: «Думай, будет ли что поесть завтра утром, а не о том, чем отапливаться на другом свете», – сказал я. – Будущее от людей скрыто завесой, только Небо знает о нем, сэр.

– Опять эти двусмысленные восточные мудрости, – проворчал Поттинджер. – Впрочем, ты прав, думать надо о сегодняшнем, особенно нам здесь. Я вижу, ты неплохо понимаешь английский, говорят, здесь это большая редкость. Так вот, оставлю тебя переводчиком, будешь получать жалованье и матросский паек. Предстоят большие дела, большие разговоры на берегу...

Я привстал в поклоне:

– Благодарю, сэр, но я плыву до Нинбо, где живет мать и...

– Посмотрим, посмотрим, докуда нам плыть, – пробурчал Поттинджер, берясь за газету.

Аудиенция окончилась на полуслове, пришлось подниматься и уходить.

– Вот видишь, все устроилось лучшим образом, – сказал Грей на палубе, залитой ярким весенним солнцем. – Секрета нет, еще в октябре наши войска без боя, мирно заняли прибрежные города Чжэньхай и Нинбо, где и остались зимовать. Чем они там заняты сейчас, не могу сказать. Думаю, мы идем,

чтобы забрать их и отправить обратно в Гонконг, а потом в Индию. В Китае им делать нечего, войны не будет, готовится мирное соглашение. Вот ты и потребуешься для переговоров...

Мы расстались друзьями. Добрый все-таки человек этот капитан Грей, хоть и англичанин! Я вернулся к своей лежанке и до поздней ночи не мог заснуть, представляя скорое возвращение в родной дом.

3

Как выяснилось позднее, дела обстояли совсем не так благостно и мирно, как думал капитан Грей. Увы, незадолго до появления флотилии Поттинджера пассажиром, а по сути пленником которой я оказался, моя родная провинция, как прежде Гуандун, стала полем битвы. Узнав о вероломном вторжении в Чжэньхай и Нинбо, государь повелел выдворить англичан силой. Зимой в Чжэцзян были стянуты войска под командованием Ицзина, другого императорского племянника. В марте войска атаковали позиции захватчиков, но тем удалось отбить наступление, цинская армия понесла большие потери. И теперь Поттинджер вел свою эскадру с тем, чтобы еще более страшным ударом вынудить императора пойти на капитуляцию. Министр убедил королеву принять его замысел – не ограничиваться пиратством на море и осадой приморских городов, а перенести военные действия в глубь страны, ближе к столице.

Конечно, обо всем этом я узнал много позже. А пока с великим нетерпением готовился сойти с ко-

рабля на любой пристани в родной провинции, дабы на том завершить свое затянувшееся странствие и поскорее увидеть свой дом, живыми матушку и сестру.

Но не обидел ли я чем-нибудь предков? Не родился ли в несчастливый час, «когда небо было охвачено гневом»? Прекрасным майским утром наш корабль остановился в виду пристани города Нинбо. Началось обычное в таких случаях движение: в воду бросали якоря, потом шлюпки, кто-то отправлялся на берег, кто-то с берега на корабль. Я тоже вышел на палубу, ожидая своей очереди. И тут меня разыскал капитан Грей. Он выглядел расстроенным и смущенным.

– Дорогой Вэнь, – с непривычной любезностью заговорил он. – Мне неловко сообщать это, но таков приказ командующего – вас пока не отпускают на берег. Можно было бы и порадоваться, что в вас нуждаются, что вас ценят. Но зная, как вы стремитесь домой... Что делать! Думаю, задержка продлится не больше месяца. Приношу извинения...

Первым моим порывом было сбежать с корабля, броситься в воду и утонуть или доплыть до берега! Я метался по палубе, как пойманный зверь. Нет, уйти незаметно не было никакой возможности. Я был единственным китайцем на корабле и, если такова команда Поттинджера, меня просто не пустят на трап. Чтобы не видеть манящей пристани, я ушел с палубы и забился в свою каморку. Как обычно бывает, на помощь изнывающему сердцу поспешил разум. «В конце концов, месяц не такой

большой срок, чтобы унывать, а здесь в качестве переводчика я еще и смогу послужить государю и своей стране, – думал я. – Кто-то должен же постараться, чтобы увещевания и доводы наших властей стали понятны англичанам, а их замыслы и предложения известны нашим. Глухонемые ведь никогда не договорятся друг с другом. И не выпала ли мне большая удача быть единственным свидетелем происходящего, да еще и, невероятно, на вражеском корабле? Будет о чем рассказать дома. Будущим историкам мои показания станут чем-то вроде Книги песен. Надо только не забывать все как следует записывать».

4

17 мая 1842 года (я стал привыкать к европейскому календарю) флагманский фрегат «Куин», с ним еще шесть боевых кораблей и несколько транспортных, под командой министра Поттинджера, адмирала Паркера и генерала Гофа подошли к крепости Чжапу.

Прикрывающая вход в устье Янцзы крепость стала первой преградой на пути вторжения. Сам город, окруженный стеною, находится на расстоянии полумили от берега, его укрепления были хорошо видны с корабля.

В море встретилась рыбацкая лодка – и адмирал приказал мне спросить, много ли в Чжапу китайских войск. Один из рыбаков сказал, что в городе нет ни одного солдата. Другого за неправду припугнули смертью, и он торопливо объявил, что в городе

много войска. По-моему, и тот, и другой говорили то, что могло, по их мнению, быть угодно англичанам и сохранить им жизнь.

«Куин» повернулся бортом к берегу, моряки сбросили носовые и кормовые якоря и открыли орудийные порты. От кораблей к берегу и обратно забежали четырехвесельные ялики, катера и грузовые лодки – это высаживался десант. Китайские солдаты стояли в отдалении и наблюдали за высадкой, но никак не пытались препятствовать, и англичане уверенно и быстро заняли боевые позиции.

Ночь прошла в ожидании какой-нибудь депутации из крепости, но никто не явился. Утром, едва рассвело, с берега послышался бой барабанов, удары гонгов, стоны цимбал и призывные звуки труб. Я взбежал на палубу и замер от увиденного: все поле предстоящего сражения было покрыто стройными рядами воинов Поднебесной. Судя по виду и торжественной музыке, защитники крепости с пиками и дротиками в руках готовились не к бою, а к представлению, способному то ли запугать врагов, то ли склонить их к миролюбию. Одни в изысканных одеяниях из цветных чжэньцзянских шелков парадно маршировали, поворачивались, выстраивали сложные ритмические фигуры. Другие выплескивали кипучую силу и ярость древним воинственным танцем – размахивали мечами, громко выкрикивали проклятия и угрозы, крутились и подпрыгивали, делали в нашу сторону угрожающие выпады. Щитоносцы, показав сначала искуснейшие приемы фехтовки, затем с выставленными

и поднятыми вверх расписными щитами выстроили парадную композицию «цветы мэй-хуа, усыпающие землю».

Распались и исчезли цветы – и тут, словно павшие с неба яростные драконы, влетели мастера рукопашного боя*, священного шаолиньского ушу. «Жалящий кулак вылетает в повороте, как бьющая змея, с силой, обрушивающей небо на землю, – вспомнил я, глядя на бойцов, наставления шаолиньских монахов, в поэтической форме обучающих сокровенным приемам защиты и нападения. – Тысяча приемов и десять тысяч уловок образуют мастерство, шаг за шагом, незаметно для глаз порождают мощное тело».

Да, это они, бойцы ушу, крутились на берегу, подобные вихри и молнии! Показом своего небесного искусства они думали утратить, остановить задуманные бесчинства на священных берегах Янцзы, понудить врагов отступить, сбежать, провалиться сквозь землю. Только шаолиньские бойцы способны на такое: «Пятки не оторваны, пальцы ног держатся за землю, как когти тигра. Для устойчивости шага опустошай центр стопы, как будто вгоняешь в землю клин, будь быстрым, как ветер. Подошва легкая, энергичная, устойчивая и крепкая. Пинай, толкай, наступай и топай – подобно летающей рисовой саранче. Сердце полыхает, как пламя, печень – комок молний, легкие выдыхают гром. Расхрабрись, руки, как летящие стрелы. Сила неисчерпаема, атакующий бросок тела может свалить гору».

– Что это они вытворяют? – подошел ко мне капитан Грей.

– Это куай бу, – сказал я.

– Коротко и неясно, – засмеялся капитан. – А если попроще, для неграмотных, вроде меня, англичан?

– Куай бу – это бойцы в образах налетающего тигра и скачущей лошади, это прыжки с одновременным отрывом обеих стоп от земли. В искусстве рукопашного боя, сэр, летящей ногой ломают железный столб, сносят горный лес, на куски разбивают облако. Ногу при этом нельзя увидеть, упругое вращение сметает врага, как пыль. Сноровистым кулаком можно смять боевой порядок, раскроить небо.

– Но как можно этому научиться?

– В Шаолине говорят: хочешь летать – научись вначале ходить. Настоящее мастерство достигается при упорных тренировках за тридцать лет.

– Пожалуй, мне начинать уже поздновато, – улыбнулся капитан.

Вдруг с нашего корабля грянули один за другим два выстрела. Один из крылатых бойцов на берегу на мгновение завис в воздухе, а потом пал на землю, будто подстреленная в полете птица. Древний меч отлетел в сторону.

И тут на берегу все смешалось. Воины империи со священными маньчжурскими знаменами «Сян-хуань» (желтые с красной каймой), как тигры, бросились на англичан, завязалась схватка. Бойцы второго ряда выставили щиты с изображениями демонов и диких зверей. Головы некоторых воинов были закрыты шлемами из тигриных голов. Увы, ни одно из

этих магических средств не уберегало от тяжелой английской пули! Английские солдаты знали лишь два-три простейших приема штыкового боя, но они шли плотным строем, механически, как заводные, стреляли и кололи, и поле вскоре покрылось цветастыми нарядами воинов Неба. Те, что уцелели, укрылись за крепостными стенами. Но что они значили, стены из кирпича, местами даже необожженного, перед стальными пушками фрегата «Куин»?

Ветер пытался сорвать корабль с места, но якоря надежно удерживали его.

Адмирал Гоф смотрел на берег и что-то шептал, возможно, молитву. Затем он одернул китель и отдал приказ адъютанту.

– Огонь! – выкрикнул тот.

Гром двадцати шести орудий правого борта встряхнул небеса. Когда пороховой дым развеялся, стало видно, что береговая батарея защитников города и часть крепостной стены превратились в обломки. В образовавшийся пролом ринулись английские солдаты. Пушки смолкли, и только из-за стен крепости слышались частые ружейные выстрелы и звуки рукопашного боя. «Они не сдаются, сражаются за каждый дом, стреляют из всех окон!» – докладывали Гофу возвращавшиеся на корабль офицеры и просили подкрепления. В полдень стало известно о гибели полковника Томминсона. Только к вечеру сражение стало стихать. Англичане выносили убитых и раненых: они потеряли тринадцать человек убитыми (в том числе двух офицеров) и больше пятидесяти ранеными. Пленных, связанных косами

по восемь-десять человек, отправили под конвоем в занятый город. Трофеи составили 10 медных орудий и 82 чугунных.

Англичанам в первый раз пришлось иметь дело с маньчжурскими воинами. И они были поражены как их боевыми качествами, так и готовностью принести себя в жертву, равнодушием к смерти. Будучи не в силах перенести позор поражения, маньчжуры лишали жизни жен и детей, а затем и самих себя, разрезая себе горло. Сыновья убивали престарелых и немощных родителей, чтобы избавить их от участи попасть живыми в руки врага. Разрушенный пушками город был залит кровью.

5

После перестрелки у города Вусун громадный «Корнуэллс», на котором теперь сосредоточилось командование флотилией, с поднятыми парусами вошел в устье Янцзы. За флагманским кораблем кильватерной колонной шли еще одиннадцать боевых парусников – от столь же больших, как «Корнуэллс», с четырьмя мачтами каждый, и до десятипушечных бригов. Вся армада вместе со сторожевыми, транспортными и вспомогательными судами насчитывала семьдесят пять единиц. Капитанам сторожевиков был отдан приказ перехватывать и топить любые китайские суда, идущие вверх или вниз по реке. В этом и заключался замысел Поттинджера – отрезать север, и прежде всего Пекин, от южных плодородных житниц, чтобы вызвать в стране голод и возмущение.

Никогда еще чужеземцы не осмеливались вторгаться военной силой в русло Янцзы, священной реки. Отец рассказывал мне, что первый белый торговец показался на ее берегу в тот день, когда родился мой дед. С тех пор там время от времени бросали якорь торговые корабли португальцев и англичан, но никто из них не посмел нарушить закон, запрещавший чужеземцам ступить на священную землю Небесной империи. С кораблей перевозили товар лодками сами китайцы. От белых торговцев и стал в городах появляться опиум.

От устья до Нанкина двести миль вверх по течению. Величественная река шириной до десяти миль не везде имеет достаточно глубокий судоходный фарватер. Корабли то и дело садились на мель и, чтобы вырваться из плена, были вынуждены ждать прилива. Сама Янцзы упорно сопротивлялась захватчикам. Большие суда пришлось тянуть парходами, в том числе и наш флагманский «Корнуэллс». Армада рассыпалась на части и невольно рассредоточилась. Некоторые корабли отстали от флагмана на шесть-семь дней плавания.

После начальных шестидесяти или семидесяти миль русло Янцзы резко сужается. Плыть кораблям стало еще труднее. Сюда, в среднее течение реки, приливы почти не доходят, и когда тот или иной корабль садился на мель, то, чтобы снять его оттуда, приходилось сгружать на берег все тяжести, даже пушки. А с некоторыми судами это происходило почти ежедневно.

Приближался Чжэньцзян, город у восточного входа в Великий канал. Построенный еще Первым импе-

ратором, канал соединяет пять самых больших рек Поднебесной, ведет из южных провинций в Пекин и более двух тысяч лет служит главной водной дорогой страны. Я с волнением ожидал этой встречи.

Когда показались стены Чжэньцзяна, утреннюю тишину прорезал свистящий полет картечи. Стреляли по нам выстроившиеся на берегу в несколько рядов гингалы*. «Корнуэллс» тут же развернулся по ветру и бросил якорь. Пять других кораблей повторили флагманский маневр.

– Открыть орудийные порты правого борта! –скомандовал Гоф. – Поднять осадные флаги!

Орудийные порты открылись, а на бушприте были подняты флаги, объявляющие о начале осады. Моряки занимали свои места, готовясь к схватке. Сердце мое учащенно забилося.

Рявкнула первая пушка. А затем сотня корабельных орудий обрушили свою ярость на батареи, поставленные для защиты входа в Великий канал. Когда батареи затихли, корабли открыли огонь по стенам Чжэньцзяна.

Наконец стрельба прекратилась. Сначала я даже не заметил этого, поскольку совсем оглох от много-часовой канонады. Хлопок ладонью по плечу заставил меня обернуться.

– Приготовься к высадке на берег в составе группы адмирала Гофа, – прокричал адъютант.

На воду одна за другой падали шлюпки, заполнялись матросами и тут же брали курс к берегу.

Через полчаса отряд из семисот солдат и матросов выстроился в двух милях к востоку от Чжэнь-

цзяна. Многие из англичан впервые ступили на священную землю Поднебесной. Вскоре на берег переправили лошадей.

Солдаты, вооруженные винтовками с привинченными штыками, медленно и осторожно приближались к стенам города. Впереди начинались заросли травы высотой по пояс. С левой стороны – рисовые посевы, справа – пальмовая роща.

Внезапно из рисового поля поднялся знаменосец с маньчжурским флагом и за ним строй вставших во весь рост воинов. Залп маньчжуров был столь густым и дружным, что англичане посыпались, как игрушечные. Последовавший без заминки второй залп скосил еще ряд наступающих. Только тогда англичане пришли в себя и открыли беглый огонь. Но тут на них бросились с пиками и саблями воины из высокой травы. Исход схватки решила подскочившая английская кавалерия. Солдаты империи отступили к городским стенам. На помощь им из главных ворот полыхнула штурмовая атака. Англичане отступили в пальмовую рощу и открыли оттуда столь плотный ружейный огонь, что он косил защитников, как траву. Вскоре под стенами не осталось ни одного уцелевшего китайского солдата. Все они бились насмерть и обрели вечную жизнь.

Но и от отряда англичан осталось меньше половины. Таких потерь они никогда прежде не знали, и адмирал явно был смущен и растерян. Построив и пересчитав свое войско, Гоф скомандовал начинать штурм. Солдаты дали мощный залп по воротам и бросились на приступ. Им никто не ответил

– в городе стояла удивительная, можно сказать, мертвая тишина. Солдаты с осторожностью, с наставленными штыками входили в ворота, втискивались в пробитые пушками проемы. А стрельба все не начиналась. За солдатами стали подвигаться и офицеры. Какое-то время я надеялся, что жители и уцелевшие защитники успели покинуть город через западные ворота. Но чем дальше продвигался по проулкам, тем меньше верил в это. У какого-то дома я толкнул тяжелую калитку и вошел во двор. Страшная картина предстала передо мной: старики, дети, мужчины и женщины, юноши и девушки в беспорядке лежали на залитой кровью земле. Вся жившая в том доме большая семья покончила с жизнью. Те, кто, исполнив волю родителей, последними принимали смерть, с вонзенными в грудь ножами еще корчились в агонии. Но никто не стоял. Ни звука...

Такие сцены можно было видеть повсюду. В городе не осталось ни одной живой души. Ни одного голоса не слышали англичане – ни мольбы, ни проклятья, ни просьбы о помощи. Позорной сдаче, выкупу или плену жители Чжэньцзяна предпочли добровольную смерть.

6

Янчжоу, что на другом берегу реки, напротив, предпочел не сражаться с захватчиками, а откупиться полумиллионом серебряных долларов. Жителям богатого города жалко было терять дома и амбары, возможно, они хотели сберечь от разру-

шения свой знаменитый на весь свет Храм желтой гортензии...*

Так англичане овладели входом в Великий канал в месте его соединения с Янцзы. Они разбили два лагеря на разных берегах реки и пополняли запасы продовольствия грабежом окрестных селений и проплывающих изредка джонок.

На другое утро на воды и землю пал удушливый зной, столь горячий, какой бывает под крышкой в котле с только что сваренным рисом. В лагерях и на судах начались болезни. На кораблях оголодавшие крысы обгрызали больным пальцы и носы. Матросы роптали, замаячил призрак мятежа, недовольство, подобно заразе, передавалось от человека к человеку, с корабля на корабль.

Река и канал были заблокированы, китайские суда не смели больше показываться, англичане закрепились на выигрышных позициях – но результата это не приносило. Пекин никак не шел с повинной, презрительное молчание Китая для вторгшихся завоевателей становилось невыносимым.

Гоф убеждал Поттинджера предпринять новые военные действия, чтобы побудить императора к переговорам, например, осадить и обстрелять Нанкин, древнюю столицу Китая.

– Нанкин – это ключ к Пекину, священный для китайцев город, его падение возмутит всю страну. Богдыхан не сможет больше отмалчиваться и делать вид, что ничего страшного не происходит, – говорил Гоф. – Оставаться же нам здесь без движения хотя бы еще несколько дней – значит потерять все.

И Поттинджер принял решение:

– Двадцать кораблей остаются здесь для блокады канала, остальные следуют за мной – я буду на борту «Корнуэллс» – по реке к Нанкину.

1-го и 2-го августа «Корнуэллс» и еще несколько боевых судов снялись с якоря, к ним присоединились транспорты. Только благодаря обнаруженному на берегах Янцзы каменному углю флотилия смогла быстро двинуться: парусники вряд ли поднялись бы против сильного течения без помощи пароходов.

7

Флотилия не прошла и половину пути к Нанкину, когда меня вызвали и торопливо препроводили в капитанскую каюту. Там, наряду с генералом Гофом и Поттинджером, стояли трое китайских чиновников среднего уровня. Поклонившись положенным образом, я спросил их, что бы они хотели заявить командиру.

– Прежде чем начнутся переговоры, англичане должны прекратить грабить суда, следующие по реке, и свободно пропускать их, – сказал старший чиновник. Я перевел его слова.

– Скажи им, что этого мы не прекратим, – закатал генерал-губернатор. – Мы не снимем блокаду на воде до тех пор, пока не будет подписан устраивающий нас договор.

Китайские чиновники выслушали слова Поттинджера спокойно, без всякого выражения почтительно-отстраненных лиц.

– А еще скажи, – добавил Поттинджер, – чтобы всякие бездельники, подобные этим, больше здесь не показывались. Я не стану ни с кем терять свое время, кроме как с послами, наделенными действительными полномочиями.

Чиновники сошли с борта, а Поттинджер приказал флотилии продолжать движение по реке. 5-го августа пароход «Королева» отбуксировал «Корнуэллс» на позицию к стенам Нанкина.

Население второй столицы империи достигало уже тогда полутора миллиона. Маньчжурский квартал здесь отделен стеной с воротами от китайской части города. Видно, что окружающая город ограда была только что укреплена и вооружена гингальсами. Для осаждающих приготовлены ящики с известью.

Северная часть городской стены и ближайшие ворота почти примыкали к реке. С появлением врага власти подняли на стенах белые флаги, показывая нежелание начинать какие-либо боевые действия, угрожающие безопасности города.

В тот же день на борт флагмана прибыл с белым флагом высокопоставленный мандарин по имени Чан. Меня снова вызвали: Поттинджер согласился встретиться с Чаном.

– Илипу и Киин, личные и полномочные представители императора Поднебесной, пребывающие сейчас в Нанкине, просят вас уважать священный город Нанкин и оставить его неприкосновенным, – внушительно сказал Чан.

Только я перевел, Поттинджер разразился смехом.

– Почему генерал ведет себя столь недостойно?
– растерянно спросил Чан. – Чего не хватает этому варвару – ума, образованности или воспитания?

Я передал каждое слово.

– Скажи этой обезьяне, – заявил после короткого замешательства Поттинджер, – что у нас хватит ума и воспитания не только разрушить Нанкин, но и дойти до Пекина. Тогда и богдыхан услышит залпы наших орудий.

Удостоверившись в правильности перевода, Чан расправил плечи и негромко, но твердо сказал, глядя прямо в лицо Поттинджеру:

– Вы, чужеземцы, до сих пор не получили достойного отпора только из-за небесной доброты императора, которому не хочется большой войны. Чем же вы, англичане, отличаетесь от обычных грабителей? Подобно разбойникам, вы вторгаетесь в нашу страну и осмеливаетесь грозить императорскому двору. Но берегитесь! Если терпение государя иссякнет, весь народ поднимется по его приказу, мужчины, женщины и дети. Каждый куст, каждый камень в Китае превратится в воина, готового сразиться с врагом.

Лицо Поттинджера стало пунцово-красным, рот раскрылся, глаза заметались.

– Скажи этой обезьяне, – заорал он, не владея больше собой, – чтобы она заткнула пасть и убиралась к черту!

Не дожидаясь моего перевода, Чан плюнул Поттинджеру под ноги и повернулся к выходу. Ему бы, наверное, не удалось уйти достойным образом, если

бы Гоф силой не удержал бешеный порыв генерал-губернатора.

– Не будем горячиться, сейчас это не в наших интересах, – говорил Гоф.

Спустя два дня на корабль прибыли представители Илипу, наделенные требуемыми полномочиями. Однако Поттинджер прогнал их, а флотилии приказал быть готовой в любой час обрушить по его команде огонь на стены Нанкина.

Чем больше я присматривался к этому человеку, тем меньше мог понять его. Поттинджер считал себя аристократом (он еще в молодости получил звание рыцаря) и верным сыном английской церкви, молился и божился, но мысль о том, что вторгаться военной силой в пределы чужой страны, убивать из пушек и ружей ее жителей только за то, что они защищают свой дом, нехорошо и противоречит всем законам веры, которую он на словах исповедует, видно, никогда не приходила ему в голову. И потому он очень удивился, когда Чан, которого он, как и всех китайцев, считал безбожным язычником, впервые вслух и столь резко осудил его за это. Приказ, полученный от королевы, по убеждению Поттинджера, освобождал его от всех небесных и человеческих установлений и давал право действовать любым, хотя бы и самым зверским, способом, необходимым для исполнения приказа. Он давно уже не соотносил свои действия и поступки с понятиями о добре и зле, а вполне был уверен, что все его распоряжения и команды, к каким бы ни приводили они убийствам

и разрушениям, как бы ни были несправедливы и бесчеловечны, становились справедливы и законны потому только, что делались по повелению королевы, во славу английского владычества, во имя «цивилизации» и «свободы предпринимательства и торговли».

Когда из Нанкина прибыла вторая делегация и предложила выкуп в три миллиона серебряных долларов и скорое начало переговоров, Поттингер ответил:

– Мы и так без толку потратили массу времени.

И приказал Гофу высадить на берег Мадрасский туземный полк с лошадьми и полевой артиллерией.

На другой день явился новый посланец и передал, что Илипу и Киин ознакомились с верительными грамотами англичан, признали их достаточными и готовы приступить к официальным переговорам. Поспешно, с моим участием, составили план будущего соглашения и условились о времени.

Ровно в десять утра следующего дня Илипу и Киин торжественно прибыли на «Корнуэллс». Императорские посланники вручили англичанам согласованный вариант договора, а те показали гостям корабль, предложили им чай и черри-бренди. У Киина было красивое и вместе с тем мужественно-строгое лицо, большие выразительные глаза. Илипу же выглядел удрученным старцем. Они осмотрели корабль и вооружение с почтительным достоинством, не только без удивления или испуга, но с видом полнейшего равнодушия. В каюте командующего обратили взгляды на портрет королевы Виктории. Когда

я объяснил им, кто это, сановники отвесили портрету низкий поклон.

Состоявшийся в тот день разговор внешне носил с обеих сторон вежливый и даже дружелюбный характер. Поттинджер, надев маску светского человека и утонченного дипломата, сказал о желании королевы видеть Китай открытым и гостеприимным. Илипу и Киин кивали в ответ и клялись, что хотели бы с великой заморской державой только мира и добрых отношений. Но глаза переговорщиков, встретившись, говорили друг другу многое без слов, и совсем не то, что я озвучивал как переводчик. Глаза англичанина говорили, что он не верит ни одному слову из того, что говорят китайские мандарины, что он знает, что они враги англичан и всему английскому, всегда такими останутся и теперь покоряются только потому, что принуждены к этому. Глаза же Илипу и Киина говорили, что они считают собеседника злым и опасным хищником, не имеющим в себе человеческого начала, и надо быть осторожным с ним, как с ядовитым гадом, проникшим в дом под покровом ночи. Все трое прекрасно понимали тайные мысли друг друга, но вслух говорили то, что считали нужным для пользы дела. Китайцы считали главной своей задачей понудить английский флот немедленно удалиться от Нанкина и вообще из русла Янцзы. Поттинджер – получить в руки подписанный договор, обеспечивающий интересы Британии, а ему – награды королевы и славу победителя Поднебесной.

Через два дня Поттинджер и Гоф получили официальное приглашение посетить Нанкин. Естественно, я отправился вместе с ними. При въезде в город китайцы приветствовали гостей салютом двенадцати пушек. В Нанкине прошел самый важный раунд переговоров. Наконец был поднят вопрос об истинной причине войны – торговле опиумом. Китайцы наотрез отказались обсуждать вариант легализации этой торговли. Они спрашивали:

– Почему вы, англичане, разрешаете выращивать опийный мак в Индии, вашей колонии?

Англичане отвечали:

– Если мы запретим выращивание опия в Индии, его просто начнут производить в другом месте.

– Если ваш народ добродетелен и воспитан, – продолжал Поттинджер, – он сам найдет в себе силы отказаться от порока. А если ваши чиновники неподкупны и добросовестны, они не позволят опию проникать сквозь границы вашей страны.

– Наш народ не лучше и не хуже других, – возразил Киин. – А добродетельность и неподкупность, как слышно, являются дефицитом в любой стране.

В ходе препирательств Илипу и Киин старались, как могли, смягчить позицию англичан. Но многого ли добьешься, когда переговоры идут под прицелом корабельной артиллерии, а на кону стоит сохранность священного Нанкина и его жителей? Дальнейшее известно. Подписанный на борту английского военного корабля «Корнуэллс», у стен Нанкина, договор* открывал англичанам пять лучших портов – Гуанчжоу, Нинбо, Шанхай, Сямынь (Амой) и Фучжоу.

Китай отдавал остров Сянган (Гонконг) английской королеве и обязывался выплатить 21 миллион серебряных долларов контрибуции в счет уничтоженного в Гуанчжоу опиума и расходов Англии на войну. На английские товары устанавливались льготные таможенные тарифы. Британские купцы получали право торговать «с всякими лицами, с коими пожелают».

8

Договор был подписан, и Гоф отдал приказ флотилии развернуться и пуститься в обратный путь, к морю. Поттинджер позвал меня в свою каюту и без скупости расплатился за службу, пообещав ссадить у пристани в Нинбо. «Без тебя, парень, трудно было бы объясниться с вашими мандаринами, – сказал он, – хотя, ты уж извини, лучше всего они понимают язык артиллерии».

Флот с теми же трудностями и остановками спустился вниз по течению, а по берегам вблизи городов и сел можно было видеть толпы нарядных и ликующих жителей. Они били в барабаны, играли на всевозможных инструментах, пели и плясали, стреляли из хлопушек, запускали в небо воздушных змеев.

– Что это они празднуют? – спросил меня Поттинджер.

– Сэр, они думают, что англичане под Нанкином наголову разбиты и удирают на кораблях от победных войск императора.

– Идиоты! Боюсь, что именно так им представят, так все и будут считать, – проворчал Поттинджер.

«Но чем же тогда победа отличается от поражения?» – думал я.

Река делалась все шире и неохватней, низкие берега плавно расходились от нас в правую и левую стороны. Корабли с белыми, выгоревшими на солнце флагами (не из-за них ли простые люди возомнили о поражении англичан?) и обвисшими парусами, как призраки опиумного наваждения, уходили из Поднебесной в сторону моря, туда же сносило пену и мусор.

Я почувствовал себя птицей, возвращающейся в родное гнездо, чайкой, скользящей над быстрой водой. Спереди по курсу красноватый туман, подобно пожару, занимался заревом нового дня.

ПРИМЕЧАНИЯ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Стр. 159. Провинция Чжэцзян – провинция в южной части дельты р. Янцзы, вдоль юго-восточного побережья Китая. Столица – г. Ханчжоу, издавна славивший красивейшим городом Поднебесной. В составе провинции – более 3 тысяч островов и семь портовых городов, наиболее крупные из которых Нинбо, Чжоушань и Чжапу.

Стр. 159. ... в звании чиновника седьмого класса. – Чиновники в Китае того времени делились на девять классов. В зависимости от принадлежности к нему на груди и спине их халатов нашивались четырехугольные нашивки, называемые буфанами: гражданские чиновники имели буфаны с изображением птиц, а военные – с изображением диких

животных и птиц. К знакам отличия чиновников относил-ся также шарик на шапочке.

Стр. 159. Ребенком звали меня Мацзы (Жеребенок)... – В старинном Китае детям часто давали «временные» имена, обычно в виде уменьшительных названий животных и птиц. С взрослением ребенок получал новое, «настоящее» имя.

Стр. 160. ...посмертное имя его теперь Вэньчжен. – В старину после смерти человеку присваивали новое имя, которое заменяло прежнее, прижизненное.

Стр. 160. Книга истории «Шуцзин» – древнейший свод легендарных и исторических сведений, составление которого началось еще в XIV веке до н. э. Окончательная редакция сложилась во II веке до н. э.

Стр. 160. ...мыслью и духом Чжу Си. – Чжу Си (1130-1200) – выдающийся философ, ученый-энциклопедист, педагог, литератор, текстолог и комментатор конфуцианских канонических произведений, придавший учению универсальную и систематизированную форму. Именно в текстах Чжу Си конфуцианство обрело статус ортодоксальной идеологии и культурного стандарта в Китае и ряде сопредельных стран, особенно в Японии и Корее.

Стр. 161. ...негасимые светильники Лао-цзы и Конфуция. – Лао-цзы (Лао Дань) – великий мыслитель, легендарный основоположник философского даосизма (VI до н. э.). По преданию, Лао-цзы окончил жизнь в Индии. Конфуций, (латинизированная форма китайского Кун Фуцзы – «Учитель Кун», Кун-цзы – Мудрец Кун, подлинное имя Кун Цю, 551-479 до н. э.) – мыслитель, государственный деятель и педагог эпохи Чуньцю, создатель оригинального философско-этического учения, оказавшего непревзойденное влияние на развитие общественно-политической и философской мысли. Основным источником знаний о Конфуции является книга «Беседы и суждения» («Лунь

юй»), представляющая собой запись изречений и бесед философа со своими ближайшими учениками и последователями.

Стр. 161. ...великого полководца Сунь У. – Сунь У – знаменитый полководец VI века до н. э., автор трактата «Сунь-цзы», почитавшегося в древнем Китае главным военным каноном. Звание «канонической» означало, помимо прочего, что книга предназначена для чтения не легкого и поверхностного, а медленного и углубленного, для заучивания наизусть. Единственная биография Сунь У в древней литературе принадлежит Сыма Цяню, автору «Исторических записок» – основного труда по истории древнего Китая.

Стр. 161. ...«шапочка беззаботного странника» – разновидность головного убора цзинь, который носили студенты и ученые, формой наподобие домика.

Стр. 162. «Записки о случившемся в изголовье» – новелла эпохи династии Тан (VII-IX века н. э.)

Стр. 163. Чжэн Хэ (1371-1435) – путешественник, флотоводец и дипломат, возглавлявший семь грандиозных морских военно-торговых экспедиций, посланных императорами Минской династии в страны Индокитая, Индостана, Аравийского полуострова и Восточной Африки. В результате этих походов многочисленные царства Малайского полуострова, Индонезии, Шри-Ланки и Южной Индии стали, хотя и на короткий срок, вассалами Минской империи, а Китай получил достоверные сведения о народах, населяющих берега Индийского океана.

Стр. 163. «Шань хай цзин», «Книга гор и морей» – анонимный памятник предположительно конца 3 – начала 2 в. до н. э., объединяющий как разновременные пласты знаний по географии, минералогии, этнографии, космологии, медицине, так и собрание мифологических верований. Состоит из 18 цзюаней («свитков»).

Стр. 163. Поэт Оуян Сю – государственный деятель, историограф, эссеист и поэт эпохи династии Сун (1007-1072). Также известен под вторым именем Юншу, в конце жизни – под придуманными им самим прозвищами «Старый пьяница» и «Отшельник Лю-и». Многосторонние дарования ставят Оуян Сю вровень с деятелями европейского Возрождения. В крупнейшем палеографическом труде эпохи «Собрание древних надписей с пояснениями» привел и прокомментировал сотни древних надписей на металле и камне. Под его руководством были составлены «Исторические записки о пяти династиях» и хроника «Новая история династии Тан». Оуян Сю знаменит и как поэт и прозаик, создатель жанра шихуа (рассуждения о стихах). Известные прозаические работы – автобиографические «Записки хмельного старца» и «Биография Отшельника Лю-и».

Стр. 165. ...лежал на раскаленном кане... – Кан – лежанка, обогреваемая проходящим внутри дымоходом.

Стр. 165. Песнь о белом коне, причитания о росе на стеблях дикого лука, – погребальные песнопения, входящие в свод древнейшей китайской поэзии «Шицзин».

Стр. 1656. ...соорудил хижинку из бамбука и веток... – Высшая форма траура по родителям требовала от сына, чтобы он какое-то время жил возле их могил во временной хижине.

Стр. 166. ...сжигая по горсти погребальных денег. – Для жертвенно-ритуальных целей (в храме, на кладбище, в домашней кумирне) применялись особые бумажные деньги, имевшие символическое значение, но не использовавшиеся при реальных расчетах.

Стр. 166. ...надел шапку совершеннолетия. – Совершеннолетним юноша признавался с двадцати лет, что отмечалось, в частности, ношением особого головного убора.

Стр. 167. ...я не Чжуан-цзы и не мог представить себя порхающим мотыльком – даосский философ Чжуан-цзы (IV век до н. э.) в книге бесед и поучений рассказал о том, что во сне он видел себя порхающим мотыльком. Проснувшись, философ не мог понять, кто же он на самом деле: Чжуан-цзы, которому приснился мотылек, или мотылек, видевший во сне Чжуан-цзы.

Стр. 167. ...пора начинать откармливать гуся – Обряд сватания состоял из шести обязательных церемоний, одна из которых – подношение родителям невесты откормленного гуся.

Стр. 167. ...угощал ягодами личжи – Личжи – фрукты южного Китая, внешне похожие на орехи, но с нежной, напоминающей клубнику мякотью под скорлупой.

Стр. 167. ...вернулся из провинции Гуандун... – Провинция Гуандун расположена на юге Китая, берега (протяженность береговой линии 3368 км) омывает Южно-Китайское море. Административный центр – г. Гуанчжоу. История, культура и язык (диалект) провинции сильно отличаются от других районов страны. Начиная с XVI века, у Гуандуна установились обширные торговые связи с остальным миром. Европейские, в особенности, британские купцы торговали через Гуанчжоу, приходя к нему с юга через Малаккский пролив и Южно-Китайское море. Макао стало первым (1557 г.) европейским поселением в Китае. Торговля опиумом через Гуанчжоу, навязанная Китаю англичанами, привела к опиумным войнам, превратившим страну в полуколонию. Китай был вынужден передать Макао и Гонконг Великобритании, а Гуанчжоуский залив – Франции.

Стр. 169. ...в восемнадцатом году правления Даогуан. – Даогуан (1782-1850) – восьмой император династии Цин. Счет лет в китайском календаре (до падения маньчжурской династии в 1911 г.) велся от года восшествия импе-

ратора на престол до конца его правления. Годы правления императора Даогуан 1821-1850, т.е. по европейскому летоисчислению дело было в 1839 году.

Стр. 170. ...подобно поэту Ли Бо. – Ли Бо (современное произношение Ли Бай, 701-762/763 гг.) – поэт времен династии Тан. Называемый «поэт-святой», «гений поэзии», Ли Бо принадлежит к пантеону самых почитаемых авторов китайской литературы, крупнейших мировых поэтов. Его наследство включает 1100 произведений (в том числе около 900 стихотворений).

Стр. 172. Пробило третью стражу. – т.е. наступил час ночи. На городских башнях отбивали начало каждой из пяти двухчасовых ночных страж (с семи часов вечера до пяти утра).

Стр. 173. ...миску горячих мантоу. – Мантоу – приготавливаемые на пару большие пельмени, вроде пирожков.

Стр. 174. ...люди из народа ханг-мау – Ханг-мау (рыжеволосые) – принятое в быту название всех европейцев.

Стр. 175. ...мань – племена, обитавшие на южных окраинах Китая.

Стр. 175. ...племена и – собирательное название народов, живших на северных границах империи.

Стр. 175. ...ханьцы – Хань или ханьцы – крупнейший по численности народ на Земле, основная этническая группа Китая (около 92 процентов населения). Слово Хань берет начало от династии Хань, сменившей династию Цинь, которой удалось объединить всю страну. В «Ши-цзи» (Исторических записках) китайского историографа Сыма Цянь даты царствования Желтого императора, легендарного предка ханьцев, определены между 2698 и 2599 годами до нашей эры. Во времена правления династии Хань населявшие Китай племена стали ощущать себя частью единого народа. Время правления династии Хань считается высшей точкой расцвета древнекитайской цивилизации.

Исторически в русском языке хань именуются как китайцы (под ними могут подразумеваться все народности страны).

Стр. 176. ...прислал он сюда мандарина. – Мандарины – данное португальцами название чиновников в имперском Китае, позднее также в Корее и Вьетнаме (порт. mandarim – министр, чиновник), соответствует собственно китайскому слову гуань. В отношении чиновников в Китае действовал строжайший образовательный ценз. Для назначения мандарином требовалось пройти сложную процедуру экзаменов.

Стр. 182. ...четыре заморские серебряные монеты. – В приморских городах Китая в то время привычным было хождение английских серебряных талеров.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Стр. 189. ...не меньше 35-40 лянов серебра. – Лян – мера веса, в разные эпохи разная, в 19 веке – около 40 г. Лян серебра являлся основной денежной единицей.

Стр. 190. Линь Цзэсюй – государственный деятель, мыслитель, ученый, литератор и каллиграф. В 1838 г., будучи наместником южных провинций Хунань и Хубэй, начал активную борьбу с практикой курения опиума и опиумной торговлей, основанной на английском импорте. После его докладов двору указом 31 декабря 1838 Линь Цзэсюй был назначен императорским уполномоченным и командующим военно-морскими силами в приморскую провинцию Гуандун, где развернул успешную деятельность. Обращался с посланиями к английской королеве Виктории, предлагая запретить наркотик на землях Британской империи. С началом Первой опиумной войны (1840–1842 гг.) он, как сторонник самых решительных мер и наиболее раздражавший соглаша-

телей при дворе, был смещен со всех занимаемых им постов и отправлен в далекую область Синьцзян. После свержения монархии в 1929 г. в Китае был установлен в честь Линь Цзэсюя памятный мемориал. 3 июня, когда он приступил к уничтожению опиума, был объявлен общенациональным Днем запрета на опиум.

Стр. 190. Ост-Индская компания – Британская Ост-Индская компания, основанная в 1600 году по указу королевы Елизаветы I, не только являлась торговым монополистом в Индии, но и имела военные и правительственные функции. Впоследствии ее интересы распространились далеко за пределы Индии. Фактически компания являлась монополистом мировой торговли. С самого начала торговли между Великобританией и Китаем торговый баланс благодаря редкости и привлекательности китайских товаров имел заметный перевес в пользу китайского экспорта. Британский рынок в то время не мог предложить Китаю ничего привлекательного в обмен на чай, шелк и фарфор, пользовавшиеся в Англии большим спросом. Это вынуждало компанию оплачивать свои закупки китайских товаров драгоценными металлами. Из непростой ситуации английские торговцы нашли выход в контрабандных поставках опиума. Однако с 1729 года в Китае был введен полный запрет на торговлю и употребление опиума, а императорский декрет 1799 года ужесточил это требование. Между тем Британская Ост-Индская компания, являвшаяся монополистом по сбыту бенгальского опиума, начинает нелегальную торговлю им. От года к году объемы продаж растут: если в 1775 году было продано не более 1,4 тонны опиума, то в 1830 – уже 1500 тонн. Таким путем достигается положительный торговый баланс с Китаем. К 1838 году объем продаж опиума уже составлял около 2 тыс. тонн, а постоянными потребителями наркотика являлись более трех миллионов китайцев.

Стр. 191. ...целенаправленно и блестяще правит Поднебесной. – «Целенаправленное и блестящее» (Даогуан) – династическое имя (девиз правления) восьмого императора династии Цин (1821–1850 гг.). Его личное имя было Айсиньгеро Мянньнин.

Стр. 202. Готова служить вам изголовьем и циновкой – традиционная формула, означающая согласие девушки принять предложение жениха.

Стр. 204. Лу-ин, Войска зеленого знамени – наиболее массовая часть армии империи Цин. Подразделения Лу-ин, главным образом пехотные части, несшие охранную и гарнизонную службу, набирались среди китайцев и некоторых национальных меньшинств и находились под непосредственным руководством губернаторов провинций. Общий списочный их состав превышал 400 тысяч человек, однако, по некоторым свидетельствам, на самом деле солдат было значительно меньше. Многие губернаторы и офицеры вносили в списки «мертвые души», чтобы класть причитающееся жалованье и довольствие себе в карман.

Стр. 204. ...попросил прислать восьмизнаменные войска – «Войска восьми знамен» – элита, костяк сухопутной армии империи Цин, сформированный еще во времена завоевания Китая маньчжурами. Цветами знамен являлись желтый, белый, красный и голубой, а также желтый, белый и голубой с красной каймой и красный с голубой. В знаменных войсках, рассредоточенных по важнейшим городам страны, служили исключительно потомки маньчжурских завоевателей. Из них составлялась императорская гвардия, они служили также общим стратегическим резервом полевых войск. С маньчжурскими частями англичанам впервые пришлось столкнуться при рейде на Нанкин.

Из донесений русских офицеров, побывавших в Китае в XIX столетии (уже после «опиумных войн»), можно узнать,

что и в те времена в Китае встречались войска, вооруженные луками со стрелами и проводившие учения, похожие на цирковые представления или на ритуальные пляски. Много времени уходило на фехтование на саблях, пиках и алебардах, стрельбой из луков занимались больше, чем стрельбой из ружей. «В конце смотра можно подумать, что побывал в театре», – писал один из путешественников. Знаменитые китайские боевые искусства в 19 веке не имели уже никакого практического военного значения.

Офицерский корпус китайской армии формировался на основе двух противоположных принципов. В маньчжурских войсках низшие офицерские должности были наследственными. В китайских частях существовала система экзаменов, сдав которые можно было получить офицерский чин и должность. Продвижение по службе было связано с последовательным обучением и участием в конкурсах. Основными требованиями при этом являлись владение традиционными видами воинского искусства, то есть демонстрация упражнений из разного рода единоборств, стрельба из лука и т.п. Поэтому офицеры оказались столь же не готовы к встрече с европейской армией, как и рядовые солдаты.

Стр. 207. ...почитание императора (богдыхана) – Верховных правителей Китая именовали в официальных документах Тянь-цзы (Сын неба), Дан-цзинь фо-е (Будда наших дней), Ху-анди (Великий император), Тянь-ван (Небесный император), Шэн-хуан (Святой император), Шэн-чжу (Святой владыка), Ваньсуй-е (Десятитысячелетий властелин), Хуан-ди (Августейший повелитель), Чжэн (Настоящий, Святой), Юань Хоу (Повелитель обширного пространства), Чжицзюнь (Великий, Почитаемый), Богдохан (по-монгольски – Премудрый правитель). В личных беседах к императору обращались Хуаншан (Ваше величество) или Чжуцзы (государь).

Царствовавшие династии имели символические названия. Китайская династия, правившая в 1368-1644 гг., именовалась Мин. Иероглиф «мин» означает «ясный», «блестящий», «разумный». Маньчжурская династия (1644-1911) именовалась Цин («цин» — «чистый», «светлый», «безупречный») или Да-цин (великая Цин).

Стр. 209. ...они зрели в «тайных обществах». – Во время Первой опиумной войны и после нее среди населения, особенно в районах южнее реки Янцзы, стали возникать различные тайные общества, известные под общим названием Саньхэхой (Триады) или Тяньдихой (Общества земли и неба). Наряду с деревенской беднотой, составлявшей основную массу членов этих организаций, в них входили представители городских низов, торговцы и даже отдельные мелкие помещики, недовольные господством маньчжуров в стране. Основным политическим лозунгом тайных обществ было «Свергнем династию Цин, восстановим династию Мин». Выдвигались и лозунги социального характера: «Чиновники угнетают, народ восстает», «Бей чиновников, не трогай народ», «Лишить богатых имущества, помочь бедным». Тайные общества подготавливали и возглавляли большинство народных восстаний, вспыхнувших после поражения Китая в Опиумной войне, в том числе и самого мощного из них – восстания тайпинов.

Стр. 213. ...предпочитала путь Золотой середины – «Золотая середина» (Ужун юн) – одно из главных положений конфуцианской морали, означающее отказ от всяких крайностей и нетрадиционных поступков.

Стр. 214. ... учение об Инь и Ян – Учение о двух противоположных началах Инь и Ян – центральная концепция древнекитайской натурфилософии. Согласно ей, энергии Инь и Ян присутствуют везде, во всем и являются бесконечными, как Вселенная, они способны плавно пере-

текать в свою противоположность, как утро переходит в день, день переходит в вечер, а зиму сменяет весна и т.д. То же самое происходит и в нашем организме: мы бываем активны и пассивны, работаем и отдыхаем, спим и бодрствуем. Ян – активное начало. Инь – пассивное. К Ян относится все быстрое, светлое, горячее, короткое, высокое, сильное, быстро протекающее, мужское начало, все нематериальное, левая сторона. Символы Ян – небо, солнце, дерево и огонь. К Инь относится предсказуемое, низкое, холодное, мягкое, медленное, длинное, скрытое, слабое, медленно протекающие процессы, все материальное, женское начало, правая сторона. Символы Инь – земля, металл и вода.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Стр. 223. Сам сэръ Поттинджер распорядился... – Генри Поттинджер (1789-1856) – первый британский генерал-губернатор Гонконга. С пятнадцати лет на службе в колониальной армии в Индии. Предпринял полную опасностей экспедицию из Белуджистана в Персию. В 25 лет получил чин полковника. В 1841 г. назначен главой британской торговой миссии в Китае, полномочным посланником королевы. В этом качестве в 1842 году руководил карательной экспедицией английского флота по реке Янцзы в центральную часть Китая, добившись заключения грабительского и унижительного для Поднебесной Нанкинского договора. Награжден орденом Бани, высшим орденом Британской империи. При Поттинджере завоеванный Гонконг превратился в опорную английскую крепость и в главного поставщика наркотиков в Китай.

Стр. 223. Командующий эскадрой генерал Хью Гоф – Хью Гоф (1779-1869) – участник войн Британии с наполеоновской Францией. С 1837 г. в чине генерал-майора

командующий дивизией колониальной армии в Индии. В 1842 г., на заключительном этапе Первой опиумной войны, – командующий британских сухопутных войск в Китае. В дальнейшем отличился в жестоком подавлении восстания сикхов в Индии. В 1856 г. побывал в Крыму с миссией награждения британскими орденами высших офицеров англо-французской экспедиции. Незадолго до смерти был произведен в фельдмаршалы.

Стр. 232. ...мастера рукопашного боя, священного шаолиньского ушу. – Боевые искусства Китая – социально-культурный феномен, созданный китайской цивилизацией и не имеющий аналогов ни в какой другой культуре. Они являются одновременно духовной дисциплиной и искусством самозащиты, способом социально-культурного воспитания и ритуальным видом спорта, системой психофизического тренинга и мистико-окультурной самореализацией человека в пространстве священных сил космоса. Китайская традиция относит появление ушу за два тысячелетия до нашей эры. Шаолиньское ушу – это традиционное название комплекса искусств рукопашного боя и способов владения оружием, зародившихся либо развивавшихся в монастыре Суншань Шаолинь, расположенном в провинции Хэнань, в уезде Дэнфэн.

Стр. 237. Стреляли ... гингалы. – Гингалы – старинные ружья с фитилем.

Стр. 240. Храм желтой гортензии – Даосский храм в городе Янчжоу. Название объясняется тем, что храм утопал в растущих изысканных и диковинных растениях и цветах.

Стр. 247. Подписанный ... у стен Нанкина договор – Нанкинский договор, подписанный Англией и Китаем в августе 1842 года в результате Первой опиумной войны, считается образцом нового для той эпохи типа соглашений между колониальными державами и государствами Востока. Если в Индии имел место простой захват тер-

ритории без какого-либо договорного оформления, то Китаю был навязан юридический документ, лишавший его значительной доли суверенитета. Согласно договору, целый ряд китайских портов открывался для свободной торговли и предпринимательства, туда посылались обладавшие большими полномочиями английские консулы. На территории факторий и колоний (сеттльментов) фактически не действовало китайское законодательство, а подданные Британии были неподсудны китайским законам. Хотя британцам не удалось добиться разрешения на официальный ввоз опиума, он продолжал ввозиться во все увеличивавшемся количестве контрабандой.



РАССКАЗЫ



НОЧНОЙ ПОСЕТИТЕЛЬ

Вадим Яковлевич Вериков, проживающий в трехкомнатной квартире на шестом этаже кирпичного дома в центре, проснулся от невнятного звука. На часах было около двенадцати. В такое же время, ни раньше, ни позже, сон прерывался и вчера, и позавчера, и третьего дня, и все по причине гудения. Из-за того, что гудение это было не особенно громким, а каким-то тусклым, размытым, не удавалось установить его источник и даже месторасположение. Но механический, монотонный звук, слегка вибрирующий, с легким подвыванием, давил на уши и моментально опустошал организм от счастья сна. Больше всего он раздражал своей неопределенностью, непонятым происхождением среди тишины ночи.

Первым делом Вериков подумал на верхних соседей, вселившихся в дом около года тому назад. Люди, судя по всему, не бедные, они купили сразу две квартиры, на седьмом и восьмом этажах, соединили их внутренней лестницей, месяцев девять что-то ломали, долбили, канителились, не давая

покою всему подъезду, оснастили жилище всевозможной бытовой, световой и развлекательной техникой. Но после вселения особенных неудобств не доставляли. Сам Борис, долговязый детина лет сорока, дома, кажется, бывал редко, добывал средства где-то за границей. В его отсутствие наверху царила полная тишина, и только по возвращении с потолка валилась обычная звуковая дребедень, что ныне повсюду. Но все это – в меру, под вечер, а позднее стихало. Этажом ниже проживал одинокий старик-вдовец, обнаруживавший себя временами замечательно громким чиханьем.

...Звук слегка нарастал, как бы набирая обороты, ввинчиваясь, и все сильнее давил в ушах. Вадим Яковлевич не выдержал и подскочил к окну. На улице все было спокойно, у мусорных баков привычно крутились знакомые собачонки, помелькивал снег и мирно дремали припаркованные к забору машины. Гудеть с этой стороны явно было некому и нечему. Явилась мысль о трансформаторе во дворе, с другой стороны дома, куда выходили окна гостиной. Вадим Яковлевич прошел в гостиную, там тоже подвывало, но гораздо слабее, чем в его спальне. Для чистоты опыта он отворил окно и окончательно убедился, что и трансформатор тут не при чем. Звук отчетливо слышен был в коридоре, но сильнее всего над его кроватью. А вот откуда он приходил – сверху, снизу, сбоку – этого нельзя было разобрать. Звук словно сочился со всех сторон или просто возникал ниоткуда, сам собой сгущался из воздуха.

На этот раз Вадим Яковлевич решился разбудить жену. Он пошел в ее комнату.

– Что не спишь? – встретила она вопросом, едва он приоткрыл дверь.

– Помнишь, я вчера говорил тебе о шуме? Вот и сейчас, пойдём-ка.

Жена послушно встала и пошла с ним.

– Слышно? Гудит. Вот здесь, вроде бы сверху... Нет, с той стороны.

Лицо жены в тусклом свете окна выказывало напряженное внимание. Она оглядывалась, крутила головой, ходила за мужем то к кровати, то к шкафу.

– Нет, ничего не слышу. Извини...

В голосе жены Вадиму Яковлевичу послышалось недовольство. И это еще больше раздражило его.

– Да вот же, вот! Как не слышать! Гуденье такое, как будто стиральная машина работает или пылесос... то тише, то громче, волнами...

Жена постояла еще немного.

– Нет, я пойду, завтра первый урок. Да и ты ложись. Если и шумит, то не громко, не мешает.

Звук и в самом деле терпимый, не громовой, но очень надоедливый. Он есть, есть! Почему же она не слышит? Вадим Яковлевич почувствовал раздражение против жены, какое возникало, когда ссорились, и она не понимала порой самых простых его доводов. Вот и теперь: что бы ей прислушаться, быть повнимательнее, посочувствовать? А то получается, будто он все придумал для своего развлечения. «Мне рано вставать на уроки!» У него, между прочим, тоже лекция первой парой

(Вериков читал физику в университете). А теперь не заснешь...

Вадим Яковлевич снова улегся и стал ждать. Он уже знал, что пакостный звук длится недолго, минут пятнадцать-двадцать, а потом исчезает. От гуденья ли, от разговора ли с женой участилось сердцебиение, дыханье затруднилось, стало чесаться в спине (явный признак перевозбуждения, знакомый еще с детства, но тогда чесалось от радостных ожиданий завтрашнего дня, а теперь от нервов). Лежа, он перебирал возможные варианты происхождения звука. Действительно, похоже на стиральную машину – но почему так поздно, а главное, в одно и то же время? Версия совсем отпала, когда он вспомнил, что в доме и воды-то не бывает с одиннадцати часов. Чей-то пылесос? Холодильник? Кондиционер? Все сыпалось под напором самых простых рассуждений.

Ну вот, кажется, замолкает, словно невидимый дирижер подает знак. При этом звук не выключается, не прекращается разом, одномоментно, а слабеет помаленьку, растворяется, уходит в ночную тишину как бы на цыпочках, озираясь. Не то у Верикова со сном – его приходится потом дожидаться долго-долго, а когда сон слетает, наступает время вставать.

Не любитель всяческих конфликтных ситуаций и разбирательств, Вериков все же решился на другой день поговорить с верхними соседями, поговорить, конечно, деликатно, ни в чем не упрекая, а только

чтоб выяснить, слышится ли и им нечто непонятное по ночам, а если слышится, то чем они его себе объясняют. Он даже не стал подниматься к соседям в квартиру, чтобы особенно не беспокоить (скажут – по пустякам!), а позвонил по телефону.

Трубку взял Борис. На все разъяснения и вопросы отвечал односложно: «Не знаю, не слышал, не представляю» («Еще бы сказал «не участвовал», – подумал Вериков), но все же пообещал следующей же ночью напрячь внимание:

– Все равно ложись не раньше часа.

Назавтра сосед не позвонил, и Вадим Яковлевич решил сам напомнить ему об уговоре. Ответом было все то же «не слышал». Еще Борис высказал догадку, что это могут «петь» трубы отопления, резонанс, знаете ли.

О резонансе Вериков сам мог прочитать целую лекцию, но все же на другой день позвал к себе домового сантехника. Тот пришел, посмотрел, pokrutil вентили и ответственно заявил, что в обычном режиме трубы ведут себя тихо, а гудеть могут лишь при сливе воды по окончании отопительного сезона.

А покоя не стало. Звуковое наваждение донимало еженощно, без исключений, всегда около двенадцати. Оно возникало бледным унылым призраком, постепенно наливаясь плотью и силой, заполняло комнату и, пульсируя, сжимало голову, терзало сердце. Вадим Яковлевич понимал, что ему слышен только верхний слой сигнала, действительно, не столь явный, чтобы разбудить дом или

вызвать тревогу в городе, но основная, мощная его часть работает в диапазоне ультразвука. Отсюда такое воздействие на организм, на психику, оттого ощущение боли в ушах и паники в нервах.

Вериков был человеком трезвым, нормальным во всех отношениях, в заговоры и темные силы не верил. Он не допускал, чтобы кто-нибудь просто так, без всякой причины, мог облучать ультразвуком, например, из противоположного дома, его квартиру. Чем мог заслужить такое внимание простой доцент? Кому он навредил? А может, пойти провериться у психиатра? Глупо, не поймут, да и звук-то от того не исчезнет. «Если у вас нашли манию преследования, это еще не значит, что за вами действительно не следят», – вспомнилась старая шутка. Вызвать спецов санэпиднадзора? Но как их убедить прийти в полночь, да еще заставить ждать непонятное гуденье, которое никто больше в подъезде не слышит, не исключая собственной жены?

Сосед снизу, видно, набожный старичок, посоветовал позвать батюшку, отслужить в квартире молебен, окропить святой водой. Коллега по кафедре пообещал свести с известным в городе специалистом по НЛО и аномальным явлениям:

– Он тебе в два счета выгонит «барабашку».

Приехал сын. Наедине, чтобы жена не внесла в разговор сумятицы, Вадим Яковлевич рассказал ему о своих мучениях, попросил совета. Как всегда чем-то удрученный, непролазно занятый делами, сын слушал не слишком внимательно.

– Это у тебя в голове шумит, пап, следи за давлением, – сказал он. И нежным движением прижал его голову к своей, будто в самом деле надеялся таким образом услышать тот диковинный шум.

Жена предложила поменяться комнатами:

– Тебе здесь будет спокойнее, а мне везде хорошо.

Но и в ее комнате Вадим Яковлевич проснулся точно в то же самое время, расслышав гудение, крадущееся к нему мягкими шагами по коридору. И на другой день вернулся спать обратно к себе.

Пришла весна. Вериков почти что привык к «посланцу иных миров», как в шутку называл звуковое привидение. Он, правда, слегка изменил график жизни: спать ложился пораньше, а проснувшись в полночь, пару часов затем, чтобы успокоиться, работал в гостиной, когда удавалось, досыпал днем. Пришло время навестить после зимы дачу. Вадим Яковлевич еще и потому торопил поездку, что не терпелось ему проверить: увяжется ли звук за ними, явится ли там, на природе, у озера, в соседстве садов и полей?

Копанье грядок на воздухе, купанье в бане или что другое подействовало, но только первую ночь на даче Вериков провел без просыпа и очнулся лишь на заре под истошные вопли лягушек. «Ну вот, а говорили, в голове шумит, – с удовольствием подумал он. – Нет, все-таки на свете есть предметы, которых вам не сдать, аспирант Горацио!»

Спустя неделю, воскресным вечером, вернулись в город. Вадим Яковлевич не стал дожидаться «ба-

рабашки» и сразу же улегся спать. Ближе к полночи его как будто толкнули в бок. Он открыл глаза. Стояла полная тишина. Вадим Яковлевич замер в ожидании. Посмотрел на часы. Время пришло, но звук не являлся.

Вадим Яковлевич встал, подошел к окну, побродил по квартире. Он не знал, как быть, что надо делать. К тишине трудно было привыкнуть, она давила пустотой и бесконечностью, будто время кончилось или весь мир перестал существовать.

В голове собралась мысль: а что, если звук все же есть, он явился, ноет и гудит, как и прежде, только с собственным организмом Верикова что-то произошло, и он теперь не способен слышать, как не слышала жена, как не способны были слышать все остальные? Еще страшнее наступившая глухота. Теперь не узнаешь, являлся ли непознанный ночной гость в действительности или ему только казалось.

Вериков свалился в кресло и стал ждать.



ПРОПАЩИЙ ДЕНЬ

Вечером позвонили, и кто-то малознакомый – Вадим Сергеевич так и не узнал его по голосу – сказал, что умер Анисимов.

– Прощание завтра в двенадцать. Адрес знаете?

– Не забыл, – ответил Вадим Сергеевич.

– Приходите.

Наутро он с подсказкой жены печально оделся, купил на остановке блеклые хризантемы и отправился автобусом в нужную сторону.

«Ну видно же, видно, что не на свидание еду», – досадливо думал, замечая женские насмешливые поглядывания в свою сторону. Чего уж, в образе любовника с цветами он, седоватый, с широкой лысиной, смотрится теперь действительно уныло. Да если б в самом деле довелось к женщине, то обошелся бы он без этих смешных атрибутов или, в крайнем случае, доставил букет в бауле. Впрочем, кто его знает, любовь проделывает порой с людьми забавные штуки, хотя бы и в его возрасте.

М-да, вот и Анисимов отдал концы. И ведь не первый уже из их смены, далеко не первый. Или пора им настала? Случайно умер или по болезни? Давненько о нем ничего не слышал.

Павел Анисимов, Павлик, был когда-то Вадиму Сергеевичу близким человеком, очень даже близким. С одного года, вместе учились, хорошо

понимали друг друга. Пробовали потом дружить семьями, но жены не поддержали компании, не склеилось. Между собой же они ладили, продолжали встречаться. Даже в отпуск как-то вдвоем ездили по-холостяцки, сплавлялись озерами. Но потом разошлись. Да нет, что хитрить, расплевались – в те годы, когда рушились отношения, предавали товарищи, часто по пустякам, из-за каких-нибудь слов случайных. Вадим-то Сергеевич со своей склонностью заминать ссоры, сглаживать углы, еще тянулся по привычке к старому другу, но тот не отвечал взаимностью, а после одного громкого разговора отвернулся и вовсе. О чем был тот разговор, сейчас и не вспомнишь. Тогда много чего говорили. Но стоило ли придавать значение, потом не по-мужски трубку бросать?

Павлик, Павлик! Вот едет Вадим Сергеевич к нему на последнее свидание, и все-то с такой ясностью вспоминается, то даже вспоминается, что, казалось бы, совсем позабыто. А всплывает.

Вадим Сергеевич постарался переменить настроение и думать о Павлике что-нибудь хорошее, светлое. Хорошего, конечно же, было больше, но оно к сердцу не так близко, схоронилось в глубинах, как корешки под землей. Вадим Сергеевич никогда не считал разрыв окончательным, обиду неодолимой. Она горчит, ест глаза, как дымок над забытым костром, но внутри огонь не угас, если бросить веток, то тут же заново полыхнет. Но встречного шага, слова, взгляда не наблюдалось, так и прошли эти годы. Жить друг без друга оказалось можно, а

потом и привычно. Вот встретимся сегодня, но не так, как мечталось. И вместо бутылки коньяка в кармане эти дурацкие хризантемы в руках.

Ну вот, кажется, и остановка. Вадим Сергеевич вышел, огляделся. Ого, переменялось тут сильно, новых домов наставили, магазин, кафе, ничего этого прежде не было. Туда! Не заросла дорожка. Выносить будут, значит, из дома, из той самой квартиры на третьем этаже. Откуда же еще? Поставят на табуретки у подъезда. Торжественных речей, пальбы и музыки, конечно, не предвидится, не заслужили. Соберутся соседи, однокурсники, сослуживцы, многих увидишь, кого не встречал сто лет. Похороны тем еще хороши, что заодно встретишься и с живыми, с кем-то в последний, может быть, раз. На следующей сходке не будет и этих. А, может, следующая-то у вашего, Вадим Сергеевич, подъезда? Кто знает...

Все ближе памятный дом, и идти не хочется, ноги вязнут. Или уж не показываться? Представил зареванную Раису, к нему она и никогда по-доброму не относилась, не очень-то привечала. А придется выдавливать из себя какие-то принятые слова, не скажешь же просто, что в груди жмет. И что Павел тем-то и был ему дорог, что не обабылся и не створожился в том семейном раю, в который она его стремилась с головой утянуть. Впрочем, вздор! Придет, цветы положит, поцелует в щеки кого надо – и назад. На поминки не оставаться. Жизнь прошла, все своим чередом, ничего не исправишь. Но почтить надо...

Вадим Сергеевич решительно зашагал к показавшейся за деревьями девятиэтажке. И тут увидел, как из подъезда вышел и двинулся навстречу человек в темной куртке с красным комком на груди. Что-то в мужчине насторожило Вадима Сергеевича, встревожило, да настолько, что он остановился и, кажется, даже качнулся назад. С завернутыми в целлофан гвоздиками по тротуару шел сам Анисимов. И тоже в упор смотрел на него. Такой же худой, низкий, прямые волосы подстрижены казацкой скобкой, усы те же, только сильно полинявшие. И лицо костлявое, пепельное, с синевой под глазами. Он, он, конечно, он – ну не падать же в обморок посреди улицы!

А Павлик остановился, протянул руку.

– Ты куда это, Долгов, с цветами? Уж не на свидание ли? – спросил с обычной усмешкой.

– Так ведь и ты чего-то с букетом, – отвечал Вадим Сергеевич, оторопело на него глядя.

– Я-то на похороны... к Анисимову.

– Ка...какому Анисимову?

– Виктор Тихонович умер, доцент наш из института, должен ты его помнить. Да точно, ты его еще к своей Нинке как-то приревновал в компании. Однофамилец мой...

Тут Павел смолкает и внимательно, цепко так смотрит на цветы в руках Вадима Сергеевича. Лицо его хмурится, глаза краснеют, усы начинают подрагивать.

– Бог мой, да ты не ко мне ли с букетом?!

– К тебе, точно, – говорит Вадим Сергеевич. – Только не обижайся, без шуток. Вчера позвонили

мне, не знаю кто, не представился, говорит «умер Анисимов».

– И ты на меня подумал?

– А на кого же еще? Зачем нужно было о Викторе Тихоновиче сообщать, нужен он мне!

– Здорово! – захохотал вдруг Павел так, что слезы посыпались. – Попрощаться, значит, пришел, с цветами, честь по чести! Уважил, не загордился. А то я, признаться, на тебя не рассчитывал.

– Да почему же! – озлился Вадим Сергеевич. – Я-то готов... когда потребуется... А вот ты как, не знаю, не уверен.

– Приду, приду, вот увидишь, – смеялся Павел. – На любезность любезностью. Спасибо за внимание. Растрогал до глубины. Цветы-то какие красивые выбрал! Или Нинка покупала? Привет передай ей от меня. Так и скажи – от покойника. Очень, мол, был доволен.

– Хватит ерунду толочь, – оборвал его Вадим Сергеевич, бросая цветы в урну. – Не пригодились, так радоваться надо.

Покрутив головой, Вадим Сергеевич нашел глазами вывеску кафе.

– Как там у вас? Прилично? Выпить за встречу.

– Говори уж, за помин.

– Да, шел на похороны, попал на именины. Чем не повод?

Павел озабоченно потоптался, посмотрел на вывеску, снова на Вадима Сергеевича, на гвоздики свои...

– Нет, дружище, мне все же к Виктору Тихоновичу, ждут там. А с живыми еще увидимся, так ведь?

Заметив показавшийся автобус, Павел нацелился бежать к остановке, но вдруг крутнулся обратно к Вадиму Сергеевичу. Лицо его еще больше побледнело и скривилось, как от зубной боли.

– А скажи, Вадик, обрадовался ты вчера, как услышал? По совести? Моя, мол, взяла, Павлика нет, а я еще поживу. Была такая мыслишка? Вишь, на-вострился с букетиком, удостовериться, закопать. Да не пришлось.

Автобус уже тормозил – и Павел бросился к остановке. На ходу обернулся, крикнул:

– Еще посмотрим, кто кого закопает!

Вадим Сергеевич, пораженный, долго стоял столбом, плохо соображая, что делать дальше. Сутулясь, пошел в сторону кафе. У входа приостановился, покрутил головой, но потом все же зашел.

Сел у окна, попросил чая и водки.

– Что ж, вечная память! – сказал, взяв стакан.

И сам не поняв, в чью память, одним махом выпил: «Все равно день пропаций! Ничего не сделаешь...»

Завтра узнает Вадим Сергеевич, что в этот самый час, когда сидел он в забегаловке, не стало Павла Анисимова. Зашел тот в автобус, свалился на сиденье и тут же заснул. На конечную остановку приехал без признаков жизни.



РАССКАЗ ПОТЕРЯННОГО

*В зеркало он посмотрел на себя,
отошел и тотчас забыл, каков он.*

(Иак., 1, 24).

Вот я, весь тут, под низкими потолками, среди истертых каких-то фигур, теснюсь с ними к стойке, шапка в руке, а подойти не могу. Нет, никто не отталкивает, они в очереди, стоят ко мне тылом, видны одни спины. В тужурках, пальтецах, напирают на прилавок, от возбуждения негромко сопят, но, нет, не скандалят, не задираются. Похоже, просто не замечают меня.

Другого объяснения не нахожу. Когда я в очередной раз пытаюсь встать в строй, чтобы, так сказать, в общем порядке предстать наконец перед раздатчиком питья, посетители с хмурой оглядкой сдвигаются и плотнее заполняют брешь, и я опять оказываюсь за их спинами. Случалось, что я все-таки вдавливался в плотную шеренгу, даже открывал пересохший свой рот для произнесения нужных просительных слов, но буфетчик всякий раз отворачивал от меня лицо свое и отдавал полную кружку другому.

Со стороны может показаться, будто я лезу нахрапом, без очереди, а буфетчик потому и не желает иметь со мной дела, что приучает к порядку, к

соблюдению прав. Да, именно так оно может выглядеть. На самом же деле я уже не раз и не два пристраивался в самый конец, это могут и подтвердить, хотя вряд ли найдутся тут желающие кому-то что-то доказывать. И мне ли не знать, что среди жаждущих мужчин не только неловко, но и небезопасно лезть напролом, особенно людям с мелкой комплекцией. Нет, я не беру на себя лишнего и вовсе не прочь постоять. К тому же и очередь-то так себе, человек десять-двенадцать, не больше. И поскольку кроме питья и какой-то сушеной рыбешки, которую никто даже и не думает брать, за прилавком ничего нет, подвигаются довольно быстро. Но что мне с того? Всякий раз, когда я приближаюсь к распорядителю, он отводит глаза куда-то в сторону или, еще нелепее, смотрит сквозь меня, будто я стеклянный, и я опять отхожу ни с чем. Переждав какое-то время, попытавшись раз-другой, всякий раз безуспешно, я опять пристраиваюсь в хвост очереди.

Готов признать, что тут отчасти я и сам виноват. Прилипла в последнее время привычка говорить без голоса, передвигаться столбом вкопанным, смотреть без всякого выражения, а то и глаза закрыв. Хотя, с другой стороны, надо понимать, что совсем не такое здесь место, чтобы показывать характер. Пришел – так терпи. Сам ощущаю и от других слышал: спускаешься сюда, переступаешь порог – и весь состав твой меняется, силы оставляют, становишься сам не свой, чужой себе, непривычный. Конечно, вот эти, отпетые, получают по-

ложенное, но что это за положенное – всего лишь кружка питья, да и питья-то, похоже, самого дрянного, судя по кислому цвету, а на большее никто не претендует и не надеется. Я даже не уверен, что, несмотря на духоту и жар, стал бы пить эту муть, достанься она мне, а не вылил ее незаметно куда-нибудь в угол. Да и пиво ли это на самом деле – никто толком не знает. Но все стоят и ждут, разинув рот на распорядителя.

Впрочем, сейчас меня занимает не это. Мне бы понять: за кого меня здесь принимают? Чего доброго, за попавшего не в свой час проходимца, без наличной копейки за душой. Много у меня и в самом деле нет, но на кружку хватит, единственную, последнюю. Так дайте мне ее в руки, а потом уж и гасите свет. Но не раньше, не раньше! С этим я не смирюсь.

Если начистоту, у меня есть причина вести себя здесь тише да незаметнее. Все дело в распорядителе (он же буфетчик, других административных лиц в заведении что-то не видно). Физиономия его сразу, как только смог я разглядеть сквозь пар и чад, кого-то напомнила, показалась знакомой до неприятности. Потом понял: хмуро-брюзгливый буфетчик – копия давнего моего начальничка. Но ведь того давно нет в живых. Когда его хоронили, вышла еще такая забавная аллегория. Гроб, значит, с телом стоит в каком-то клубе. А в фойе, прямо перед входом в зал, плакат фильма «В смерти моей прошу винить Клаву К.». Заглавие большими красными буквами забыли убрать. Входит вдова к нача-

лу церемонии и сразу ко мне (я был вроде распорядителя, с повязкой на рукаве). И этак с гонором: «А кто такая, скажите, эта Клава К.?». Я, конечно, тут же содрал плакат, смял и сунул в карман. Но это ее еще больше взбеленило. «Нет, не прячьте, вы обязаны мне сказать, кто такая Клава К., какое отношение она имела к мужу и как довела его до смерти». В общем, жуткий скандал, едва не отменили всю церемонию. Если все это было не с ним, то, пожалуй, я готов извиниться. Если же нынешний буфетчик действительно тот самый тогдашний начальник, вполне тогда понимаю, почему такое со мной обращение. Злопамятен, ох, злопамятен! Допускаю, что были у него основания считать меня разгильдяем, не горел я тогда на службе. Но и порядка не нарушал. А ведь он, пожалуй, считает меня виноватым, что потом его сняли с должности. В этом, в этом все дело! И напрасно он так считает — я-то чист перед ним.

Начнись откровенный разговор с буфетчиком, я легко мог бы доказать свою непричастность к тем давним его неприятностям, заодно и раскрыть ему глаза на тех, с кем он тогда пил и кого продвигал. Но кому нужны сейчас эти выяснения, спустя столько лет, да еще находясь в темной яме! Все же другой на его месте, наверное, рад был бы случаю объясниться и выяснить отношения. Другой, но не он. Впрочем, может быть, это и есть другой, а не он. Здесь такой свет, что и сам себя узнаешь с трудом. К тому же теряешь всякое представление о времени. Когда тащился сюда, на улице сиял зимний

день, глаза слепил снег. А что там сейчас? Никто не скажет. Вообще-то я не из любителей пива, зимой предпочел бы горячий чай. Да где взять! Сюда зашел просто погреться. Поначалу обрадовался многолюдству, так незаметнее, можно постоять подольше. Пивная на углу – ну, знаете, конечно, бывали – она очень тесная, столов и стульев в ней нет, пьют стоя, а для опорожненных кружек прибиты к стенам узкие полки. Да что за полки, просто плохо обструганные доски, много лет к тому же не мытые. Тут ни посидеть, ни подремать, зато тепло, руки-ноги оттаивают. Из носа течет, но лишь самое первое время, быстро обсыхает.

Между прочим, видимость забегаловки обманчивая. Кажется, теснота и убогость, а помещается бесконечная уйма народа. Все это время, что я здесь, люди прибывают и прибывают, а ведь ни один еще не вышел наружу. Взять те же стены, когда-то покрашенные в серый цвет, а теперь затертые и облупленные, – кажется, вот они рядом, жмут, теснят, рукой дотянуться. Но человек направляется с кружкой, а стена съеживается, пятится от него, отодвигается, как горизонт в поле. А потолок? Низкий, тусклый, с подтеками, давящий душу – а сквозь него видны летящие облака, мелкие звезды, иногда сыплется снег. Между тем всюду теснота, испарения, удушье, свет такой тусклый, что лиц почти не видать, так, пятна какие-то плавают, как жиринки в бульоне, и булькают ртом.

Главное, нет надежды когда-нибудь допроситься. Ни малейшей надежды! Я начинаю догады-

ваться, что объяснение странностям вовсе даже не в буфетчике, надо брать выше. Люди попадают впросак нередко из-за того, что, скажем, рождаются не в свое время. Или не в том месте. А здесь всюду такие порядки. Это вообще какой-то невразумительный город. Жители здесь молчат, а если и общаются, то через смартфоны, говорят что-то случайное, из первых же подвернувшихся слов, чаще бессмысленных или вздорных. Речь сбивчива, из незаконченных предложений, восклицаний и всяких подхваченных новых выражений, смысла которых говорящие не понимают и потому часто используют не по назначению. Начиная что-либо обсуждать, они вскоре забывают предмет, и обсуждение оканчивается криками, визгом, а то и потасовкой. Бывает, спорщики оголяют и показывают друг другу известные части тела – это у них заменяет доказательства. Но для вида держат умные лица. Впрочем, это искусно нарисованные маски, никто толком не знает, есть ли у них лица и какие они.

В городе нескончаемые потоки машин. И все едут понапрасну, без всякой надобности, только потому едут, что есть машина, в руках ключ, она заводится. Перемещаются попусту, кругами, потоками, выбирая трассы погуще, между тем все торопятся, свистят и грозят друг другу, жмут на клаксон, стараются опередить – кто по тротуару, кто на красный свет, кто сбив ребенка. У каждого бессмысленный маршрут, никуда не ведущий, потому что не сам он его выбирал. Тот, кто выбирает

за них, тот один и знает – куда. Он крутит барабан. Остальные крутятся.

И зачем только я здесь оказался! Без конца спрашиваю себя: зачем? И не нахожу ответа. Сколько времени я здесь? Кто знает! Я ведь направлялся сюда по какому-то делу, кажется, по служебному, как будто в командировку. Тогда где же мои документы, где паспорт? В карманах давно ничего нет. Помню, что прибыл поездом. Вышел из вокзала – кругом лужи, как зеркала, в них солнце и облака. Значит, была весна, потому что искрилась грязь, кричали грачи, пахло помойкой. В гостиничном буфете ел сыр. Вечером ходил по улицам, рассматривал здешних девиц. Когда с приобретенным обратным билетом вернулся в гостиницу, номер был заперт. Ключа на месте не оказалось – его унесли с собой новые постояльцы. Ждал их, не мог же уехать без вещей. Постояльцы, их было двое, вернулись поздно, почти что ночью, когда мой поезд давно ушел. Но и в номере, когда вошли, не обнаружилось ни чемодана, ни сумки. Я осматривал шкафы, ползал, заглядывая под кровать, а жильцы стоя молчали. Потом один из них сказал: «Уж не думаете ли вы, что мы их присвоили?» Второй добавил: «Пора бы уж спать!» – и выключил свет.

Я вышел из номера. Коридорная объяснила, что вещи могли отнести на хранение в гостиничный склад. В таком случае, сказала она, выдать их мне смогут лишь в девять утра с приходом кастеляна. Ночь я провел на диванчике в коридоре. Но утром

кастелян не явился. Не было его ни в полдень, ни вечером.

– Прямо загадка какая-то! – вздыхала администраторша. – Небывалый случай! Телефон не отвечает. Что я могу посоветовать? Только ждать. Наберитесь терпения. Если и завтра кастелян не придет, возьмем понятых и откроем дверь сами.

Представьте мое состояние! На другой день администратор взяла двух горничных, вахтера, вызвала знакомого полицейского. Монтировкой отжали дверь и вошли на склад забытых вещей. Я полдня, чихая от пыли, разбираю завалы. Но вещи не находились.

– Не мог же он увезти их на центральный склад объединения отелей, притонов и исправительных заведений! – возмущалась администраторша. – Но вы не теряйте надежды. Со дня на день в объединении начнется серьезная ревизия всех кастелянов и тогда их темные делишки обязательно всплывут наружу. Не могут у нас вещи постояльца кануть бесследно, такого еще не бывало. Я вам советую дозвониться вот по этому телефону до руководителя службы информации и контактов. Это нелегко, но вам же все равно нечего делать. А он уж подскажет, как быть, и какие у вас есть права на дальнейшее проживание. Только, прошу, разговаривайте с ним повежливее – очень обидчивый. Но дело свое знает, любой вопрос у него от зубов отскакивает.

Я подсел к стоявшему на подоконнике старенькому аппарату и накрутил номер. В ответ включи-

лась музыкальная автоматика, после непродолжительного концерта механический голос объявил, что я на связи со службой информации и контактов объединения отелей, притонов и исправительных учреждений, что я поставлен в очередь под номером сорок семь, что необходимо ждать, что мне обязательно ответят, что я даже обречен на ответ. В ухе опять завертелась музыка, то есть не музыка, конечно, а хиты и шлягеры, музыки ведь на свете теперь не осталось. Минут за пять меня довели до позиции 46. И опять по ушам надавали шлягерами! Положил трубку, вышел покурить, поболтал с администратором – все это приблизило к цели на четыре позиции. Тогда я пошел обедать. Погулял по городу. Когда вернулся и снова припал к трубке, сообщили, что я числюсь шестым номером. Время, вперед! Вперед, время! Пять, четыре, три, два... Прокашлялся, мне говорить. Вот-вот подключится некто все ведающий, с ним можно объясниться, ему можно пожаловаться, он все поймет, прояснит, посочувствует, наладит, исправит. Не может же он не помочь! Даже обязан, как ответственное лицо, а по закону...

Но что это? Голос в трубке тот же пластмассовый, компьютерный, продиктовал, что я на связи, что поставлен в очередь вторым номером, что мне обязательно ответят. Позвольте, я только что был вторым, пора мне быть первым! Меня обязаны подключить, выслушать, ответить по существу! Тут недоразумение, сбой, автоответчик не исправен! Должен же кто-то, хит вам в уши, заметить ошибку!

Но автомат неумолим, меня, как шар бильярдный, посылает на позицию № 3. Сомнений нет – пошел обратный счет. Тот, на другом конце провода, только приблизился, невидимый и не постижимый, и сразу же повернул обратно, не вступив в контакт, не желая слышать. А меня сбросили уже на четвертый номер. Тут я закричал, взвыл, кажется, куснул кого-то... Меня вынесли на улицу.

Последующие дни я отирался на вокзале, встречал и провожал поезда, спал урывками, поскольку начиналось лето, на скамейках в зеленых дворах, бывал бит, ограблен, попадал в полицию, встречался с какими-то женщинами. Вещи мои все не находились. Кастелян, как потом и в газетах писали, прихватив кассу, бежал с молоденькой горничной за границу. И в моем чемодане теперь на какой-нибудь веранде в Мальорке держат недозрелые помидоры.

...Очередь между тем сохраняется, она стала даже длиннее, так как пиво течет вязко, медленно, из-за чего буфетчику приходится подолгу держать посудину под соском. Наполняет он кружки теперь лишь наполовину, даже меньше, но жаждущие не только не возражают, но и сами показывают знаками (ребром ладони у горла), что ждать им больше не вмоготу и лучше хоть глоток, чем вообще ничего. «Да пусть бы оно и вовсе кончилось, – думаю я. – Тогда можно будет уйти, не навсегда же мне здесь». Трудно дышать, как будто из помещения высосали весь воздух.

Тут от стойки отклеивается один тип. Вижу, вместе с пивом, едва ли не первый за все время, несет он и сушеную рыбу. Таким образом, обе руки у него заняты, и не знает он, горемычный, где бы пристроить кружку, чтобы заняться той рыбой. Столов, я уже говорил, в заведении не держат, а стен с полками совсем не видно из-за сгустившегося тумана. И вот он, бедолага, растерянно и жалко оглядывается. Еще немного – и выпадет у него из рук рыба или опрокинется кружка, все в тартарары. Отчаянное положение, скажу я вам, жалкий миг равновесия, когда человеку еще возможен какой-то выбор. И тут он, похоже, от безвыходности, кидается ко мне. Значит, различает он меня, признает мое существование, соглашается с моим наличием! Я тоже вижу его и готов прийти на помощь. Хотя и удивлен: в этом-то городе жители вовсе тебя не замечают, сколько на них не смотри. Здесь удача перейти улицу, не покалечившись. Водители машин просто не видят пешеходов, не признают за ними права на бытие. Потому желающие в силу каких-то надобностей оказаться на другой стороне улицы скапливаются на перекрестке большими стайками, чтобы, если уж рисковать, то всем вместе. Потом задние начинают теснить передних и потихоньку выдавливают их на проезжую, первые несколько горожан, понятное дело, гибнут под колесами, остальные перебегают. И ведь так каждый раз!

И вот смотрю я на человека с кружкой и рыбой, а он на меня. И вдруг он изрекает:

– Подержи-ка, будь другом.

Передает мне посудину из рук в руки. Явственно слышу запах вожделенного пойла – оно отдает сырой глиной с тонкой примесью картофельной гнили. Я держу кружку, а он принимается за рыбу. Она небольшая, длиной с ладонь, узкая и плоская, но с крупной лобастой головой. Самое выразительное в рыбе – глаза. Рыба вяленая, а глаза живые. Лыдисто-голубые, как у какой-то балерины, они с явным интересом и детской доверчивостью смотрят на нас. Я ощущаю веселый дружелюбный взгляд рыбы и тоже киваю ей. Серебряная, хрупкая, тонкая, она и телом похожа на танцовщицу, подкинутую в воздух партнером и так в полете застывшую. Вот, думаю, что за судьба: родилась и взрастала где-нибудь в морях под Южным Крестом, обладая невероятной навигацией, без Солнца и звезд находила путь в непроницаемых глубинах. Хрупкое тельце выдерживало давление толщ, способное сплющить стальную подложку. Обладала даром производить потомство, значит, испытывала чувства влечения, пожалуй, даже превосходящие наши по красоте и силе: ведь рыбы ради минуты любви преодолевают маршруты в половину земного экватора. Кто из нас-то на это способен? А ее изловили, высушили и бросят сейчас, при мне, в эту самую минуту, растерзав, под ноги на грязный пол. Зачем так?

– Да что ты о рыбе! – говорит вдруг посетитель, отколупывая от тушки худые волокна и отправляя их в рот. – А хоть бы и настоящая балерина – судьба-то одна. Эта плавала, та порхает под музыку – и

так же берут ее на десерт после ужина, и обрывают крылышки, как я эту шкурку. Да и эти вот – он обвел глазами стоящих в очереди, – разве кто из них заслужил такой доли? А ты говоришь – рыбка!

Вообще-то я не сказал ни слова. Разделавшись с тушкой и побросав ее останки на пол, пивопивец забирает у меня кружку:

– Твое здоровье!

– Какое здоровье, – говорю я, – когда меня, может быть, и вовсе нет.

– Как нет, если ты смотришь на меня и думаешь обо всем. Хочешь, и тебе нальют?

Он бросается к стойке, но тут же возвращается без ничего:

– В бочках сухо, буфетчик заснул.

Посетители продолжают прибывать, но шумнее от того не становится, наоборот, все меньше движения, толкотни. Кто с кружкой, кто порожний – все дремлют, смежив веки, стоят, покачиваясь, подобно водорослям в тихой воде или отражениям ив. От опадающей тишины, от ощущения наступающей свободы заходится сердце и начинает ломить в висках.

– А вообще-то тебе пора убираться, – вдруг говорит хмырь, наводя на меня мутный взор.

– Но ведь я так и не получил того, зачем приходил, – говорю я.

Пивопивец не отвечает – я вижу, он спит, свесив голову себе на плечо.

– Не положено, закрываемся, попили-поели, на-свинячили, здесь не место, все прошло, миновало,

пора, брат, пора, – бормочет во сне буфетчик. Голова его, как отрубленная, валяется на прилавке сама по себе, без рук и без шеи. За ночь у буфетчика успела вырасти седовато-сивая длинная борода, теперь она мокнет тут же в пивной луже.

«Свободен, свободен, наконец-то свободен!» – говорю я себе, проталкиваясь к выходу, переступая павших. Наощупь отыскиваю в стене дверь, толкаю, она отворяется с тяжким стоном – и я оказываюсь на улице.

Светаает, из темноты проступают какие-то строения. Воздух легкий и свежий. Похоже, снова весна. Нет, пожалуй, раннее лето: деревья в листве, молодой, непыльной. Бодро, по-утреннему, перекликаются птицы. Я иду гулкой пустой улицей в жемчужно-розовых бликах утра – и с какого-то момента начинаю узнавать встречные дома, переулки, фонари, деревья.

И тут до меня доходит, что тот, чужой, вчерашний город кончился, слинял вместе с прошедшей ночью, смыт весенним дождем, а вокруг новорожденный свет. И я не просто влачусь, как попало, неизвестно куда и зачем, лишь бы двигать ногами, а иду к своему дому, оттого спешу, спотыкаюсь, готов полететь. Я вспомнил, я знаю, где повернуть, на чем подъехать, чтобы вернуться туда, где меня ждут. Они не успеют проснуться, как я постучусь.



ДАНГУОЛЕ

Литовская дайна

Если бы февральским вьюжным тем вечером довелось вам проходить мимо кафе по улице Бернардинцев (безымянное, за аркой с облупленными стенами средневековой постройки), то могли бы увидеть в незанавешенное окно горевшую на ближайшем столе свечку, золотой окрас скатерти, багрец в рюмке с бенедиктином, а за тем столом, присмотревшись, различить и меня. В кафе сумерничали, долго не зажигали электричества, и потому хорошо была видна другая стена улицы, близкая, рукой дотянуться, крутящиеся в воздухе струи снега, тени редких прохожих. Время от времени с визгливой скрипичной фразой открывалась дверь, призрачно вливал проходимец, истаивал в темноте. Беззвучно, легким дымком, меж столов крутилась официантка.

В общем, тихо и скучно. Но дверь снова скрипнула, всполошились взлетевшие занавески, что-то замерцало, зафосфоресцировало, обожгло стужей, будто в помещение влетел комок ветра или оторвавшийся хвост метели. На ощупь поймав рюмку, я глотнул бенедиктина и не ощутил никакого вкуса. Тут зажгли освещение – и за соседним столиком обнаружилась новенькая. Она смотрела на меня веселыми синими глазами. Поначалу ничего кроме

синевы, лишь спустя какое-то время сияние отпустило и стало проявляться все остальное. Еще не отошедшая от морозца, не оттаявшая от запорошивших ее снежинок, девушка вся радужно искрилась, переливалась, слепила улыбкой. И вдруг без лишних слов, словно повинуюсь, перепорхнула за мой столик.

– Вы ведь меня ждали, я не ошиблась? – сказала она, дробно посмеиваясь. – Что вы так смотрите? Мы же знакомы. Я Дангуоле!

Как, где, когда? Я предложил бенедиктина, но встретил отказ: новенькая была с машиной.

Загадок прибавилось: автомобилесс среди нас уж точно тогда не водилось. Пальцы ее рук – длинные, сильные! – в разговоре в такт мелодиям голоса музицировали, перебирая на столе воображаемые фортепьянные клавиши. Да, да, сказала Дангуоле, о да, она немного играет, любит Шумана (запомнил: Шумана, а не Шуберта, не Шопена), и мне – да, возможно, сегодня же, зачем откладывать! – представится случай послушать ее игру. Где же? А у нее дома, за старинным роялем. Пояснения сопровождались веселыми нежными взорами. Дивный предстоял вечер!

Так, но прежде, сказала она, предстоит непременно побывать у некой мельницы, древней, заброшенной, она за городом, у реки. Черти там водятся! Что такое, зачем? А сегодня именно дата такая, непременно на том зачарованном месте ей нужно, душа рвется, проверить свои чувства. Да так, чувства к одному человеку. Все еще любит она

его или уже нет? Вот в чем вопрос! Разве мне это не интересно – знать, свободна ли она сердцем? Что ж, едем, хоть и нелепо! На мельнице же, кроме чертей, обретаются двое бездомных псов, давно их не навещали. Так здесь же возьмем для них котлет и хлеба. Официантка, котлеты без лука! И уж после поездки (скорей бы!) будет ждать нас светлица, свечи, рояль. И Шуман! Всю выюжную ночь...

Мы вышли, нет, выбежали, в темном гардеробе быстро поцеловались, крепко сцепились руками, на соседней улице под снегом действительно отыскалась машина. И вот полетели из города большими кругами улиц, площадей, сквозь метель, мимо призраков сосен с бегущими вслед привидениями соборов, дворцов, парков. За рулем Дангуоле то пела, то смеялась, то звала на помощь Казюкаса и всех святых, то подставляла губы под бессчетные мои поцелуи, то, всхлипывая, бормотала стихи.

Пролетели посадки, расступился, мелькая, лес, запрыгали сквозь белую муть огни хуторов. Наконец мы уткнулись в берег темной, живой, дышащей паром реки. Вот и убеленные развалины – останки священной той мельницы. При виде их Дангуоле вскрикнула, побежала, как полоумная, упала в снег, стала кататься и бить ногами. Но когда я склонился над нею, оттолкнула, вскочила и вновь закружилась. «Все здесь и было! – громко шептала она. – Вот здесь! На этом месте! Деревья цвели тогда. Май! Старые яблони! Это они!» И она с неистовой страстью обнимала мокрые кривые стволы.

Потом долго звали собак, но они не пришли. И мы бежали уж обратно к машине, когда расслышали зов, малую капельку жалобы и мольбы, а там и увидели вылезавшего из камней котенка. Комочек шерсти и писка, он проваливался в снег и жалко подпрыгивал. Дангуоле схватила его с восторгом. В тепле кабины, без огней и мотора, у черной воды, под тяжелым крушащимся снегом мы схватили друг друга, стиснулись, долго, до боли, целовались, боясь отпустить, потерять. Наконец разнялись, и машина вновь взлетела в метельное небо.

Как я торопил время! Показался город, замескали улицы, въехали в ее двор. Но нет счастья на земле! Мы шли к подъезду, когда Дангуоле, задрав голову, вдруг простонала: «Это он!» И показала на окна четвертого этажа: одно из них тускло светилось. «Вернулся! Только у него есть ключи от моей двери!» Она сунула мне в руки пискнувшего котенка, быстро поцеловала, оглянувшись в дверях: «Еще встретимся!»

Где, когда? Милая, в жизни не бывает повторов! А котенок? Куда его? Да она уж не слышала. Черный силуэт замескал по лестничным маршам.

Ох, не ко времени оказалось в моих руках это нелепое существо! Но и выбросить его я не мог. Пришлось нести домой, кормить, устраивать. Спустя два месяца выросла тонкая, гибкая кошка тигровой окраски, с независимой вольной повадкой, переменчивая в настроениях, с острыми коготками. За хищную волнистую грацию я назвал ее Лаской... а поначалу звал Дангуоле. Подобно рыси,

она спала наверху, в брошенной на шкаф старой шляпе. Утром, затемно, спускалась и лезла греться под одеяло. Вот тут, бывало, притихнет и поворачивает на груди пару минут. На большее терпения не хватало – выскакивала и с требовательным криком бежала на кухню. Повзрослев, стала проситься на улицу. Жил я на опушке леса на первом этаже, так что зверюшка сама прыгивала из низкой лоджии и исчезала иногда на несколько дней. Впрочем, в этом мы мало отличались друг от друга: я и сам тогда не каждую ночь проводил дома. А с этой навязавшейся квартиранткой приходилось считаться. Бывало, «среди шумного бала» вдруг вообразишь, как Дангуоле-Ласка, голодная и холодная, с воем ходит под окнами... Еще подумает, пугался я, неразумная тварь, что дома, в тепле, притаился я от нее и не хочу впускать, обидится и уйдет навсегда. Быстро допивал-докуривал, прощался и летел домой. И как бывал рад, когда посреди ночи раздавался под окном знакомый хрипловатый голос, и шел отворять дверь.

А тут-то и началось в городе нашем...

Знаете ли вы, читатель, что если когда-нибудь, кому бы то ни было, придет в голову разжечь костер на главной городской площади, причем, утверждаю, любого города, в любой стране, да хотя бы просто испечь картошки или заварить чаю, уже через пару минут непременно кто-нибудь подвалит, а там и другой, третий, начнут сбегаться собаки, потянутся на огонек бродяги, причалят парочки, возысят голоса проповедники, налетят любопытные,

подтянутся репортеры, за час-другой наберется толпа, ораторы полезут на ящики, мальчишки – на крыши, к вечеру площадь будет бурлить, на другой день выйдет из берегов...

Так и случилось. Только мне начинавшийся спектакль показался в художественном отношении весьма посредственным, а психологически недостоверным. Обозначенная в афишках «героическая борьба против тирании» удручала неправдоподобием, худосочностью и фальшью, поскольку фальшивой, не настоящей, была сама эта тирания. Она, тирания то есть, неспособна была даже придать своей физиономии приличествующее случаю серьезное выражение – физиономия эта то и дело расплывалась идиотской ухмылкой, подмигивания были слишком заметны. «Диктатуры» никто не боялся, в ее угрозы не верили даже дети. Противостоявшие «тирану» постановщики сходок, маршей, хороводов и шествий балаганными приемами изображали свирепое чучело, восхваляли бездарными напыщенными стихами свое бесстрашие и грубо переигрывали. Объявляли «эстафетную голодовку»: час-полтора на людях голодали одни накаченные ребята, потом на смену им приходили другие, а эти с гоготом отправлялись в пивную. Славя отважный порыв к свободе, теноры то и дело давали петуха. Да и суфлеры слишком были заметны.

Не задалась игра и у противной партии. С ее стороны могли бы выигрышно, на высокой ноте прозвучать арии о рыцарственном служении, верно-

сти долгу, присяге; образ защитников возвысили бы гимны о героике безнадежного дела, красоте гибельной жертвенности и трагизме брошенных Роком. Но сценарий писался без всякого ума и таланта, режиссеры даже с жанром не определились – комедию или трагедию им ставить, путались сами и сбивали с роли актеров. Всем было ясно, что цирк сгорит и клоуны разбегутся.

Я не стал дожидаться развязки. Меня позвал давний, казалось, по-прежнему любимый голос, обещая новую жизнь, осмысленную, свободную. Она не получилась, новая жизнь, впрочем, не получилась она и у тех, кто остался на старом месте. Теперь там чужая страна, туда не приедешь без визы.

Уезжал я налегке, с рюкзаком, ни с кем особенно не прощаясь. Единственное затруднение представляла Ласка. Нечего было и думать взять ее с собой. С кошкой меня и самого не выпустили бы из нового государства: ветеринарный контроль попал в число обязательных признаков независимости. Только птицы да летучие мыши не признают новых границ и свободно пересекают их. Пришлось звонить другу, устраивать звериную судьбу. За час до поезда он пришел с клеткой из-под канарейки. Ласка доверчиво пошла в руки, но когда я стал заталкивать ее в клетку, возопила дурным голосом, оцарапала, а потом, просунув лапу меж прутьев наружу, с человеческой сноровкой пыталась открыть себе дверцу.

Провожавших было немного. Уныло потоптались на перроне. И то один, то другой говорил:

«Нет, ты напиши, как устроишься, а мы вслед. Все там будем, не в одно время...»

И тут в дверях вокзала показалась она, Дангуоле. Увидела меня, я пошел ей навстречу.

– Провожаешь кого-то? – спросила буднично. И вдруг: – Почему ты тогда не дождался меня?

– Но ты же мотыльком бросилась на свет в окне...

Помолчала, вспоминая.

– А знаешь, дома у меня никого и не было. Я сама, уходя, забыла выключить свет. Правда, смешно? Что ты молчишь?

– Мне уезжать, – сказал я. – Видишь, подают поезд.

– Надолго?

– Как знать...

На другое утро я вышел из вагона на незнакомой станции в безрадостной местности, которую, кажется, не смогу полюбить, просто уже не успею. Впрочем, нынче и везде все чужое, куда ни пойдешь.

И вот ведь, оставив там прошлое, каких-никаких приятелей и подруг, скучал я первое время только по Ласке, жалел, что не взял ее с собой, корил себя за предательство.

Говорят, кошки находят дорогу к тем, кого любят, как далеко бы они не оказались. Сколько на этот счет приходилось читать и слышать достоверных историй! И я стал поджидать. Конечно, слишком уж большое расстояние между нами, да и места пребывания я менял, следы мои путались. И все же, все же... Ведь бывает же! И, значит, быть может.

Но шел месяц за месяцем, а Ласка не появлялась. Вечерами, засыпая, я представлял себе, как мой полосатый гибкий зверок бежит по дорогам, крадет-ся дворами, огородами, преодолевает леса и реки. Позади Белоруссия, Смоленщина, скоро, скоро...

Однажды ночью во сне что-то толкнуло меня в бок, за окном послышался милый голос. Дангуоле! Я вскочил с постели и не одетым выбежал на улицу. Долго звал, но никто не пришел. Не все случается, чему и положено вроде быть!



КОРОЛЬ ЛИР НАШЕГО ПОДЪЕЗДА

Звонок в пять утра пакостен и тревожен. За дверью что-то непонятное, белое, большое, вроде облака. Всклоченные волосы, плывущие контуры... Вид тошноватого привидения.

– Вы, может быть, спали? – слышу сиплый неразможенный голос.

Опознаю толстяка-соседа из квартиры напротив.

– У вас есть виноград? – продолжает он.

– Виноград? Нет, вряд ли.

– А что есть? Из фруктов?

– Кажется, мандарины.

– Дайте тогда мандаринов.

Иду к холодильнику, приношу три штуки, вкладываю их в протянутую пухлую руку.

– Видишь, захотелось чего-то сладкого, – поясняет гость, поворачивается на слоновьих ногах и, покачиваясь, отплывает в свою сторону.

В другой раз толстяк явился перед обедом. Он и днем наносил визиты, не отягощая себя одеждой, в ситцевых мешковатых трусах. Правда, был гладко причесан и выбрит. Пухлые щеки блестели от крема. Пошатываясь и колыхаясь грузным телом, с опорой на палку, остановился в дверном проеме.

– Я по-соседски, – счел он нужным представиться. – Лузгин, зовут Руслан Иванович. А хороший сосед, у нас говорили, лучше плохого родственника.

– Заходите.

– Да нет, я по делу. Вот что... у вас найдется шоколад?

– Шоколад? – Я не сразу оценил поворот разговора. – Нет, шоколада сейчас, кажется, нет.

Ответ мой, похоже, не понравился толстяку.

– А что есть? – сухо и даже, пожалуй, строго спросил он. – Не с чем выпить чая...

Я отправился к буфету и принес горсть обнаруженных карамелек. Толстяк презрительно посмотрел на них, но не отказался принять.

– Вот ведь ничего не стало в доме, приходится побираться, – проворчал он, отправляясь к себе.

Этакое простодушие удивило и даже, признаюсь, раздражило меня. За вечерним чаем я сказал об этом жене. Но сочувствия у нее не нашел.

– Радоваться надо, что можем кому-то помочь, хоть конфеткой поделиться, – сказала она. – Бедный старик, наверное, одинокий, без пригляда. А у нас даже шоколадки нет, надо будет купить. Да и винограда. Вдруг еще придет...

На другой день Лузгин спросил «щепотку чая» и «жменю сахара». Как-то пришел за хлебом, потом понадобилась картошка. В его посещениях не было регулярности: то являлся едва ли не каждый день, всегда с какой-нибудь мелкой просьбой, то не показывался по неделе и по две.

– Видно, пенсию получил Руслан Иванович, вот и не заходит, – догадывалась жена. – А ты сам загляни к нему, спроси, не надо ли чего. Ведь ему неудобно просить всякий раз. Ты вон как с ним не любезен.

– Я над ним опекунство не брал, – возражал я. – Да и не бобылем он живет, какие-то молодые, сам видел, ходят в квартиру.

Грузный сосед этот объявился на нашем этаже месяца три-четыре назад, заняв пустовавшую какое-то время двухкомнатную квартиру. Однако многие из жильцов в подъезде знавали новосела и прежде, рассказывали, что он из «бывших». Из тех, что заседали когда-то в райкомах и совнаркомах, потом своевременно перебрались в другие кабинеты или, оставаясь в тех же, сменили вывески, смогли кое-что прибрать из народного добра к рукам, но удержать приголубленное не сумели. Вот и Лузгин сидел, говорили, и в директорах завода, и в председателях банка, и в каких-то депутатах. Потом потерял высоту – так и пророс в нашем доме среди простого электората.

На первых порах Руслан Иванович сам о себе ничего не рассказывал. Визиты его носили чисто практический, проще сказать, утилитарный характер. Он мог послать в магазин за продуктами или в банк оплатить коммунальные квитанции. Однажды, посетовав на боль в спине, попросил сделать массаж. Мой отказ вызвал у него легкое удивление. Что у всякого другого могло бы показаться бесцеремонностью и нахальством, у Руслана Ивановича получалось естественно и просто. Познав, видно, когда-то услужливость и угождение, он по привычке продолжал считать себя вправе пользоваться людьми. Повседневную свою наготу объяснял тем, что ему во всякой рубашке душно, теснит сердце,

замирает дыхание. Штаны же физически не может каждый раз надевать и снимать: из-за живота не попадает в брючины ногами. А время просто не замечает: пять утра ему то же, что пять вечера. Так что простительно.

На нашем этаже три квартиры. Ближняя дверь перед Лузгиным категорически не отпиралась. И все же он всякий раз сначала подолгу звонил туда или стучал палкой, а потом уже шел к нам.

Со временем у соседа появилось новое амплуа – просить займы денег. На вопрос: «Сколько?» – отвечал: «Сколько мне надо, у вас все равно нет. Дайте что можете». Или: «Сколько найдется».

Много у нас не находилось.

– Больше не могу, – говорил я. – Да малый должок и отдавать легче.

– Представить не мог, что когда-нибудь мне, понимаете, – мне! – не будет хватать денег и я буду считать дни до этой несчастной пенсии! – восклицал банкир. – А вот скажите, у вас почему нет денег? Ведь вы же где-то работаете?

Я отшучивался:

– Такая штука эти деньги: то их нет, а то их... совсем нет.

– Нет, деньги должны быть, – назидательно говорил Лузгин. – Знаешь, сколько у иных людей денег? Миллиарды!

И, помолчав, добавлял с горечью:

– А вот у нас их почему-то не стало. Несправедливо!

Однажды Лузгин решился-таки преодолеть дверной проем и, пройдя в комнату, тяжело опустился в кресло.

– Посижу у вас, – объявил он. – А то целыми днями один, поговорить не с кем.

С первых же минут разговор завел все на ту же болезненную тему:

– И как это я мог остаться без денег! Знаешь, еще недавно, после уж Марины Игнатьевны, жены моей, она два года как умерла, были у меня миллионы. Да, да, миллионов пять или шесть на счету. Женится внук – я два лимона на свадьбу. Помни! Дед же богатый, жизнь прожил не даром. Внучку понесло зачем-то в Канаду учиться. Какая учеба у ирокезов? Отец ее, сын мой младший, Олег, совсем никудышный. Знает, придурок, только проматывать да жен менять. Вот она и надела: «Давай, дед, на Канаду». Что ж, бери, вот тебе лимон, разменяй на зелень. Два года как уехала и не звонит ни мне, ни отцу. Жива там, или ограбили и убили, никто не знает. Остальное Олег с Денисом – Денис – это второй, старший, сейчас живет со мной, нигде не работает – у меня выманили. Да, дом Денису построил, это еще прежде, шикарную виллу, теперь внук в ней с женой царствует, Дениса, отца, и на порог к себе не пускают. Смотрю: счета-то мои обнулились. Раньше деньги сами шли, как вода весной прибывает: не знаешь откуда, а все поднимается, топит, сколько не черпай, не убывает. И вот пересохло, без прибýtка живу, куда-то все подевалось...

У Руслана Ивановича в глазах слезы, обвисшие малиновые щеки дрожат. Смотрит на меня, ищет сочувствия.

– А как я здесь оказался, в этой трущобе, на сорока метрах, знаешь? – продолжает он после серии тяжких вздохов и сморкания. – Жили мы с Мариной Игнатьевной в шикарной квартире в самом центре, в «барском доме». Шипилин со мной на одном этаже, всегда за руку... Ниже Трапезников. В тот дом просто так не попадают, вы понимаете. А как скончалась Марина Игнатьевна, сынки привязались: продавай квартиру, будем делиться. Денис против – ему бы досталась. А тот за нож, Олег-то, и не в шутку, в тюрьге бывал, способен. Да еще и денег не стало: не на что хоромы содержать, одна пенсия. Я поставил условие: мне отдельную квартиру. Вот и нашли эту, подешевле, остальные деньги поделили и промотали. Дениса жена потом выгнала, прибился сюда же. «Хорошо, – говорит, что хоть двушку тебе купили, а то мне в одной комнате с тобой пришлось бы храп слушать». Да сам-то здоровьем плох, почки, печень, сгубил в молодости, работать не может. Существуем вдвоем на мою пенсию. Меня же и дураком обзывает: «Что ж ты, батя, – говорит, – банком ворочал, а обеспечить себя не мог? За границей бы жили. Люди вон замки и острова покупают». «А что ж ты сам, – говорю, – не ворочаешься? Ехал бы за границу да наживал, нам бы с братом теперь помог. Не все же туда из страны тащить, можно изредка и в обратную сторону». Матерится! Пенсию получу – промотает в три дня.

Так стала проясняться канва жизни нашего соседа и подоплека его непрерывных просьб и мелких

займов. Навещал он, как выяснилось, не нас одних. Этажом ниже живет с семьей Петр Давыдович по фамилии Мостовой, прежний подчиненный Лузгина, тоже пенсионер. Но тому визиты бывшего начальничка быстро надоели, и он перестал открывать ему дверь. «Затаился! Не признает! – возмутился Лузгин. – Друзьями считались!»

– Ходит к вам брюхатый-то? – как-то остановил меня Мостовой. – Привык ногой двери открывать.

– Трудно ему, на ногах не держится, и помочь, видно, некому, – сказал я, чтобы переменить тон разговора. Но это Петра Давыдовича еще больше раздражило. Заговорил со старой прогорклой злостью:

– Это он сейчас такой жалкий, попрошайничает. А прежде! Целый завод ему достался, поскольку при грабировке сидел директором – так обобрал завод до нитки и по миру пустил. Три тысячи безработных, и я в их числе, а был начальником цеха. Дальше... С десятков предприятий для защиты от финансовых акул создали на паях свой промбанк. А руководителем Лузгина поставили, не нашли, дураки, никого лучше! Так наш Руслан Иванович что придумал – присоединить банк к большой инвестиционной компании. Только тут он плохо рассчитал – компаньоны банк слопали, а с ним делиться не стали, обобрали и выгнали. Потому и стучится к нам, что теперь – ни друзей, ни денег. И дети знать не хотят. Опарыши!

Простоват Мостовой, старомодно мыслит! Не понимает, что сильные хищники, пожирая слабых

и мелких, расчищают поле – польза от того всему обществу и прежде всего нам, травоядным. Так теперь учит новейшая экономическая теория. Бедные и обманутые, утверждает она, во-первых, сами виноваты в своем положении, так как соблазнились на обман и не способны ничего изменить. А во-вторых, живут, подлецы, за счет богатых и преуспевающих, так что, если разобраться, сами-то и являются настоящими эксплуататорами. Опарыши, говорите? Да, размножаются они в гнилом мясе, пожирают его – но тем создают гумус для следующих поколений. Что толку корить теперь старика? Он тоже пострадавший, король Лир нашего подъезда, такая же перегоревшая почва. Сердцем мучается, опухает. Едва ли не каждый день вызывает «скорую».

Между тем юдоль Лузгина все больше скудела. Однажды он пришел с новой просьбой – пустить к телефону, связь у них отключили за неуплату. Я провел гостя к аппарату, попросив, правда, не звонить по межгороду. Сам тут же остался работать с компьютером. Впрочем, секретов у гостя и не было – стал он названивать в поисках денег. Начиная разговор, как обычно, издали, справлялся о житье-бытье, о женах и детях, о службе и дружбе. Жаловался на нездоровье, извещал о предстоящем платном лечении. Из-за чего, мол, и возникла нужда одолжиться всего-то на несколько дней – у депозита срок подходит.

Переговоры шли трудно. Руслан Иванович бодрился, пытался шутить и играть голосом, но с

каждым звонком все больше наливался краской, злобно взглядывал на меня и сокрушенно вздыхал. Однако снова и снова пытался овладеть ситуацией, достучаться до тех, кого считал друзьями и родственниками, но которые давно уже отчислили его из своих, соскоблили из кондуитов и забыли о его существовании. «Что ж такое, ни у кого нет денег, поиздержались. Врут ведь!» – потерянно бормотал он. И в десятый раз пролистывал засаленную записную книжку, перебирал визитные карточки.

Наконец блеснула надежда: кто-то пообещал выручить, велел позвонить на другой день. «Этот найдет! – Руслан Иванович глянул победно. – Такие дела с ним крутили! А до утра-то, может, вы мне одолжите?»

Назавтра Лузгин, бросив палку в прихожей, бодро устремился к телефону, с особой прилежностью набрал номер...

– Отключен или вне зоны действия, – недоуменно повторил он. – Как это вне зоны? Может рано, спит еще? Подождем. Чашка чая у вас найдется? И конфету.

Каждые пять минут он дергался, звонил, извелся сам и меня утомил, но телефон надежды из недоступной зоны так и не вышел. Сник Руслан Иванович. Грузное мягкое тело его совсем потеряло контуры, тестом сползало с табурета во все стороны. Я помог ему подняться и довел до квартиры. Там, осев в кресле, Руслан Иванович отдышался и потом сказал доверительным тоном:

– Для чего я ищу деньги, знаете? Через неделю мне стукнет семьдесят пять. Юбилей, правильно? Положено отмечать. В ресторан мне не доехать, так здесь хочу собрать небольшую компанию. Коллег, товарищей, кое-каких родственничков. Вас с женой тоже хочу пригласить...

Он внимательно посмотрел на меня, ища признаков радости и одобрения.

– Вот деньги-то и нужны. Без роскоши, тридцати тысяч бы и хватило. Не так, как прежде, конечно... Но все, знаете, по привычке к дорогим винам и коньякам, даром что на самогонке взрослые. Говорил «на леченье», чтобы потом пригласить сюрпризом. А вот видите... Так у вас-то, говорите, не найдется столько? На несколько дней?

Я обвел глазами квартиру и содрогнулся. Пол, столы, мебель – все было завалено бинтами, склянками, тряпками, останками еды. Раскиданные постели. Спертая вонь. Гостей ли принимать в таком гноилице? И приберется ли кто к тому дню? Да ведь и сам Руслан Иванович не мыт, не стрижен. И где же сын Денис? Помнит ли о нем внук?

За стеклом буфета я увидел несколько фотографий в рамках и подошел посмотреть. Молодой мужчина во весь рост в светлой летней рубашке, статный, крепкий, с модной прической рок-н-рольного идола, с широкой белозубой улыбкой... Не Руслан ли Иванович?

– Да, я это, – сказал он, заметив мой интерес. – Каков красавец? Где-то там, посмотрите, Марина Игнатьевна. Девушкой тоже была ничего...

Я посмотрел и на девушку, Марину Игнатьевну, скромную блондинку с простым, наивно-открытым лицом.

– Знаете, что мне иногда приходит в голову? – едва слышно молвил Руслан Иванович, может, просто подумал вслух. – Что жизнь проходит слишком быстро. Костюм вон не успел износить. И не стоит эта жизнь затраченных на нее денег. Совсем не стоит...

На другой день он снова пришел к нам и стал кому-то звонить, о чем-то просить, договариваться. Чувствовалось, что идея отпраздновать юбилей крепко засела у него в голове. Меня же заботило другое: как без обиды отказаться от приглашения, избежать посиделок в загаженной квартире, среди незнакомых и непонятных людей. Решили с женой исчезнуть на этот день куда подальше...

За два дня до объявленной даты, вечером, в дверь позвонили. Мы уж знали, что это Лузгин – у него была манера тяжело давить и мучить звонок пальцем, нетерпеливо постукивая при этом в дверь палкой. Он стоял, привалившись к косяку, и тяжело дышал. Глаза безумные, щеки горят.

– Зайти ко мне можешь? Надо поговорить, – объявил он без всяких приветствий и предисловий.

Пошли к нему. Лузгин свалился в кресло, мне показал на стул. Но я остался стоять.

– Надо позвонить в милицию, я прошу. Денис перешел все границы. Хамит, толкается, грозит убить...

– А где он сейчас? Дома?

Дверь второй комнаты была закрыта.

– Не знаю, здесь ли, а может, ушел.

– Ну чем вам поможет милиция? – Я пребывал в полной растерянности. – Надо самим объясниться с Денисом. Дождемся его. Хотите, я с ним поговорю?

Руслан Иванович как будто задумался. Голова его плохо держалась, сникала на грудь. С трудом поднял он мутные глаза.

– Не знаю, хотел в милицию, чтоб его взяли. А не возьмут? Еще больше рассвирепеет. Понимаю, что я ему надоел. Какая ему жизнь со мной? Но разве я виноват? Мне и жить-то осталось... Помру не сегодня-завтра. Поговори с ним, поговори, как придет.

Я было направился к выходу, но Руслан Иванович остановил.

– Поможете послезавтра стол собрать? Денег я достал немного, но все остальное... На вас надеюсь.

Вот так докука! И как толковать мне с Денисом? Встречался он мне пару раз. Мужик лет пятидесяти, хмурый, небритый, под мухой. Не здороваается. Разве такого пристыдишь? Но и полицию звать не мое дело. Что она сможет? Какой повод? Им бы разойтись друг с другом. Но куда? И как Лузгину одному? Иов без Бога – вот он кто!

Тяжесть на душе все сгущалась. Проходя мимо, я с тревогой взглядывал на дверь, думая, что за ней. И все соображал, как бы отговорить старика от ненужного никому застолья.

Лузгин не приходил, и я его тоже не беспокоил.

Наступил тот самый день. Мы с досадой и тревогой ждали звонков, но никто не звонил. Между тем за дверью становилось беспокойно, раздавались голоса. Кто-то ругался, что-то роняли... Стучали, но не в нашу дверь. Опять слышались крики. Потом стихло.

Под вечер нам таки позвонили. На площадке переминались люди в фуражках, офицер и несколько рядовых.

– В той вон квартире труп, похоже, убийство, – сказал офицер. – Ваши показания тоже потребуются, потом вызовем.

Приехали санитары, что-то большое поволокли в черном мешке.



НАД КУРОЙ ОНИ СИДЕЛИ

В ресторане, что в Метехи, высоко над Курой-рекой, свободных мест не было да и не могло быть. Но разве это остановит Дато Панквелишвили, для которого слова «нет» не существует, во всяком случае в Тбилиси! Ресторанный шеф тут же распорядился внести дополнительный столик, причем поставить его так, чтобы пришедшим открывался хороший вид на эстраду.

Дато принимал московского гостя, с которым вместе еще в советское время учились в московском экономическом вузе. С полученным дипломом Дато уехал к себе в Кутаиси, сильно там бедствовал без средств, без работы, наконец, в конце девяностых с одной небольшой сумкой поклажи вернулся в Москву, уже новую, лужковскую, барачную. К этому времени его друг Гусенцов сумел создать немалую разветвленную фирму, а потому легко помог однокурснику стать на ноги, организовать предприятие по сбыту чего-то, скопить капитал, достаточный, чтобы купить несколько шикарных квартир, а теперь строить гостиницу в Тбилиси, держать ресторан в Батуми, прибрать виноградники с собственным виноделием в Кахетии.

Как принимать столь дорогого гостя? Конечно, по высшему разряду – а значит в задушевной обстановке грузинского семейного застолья, с

ужинами в старинных дворцовых залах при певческо-танцевальных ансамблях и эстрадных звездах, а то и в обществе писателей, художников, артистов по выбору, с выездами на пикники в лучших нишах Алазанской долины и горной Рачи. Можно снарядить плот, заставить его столами для друзей, погрузить на плот музыкантов – и так с песнями сплавляться по Куре через весь город.

Все можно, но сегодня для неспешной мужской беседы (жены позволили им оставить себя дома) Дато выбрал этот ресторан, потому что он знаменит концертной программой с песнями и плясками многонациональной Грузии, причем на хорошем профессиональном уровне. Славится ресторан и хорошей кухней, и, само собой, настоящим вином.

– Видишь, какое многолюдье, и каждый день так, место надо заказывать за неделю, – сказал Дато, когда они уселись. – И это в большинстве – россияне. Если бы им не нравилось у нас, кто бы поехал?

Гость неспешно оглядывал большой, мест на двести, зал. Гусенцов был в том возрасте, когда молодость и прыть уже уходят, вместо них в фигуре, в осанке, в выражении лица появляется основательность и солидная серьезность. Одет он был легко, просто, держал во рту свои собственные, не заемные, зубы, а вместе с тем с первого взгляда можно было понять, что перед вами человек начальственный и богатый. Об этом говорили холеное, чисто выбритое лицо, его несуетное выражение, модные тяжелые очки с задымленными стеклами, темного загадочного камня перстень.

– У турок народ отнимаете? – наконец отозвался он на слова Дато.

– А зачем народу российскому к туркам ездить, если под боком братская Грузия? И русских здесь любят.

– Когда их уже нигде не любят? Договаривай, не стесняйся.

– Я сказал ровно то, что хотел сказать, Сергей Дементьевич, – примирительно проговорил Дато.

– Давай лучше выберем, что есть-пить будем.

Гусенцов поморщился и лениво махнул рукой:

– Снова есть-пить? Да бери, что хочешь, что себе, то и мне. Я по латинской пословице: в Риме веди себя как римлянин. В Грузии я грузин.

Тут же подлетел официант, за десять минут загрузил стол закусками, принес два больших запотевших кувшина – с белым и красным вином.

– Лучшие кварели и вазисубани, – шепнул он. – Какое налить?

Решили начать с красного кварели. Дато, взяв в руки фужер, превознес свою дружбу с дорогим Сергеем Дементьевичем, повстречаться с которым в жизни сам бог судил, назвал все замечательные душевные и деловые качества гостя, пожелал здоровья и многих лет жене и родителям, успеха и процветания его компании, так много делающей для счастья всех россиян. Гусенцов внимал с легкой улыбкой, не особенно вслушиваясь, как что-то дежурное, не заслуживающее внимания. За три дня, что он провел в Грузии, все словоговорения с неумеренными комплиментами и преувеличенны-

ми пожеланиями уже успели ему порядочно поднадоесть. Чокнулись, стали пить. Но гость, сделав небольшой глоток, поставил фужер.

– В Москве уже отвыкают, а до вас только дошла эта дикость, – недовольно сказал он.

– Что, что, о чем ты? Вино плохое? – встревожился Дато.

– Да разве поймешь, какое вино, если оно заморожено? Потрогай, как лед, не охлажденное слегка, как положено, а именно заморожено. И это в Грузии, где как нигде умели подавать вино. У нас тоже было начали все подряд замораживать: вино, коньяк, едва отучили. А тут...

Дато снова отхлебнул из своего фужера.

– Да, действительно! Почему-то считают, что людям нравится. Эй, дружище, Мамука! – позвал он официанта. – У вас все вино такое холодное? Можешь принести нормальной комнатной температуры? А то у меня гость горло боится застудить. Что делать, певец, знаменитый на весь мир. Узнаешь? У нас выступать будет в опере.

У Дато была своеобразная манера представлять друзей, выдавая их не за тех, кем они были на самом деле, чаще всего завышая по званию и должности. Вот и Гусенцов за эти дни уже был представлен в разных компаниях российским министром – один раз финансов, другой раз почему-то министром почт и связи, потом сенатором и ближайшим другом Путина и, что уже совсем никуда не годится, генералом ФСБ, реально ведущим всю главную работу по обеспечению рос-

сийской безопасности и вот теперь приехавшим устанавливать стратегические связи с грузинским руководством, конечно, при исключительном посредничестве самого Дато.

Вино заменили, даже фужеры поставили новые.

– Ну вот, теперь другое дело, – удовлетворенно молвил Гусенцов. – Твое здоровье, Павлович!

Дато любил, когда его называли по отчеству, в русском стиле. Он прожил в Москве лет пятнадцать, говорил почти без акцента, жил там поочередно с несколькими москвичками, но жену-грузинку не бросил и в Россию перевозить не стал, а наоборот сам вернулся в Тбилиси, где у него за это время подросли две дочери и от старшей уже родились внуки.

– Вот ты говоришь, Павлович, – продолжал гость, накладывая себе в тарелку сациви, – вот ты говоришь, что русских у вас в Грузии любят. Легко любить, когда человек приедет с деньгами, чтоб здесь их оставить и потом отчалить домой. А скажи, много ли осталось у вас русских на жительство? Вот это показатель! Еще скажи – есть ли у россиянина хоть малейший шанс завести здесь свое дело, как ты в Москве, да и тысячи ваших? И не дворниками работают. Можно мне, скажем, здесь хотя бы ресторанчик открыть, фирменный такой ресторанчик русской кухни под вывеской «Гуляй, Ваня!»? Что скажешь? Нам с тобой друг перед другом темнить нечего. Сам знаешь, мне интересно лишь на чистоту говорить.

Дато только усмехнулся на эти слова.

– Врать не стану, не продержится долго твой ресторанчик, даже если ты его назовешь «Заходи, геноцивале!» Нет, не сожгут – этого у нас теперь нет. Просто никто к тебе ходить не будет.

– Не нравится русская кухня?

– Не смейся, просто не пойдут и все. И знать не узнаешь, почему, кто не пускает, кто не советует к тебе заходить. Да, соглашусь, такого, как в России, у нас нет. Да и где есть? Вот ты, Дементьевич, со своими капиталами пробовал дело где-нибудь на Западе завести? Очень пустят? Хотели ваши миллионщики какие-то доходные производства купить в Италии, Германии, Англии – продали им? Нет, не продали. Игрушки, да, покупайте – замки, дворцы, яхты, омертвляйте деньги, просаживайте – тут конкурентов нет. А в дело – нет, не возьмут. Так и у нас. Страна маленькая, много бедных, а все гордые, все хотят стать богатыми. Это только у России широкая душа. Так выпьем за Россию, Сергей Дементьевич! Пусть у вас все будет хорошо, тогда и у нас будет хорошо. А эти все хмели-сунели, что сейчас творятся, пройдут же когда-нибудь.

Принесли шашлык-мцвади, дымящиеся хинкали, запеченную форель в гранатовом соусе. А доброе вино и у сытого человека пробуждает аппетит.

– Гаумарджос! – молвил в ответ Гусенцов. Ему когда-то сказали, что в Грузии достаточно в нужных случаях говорить «гаумарджос!» и все будут думать, что ты знаешь грузинский язык.

На сцене началось оживление, возникли музыканты, стали настраивать этнические инструменты

– пандури, дудуки, чибони, цинцилу, другие интересные штуки, а также аккордеон. Вышли певцы в красивых черно-белых чохах с газырницами и с булатом на поясе. И зазвучала «Сакартвело» – торжественная и печальная песня о родине.

– Вышли грузины в черкесках, заиграли лезгинку, – сказал смеясь Гусенцов.

Дато рассмеялся еще громче.

– Помню, помню, как ты вначале называл наши национальные особенности!

– А ты набычился: «Кто такие черкесы, кто эти лезгины, чтобы могли нам одежду свою дарить и музыку! Знать их не знаю, у нас все свое было, когда этих горцев и в помине не было». Всерьез разочлился. Я тогда еще подумал: «Смотри ты, характер! Надо с ним осторожнее».

Оба от души хохотнули. Сквозь смех, захлебываясь, вспоминали:

– А помнишь, как ты на первом курсе одного нашего студента, между прочим штангиста-тяжеловеса, напугал в кафешке, когда в споре за нож схватился?

– Ну да, а нож-то тупой, столовский, да еще в соусе. Ты мне тогда и говоришь: «Дато, что ты, этот нож для резни не годится. Сходи на кухню, возьми у повара настоящий, которым мясо разделявают». Я чуть не лопнул от смеха, еле сдержался.

– Но тому дураку хватило, больше не возникал.

– Какой там! Потом на меня боязливо косился, разговаривал вежливо. Пусть знают грузина!

– Ты и меня на первом курсе напугал. Помнишь, с нами на курсе училась Кизимова, чеченка или

лезгинка, бог ее знает. Милая, тихая такая девушка, скромная. Как-то стоим мы с тобой в коридоре, она подходит с кульком пирожков сладких и давай нас угощать. Я, конечно, взял, а ты в сторону отвернулся и будто не слышишь. «Бери, Дато», – говорит она. «Спасибо, не буду!» – отвечаешь ты, и так неприятно, сердито. Чего ты, спрашиваю, когда она отошла, зачем обижаешь девушку? «Они моих предков резали, грабить из-за хребта приходили, а я теперь буду с ней пирожки кушать!» Я аж поперхнулся. Вот, думаю, дает, а как же дружба народов!

– Да смеялся я, шутил, изображал свирепого кавказца. Неужели не понял?

– Ну и шутки у тебя были!

Разговор прервало объявление ведущего – и на сцену выбежали танцоры в темно-бордовых нарядах, в мягких сапожках. Мтиулури – танец Кахетии. Под стремительно-вихревую музыку мужчины метались резко, стремительно, соревновались, разбившись на группы, в ловкости, искусности движений, владении оружием. Девушки в ангельской белизне платьев легко и проворно кружились, примагничивая к себе взоры, вызывая споры и вихревые схватки джигитов. Потом хевсуры явились в черных костюмах, плясали с мечами и щитами в руках. Их танец – сплошная рубка, огонь, бой, в котором и шатаются от ран, и падают сраженными, и вновь поднимаются для победы и торжества. Но всякую схватку прекращает тихо и нежно вступившая на сцену женщина, бросившая между яростными барсами свой белый платок...

Наши друзья не усидели за столом, подошли ближе к сцене, смотрели стоя. И вернулись за стол только с объявлением перерыва.

– Хочешь, Дато, я тебе один умный вещь скажу, только ты не обижайся, – начал Гусенцов, берясь за налитый бокал, с интонацией комедийного киногероя. – Хорошо вот так сидеть, вино пить, хинкали кушать и смотреть, как перед тобой сваны и хевсуры поют и пляшут за деньги. И хорошо пляшут, чувствуется – все настоящее, с гор, из древности, освящено временем. Только ведь, пойми меня, не для этого те песни и танцы слагались. Ими звали на бой, прославляли героев, родное гнездо, оплакивали павших. В час беды звучали они и в час торжеств. Не зря ведь все танцы с оружием в руках или на поясе – потому что, отплясав перед своими стариками и женщинами, показав им свою удасть, уходили за перевал сражаться и умирать. И вот здесь, в ресторане, среди сытых, хмельных людей... все это изгаживается, меркнет. Это, извини, как бисер метать... Посмотри, сколько пьяных, налитых... Им бы что-нибудь простенькое под винцо. А тут гимны, эпос, история – на продажу, на панель, потому что так выгодно хозяину ресторана. У него национальной гордости нет. И все гибнет, стирается, превращается в эстрадные номера, в эти... как их? В шлягеры и еще хуже. Понимаешь ты меня?

Дато потянулся к другу, ласково приобнял его за плечо.

– Уважаю я тебя, Дементьевич, за то, что ты вот всегда так серьезно обо всем думаешь. И гово-

ришь откровенно. Это мне нравится. Но, знаешь, расслабляйся ты иногда. И с лошади хомут снимают, чтоб побегала, порезвилась. Что плохого, если люди на танцы наши посмотрят? Где они их еще увидят? У нас всегда на свадьбы, на любой праздник певцов и танцоров приглашают. Оттого и не забыты эти песни.

А тем временем на сцене произошла полная ротация – народных музыкантов сменили эстрадные, вышла раскрашенная певичка и началась обычная ресторанная мура, одинаковая в Москве и в Одессе, в Сочи и в Тбилиси. Круг перед сценой заполнился танцующими. В перерывах между номерами ведущий оглашал поздравления с днем рождения «дорогого гостя из Москвы», «уважаемого Гиви», «красавицы Софики». После каждого объявления звучала, простенькая, как чириканье, песенка *Happy Birthday to You*.

Послушали, помолчали, поели. Но вскоре Гусенцова потянуло к прежнему разговору.

– Вот ты говоришь, Павлович, что Грузия одним туризмом спасется, все у нее для этого есть: природа, древности, национальный колорит, чистый воздух – и можно безбедно прожить без промышленности, науки, без животноводства и интенсивного земледелия, чтобы не загрязнять землю. Хорошо! Но есть тут один деликатный момент. Сами не заметите, как из нации земледельцев и мастеров, художников и ученых превратитесь в ораву официантов, лавочников, горничных и всякую другую службу, включая проституток – спрос

рождает предложение. И что останется от грузинской мечты? Какие песни станете петь? Исчезнет самоуважение, любовь к старине, к церкви, вместе традиций – бутафория, подделка, характер народа измельчает. Ты видел это сам в некоторых странах – жалкое зрелище! Конечно, официантов или прислугу в гостинице можно нарядить в хевсуров с кинжалом и патронташем, но в душе-то они будут лакеями, готовыми на все ради чаевых. Ты думал об этом?

Дато наливал вино и лишь добродушно буркнул в ответ:

– Зачем мне думать, дорогой, когда ты о нас думаешь!

Чокнулись, на этот раз почему-то с жадностью осушили бокалы до дна. А со сцены снова звучало *Happy Birthday to You*.

– Вот скажи, – Гусенцов кивнул на эстраду, – почему с днем рождения надо поздравлять по-английски? Что, своих песен нет, уже забыли? Вот и началось то, о чем я сказал. Национальное уходит, заменяется чипсами. Кстати, какой песней раньше в Грузии поздравляли именинников?

Дато остановился закусывать и с пирогом в руке уставился на Гусенцова.

– Э, в самом деле, какой? – растерянно проговорил он. – Я что-то забыл, давно не был на именинах. Эй, дорогой, Мамука!

Подошел официант.

– Мамука, не знаешь нашей грузинской песни, чтобы поздравить с днем рождения?

Тот картинно задумался, подняв глаза к потолку.

– Нет, не припомню.

– Тогда вот что, – распорядился Дато. – Пойди к эстрадникам, скажи, чтоб сыграли моему гостю грузинскую песню-поздравление. Только чтоб настоящую, старинную, не буги-вуги! Грузинскую! Вот передай.

Он сунул в руку Мамуки красивую дорогую бумажку. Тот ушел, видно было, как он долго что-то объяснял музыкантам, потрясал руками. Вернулся:

– Не знают, говорят, не играют. Могут исполнить «Миллион алых роз».

– Пошли они знаешь куда! – вскипел Дато. – Какие они грузины!

Он схватился за телефон, кого-то вызвал, стал шумно говорить, почти кричать по-грузински, при этом «день рождения» повторяя на русском.

– Обещали узнать, – сказал, бросая телефон на стол.

Минут через пятнадцать ему позвонили.

– Так, узнали? Как, как называется? Хорошо, будь на связи, расскажешь сейчас музыкантам.

Официант отнес телефон на эстраду. Ведущий взял аппарат, слушал, кивал головой. Мамука вернулся с улыбкой.

– Обещали узнать, разучить.

Дато стал совсем хмурый, насупился.

– Ничего не умеют. Вот грузины! Пойдем лучше подышим, на город посмотрим.

Они вышли из зала на просторную веранду. На улице уже стемнело, веяло нежной прохладой. По-

дошли к баллюстраде. Внизу, метрах в трехстах, чернела река, за нею освещенной стояла скала с Метехским храмом и конным памятником. Дальше блестела живыми движущимися огнями машин набережная, еще подальше – озаренная Мтацминда с телебашней.

Удивительно, что в такой жаркий вечер на веранде никого не было. Мамука вынес им кувшин с вином, бокалы, виноград, поставил на столик.

Не хотелось ни о чем говорить больше, только смотреть и смотреть на лежащий внизу город, на выступающие из темноты древние его улицы и храмы. И молча, крупными глотками пить вино.



РАССКАЗ В СТИЛЕ ФУЭТЕ

Осенью, едва открылся сезон, Москву потряхнуло. В Театре на балетном спектакле в конце первого действия танцор Пробежкин уронил партнершу со всей высоты поднятых над головой рук. Кончакова стукнулась бедром, не смогла продолжать танец и, прихрамывая, уковыляла за кулисы. По бедру расплылся синяк, балерина стонала, капризничала и решительно отказывалась выходить на сцену, несмотря на ясно выраженные сожаления администратора и самого виновника. Стали искать замену, та примчалась, но на всю канитель ушло больше часа, так что спектакль был, как говорят в театрах, «решительно исперчен».

И это бы еще ничего. Но вышла огласка: в театр набежали репортеры, и Пробежкин заявил одному из них в свое оправдание, что Кончакова стала неподъемной, что с такой фигурой не в классическом балете, а в кабаре плясать, что все ее партнеры измучились от непосильных нагрузок и что лично он будет просить не ставить его больше в пару с ней. Пробежкин, конечно, не сам собой осмелел – в театре давно были недовольны Кончаковой, а худрук Стоеросовас, выписанный года три тому назад из-за границы, искал повод избавиться от заносчивой девицы, мало почитавшей, как ему мнилось, его талант постановщика и не разделявшей его новаторских устремлений.

Кончакова в долгу не осталась. Она воображала, что все еще пребывает в лучах славы, что публика носит ее на руках и не уронит, как тот растяпа, а поддержит и защитит в любом споре, хотя бы и с самим Стоеросовасом.

Балерине охотно предоставили время на телевидении. А крупным планом Кончакова, следует признать, еще пригляднее, чем на сцене. Чистое удлиненное лицо, рыжие волосы, полные губки, а главное, распахнутые желто-янтарные, тепло светящиеся глаза делали ее неотразимой. Говорить и держаться перед объективом танцовщица тоже умела. Интервью получилось оглушающе звонким. Пройдясь всего одной-двумя фразами по обидчику («у него же ноги козлиные дрожат и руки от бессилия мокрые!»), Кончакова взяла театрального быка за рога.

— Почему-то никто не смеет видеть, что происходит в театре с приходом Стоеросоваса. Он же губит его! Вот он-то как раз и превращает театр в кабаре, да нет, хуже того, в кабак со стриптизом. «Онегина» видели в его постановке? Там же гости Лариных все перепились, бьют посуду, валяются на полу, мочатся в угол. Ольга вскакивает на стол канканировать, а Онегин с Ленским на дуэли не стреляются, а хлещут друг друга жареным гусем. Стоеросовас этот — и что вы с ним носитеесь? — ненавидит все русское, Чайковского презирает, сладкая, говорит, вода на киселе, а ставит, чтобы обгадить. На гастролях в Дании мне так и говорили: «Теперь мы понимаем, почему Пушкина

вы убили». Мы убили! Да и новаторство у Стоеросоваса липовое, ничего не стоящее, хохма пустяшная, балаган. На Ромео и Джульетту джинсы напялил, по мобильникам треплются, пиво из жестянок пьют, Ромео под балконом Джульетты мастурбирует – много ли ума надо придумать? А рецензенты как сговорились: «Смело! Современо!» На Дездемону зазвал старую толстую негрятянку из Америки, а Отеллой назначил белобрысого Тринько, тщедушного, чтобы все кувырком. Эта негрятянка-Дездемона в конце душит Отеллу из ревности. А Яго – агент то ли Коминтерна, то ли нынешнего ФСБ, не разобрала. Но инструкции из Москвы получает, у него задание организовать Венецианскую народную республику и отделить ее от Италии. И опять в прессе сопля-вопли! Чем дурнее, тем смешнее. А уж что творится в театре за кулисами – и не расскажешь: сексотство и проститутство. Вот такой хотя бы случай...

На другое утро Даля Кончакова проснулась с острым ощущением славы. Шесть лет блистала она в балете и заслужила несколько невнятных рецензий, тупых отписок в специальных газетах и журналах, которые никто не видит и не читает. А тут! Не было, кажется, ни одной газеты в Москве, чтобы не поместила изложение интервью с ее фотографиями. С телевидения посыпались предложения поучаствовать в ток-шоу – в одном, в другом, в третьем. Стоеросовас перестал здороваться, при всех объявил ее «непожатнорукой» (словцо в Москве подхватил!), снял с «падучей» роли и посоветовал сесть на

диету. Зато к опальной балерине тут же подкатили продюсеры из театра «Вертеп», ставившего «альтернативный балет», эротически полнокровный и сочный, в противовес «тощему и фригидному». Рената, конечно, понимала, что после такого, прости господи, театра вернуться в классику будет сложно, но и другого не оставалось. Стоеросовас откровенно ее выживал, в травлю включились товарки, вахтер и тот гусаком шипел вслед. А «Вертеп» за нескудное искусство ножками помахать предлагал жалованье в пять раз больше прежнего. И пришлось перенаряжаться, пуанты менять на шпильки, пачку – на разноцветные трико и юбочки из перьев.

Зато пляски в «Вертепе» давали возможность блеснуть моделью на подиуме в Париже, поохотиться на балетоманов с финансовыми авуарами во всесезонном сафари. Столько вокруг всякого добра – денег, бриллиантов, ресторанов, вилл, замков, островов, и ничегошеньки не стоят: улыбнись и бери. Один наряжает Ренату византийской царицей в тяжелой золотой парче, в венце и соболях восседает она на троне – только бы ему ползать у ее ног, исполнять капризы, глядеть по-собачьи в глаза, получать ее ножкой пинки. Другой купает в ванне, доверху наполненной розовым жемчугом. Третий соблазняет кругосветным плаваньем на собственной яхте, космическим полетом, совокуплением в условиях невесомости. Кончакову называют теперь «балерина плюс», она кандидат в мэры Москвы, она начинает петь, затмевая, по словам рецензентов, прежних эстрадных звезд. Столица возбуждается от

слухов: «Беглый олигарх купил Кончаковой Главный театр. Стоеросоваса буквально вынесли за дверь и бросили в грязь. Кончакова берет на себя художественное руководство театром».

Вздор! В «Вертеп» является Инцертов и обещает перевернуть весь балет. Он только что из-за границы. Он знает, как надо. Кончакова тоже знает, что надо, чтобы приручить дерзкого патлатого юношу и остаться царицей. Увы, Инцертову от нее ничего не нужно. Он любит женственных юношей и тощих уродливых девиц с кривыми ножками-спичками. На репетициях теперь адреналиновая музыка, модная мультипликационная пластика. Звучат команды «стреляйте ногами!», «завязывайся узлом!», «меняй зад на перед!», «вывихивайте суставы!». Костюмы – фантазии на темы гермафродитов: она – в черных чулках, но без трусов и бюстгалтера, он – в короткой розовой юбочке. Вертеп превращается в Содом. Красавице Далии в нем нет места.

От тоски она принимает приглашение поклонника поехать с ним на безлюдные острова приаравийских морей. Продюсеры советуют ей устроить там как можно более откровенную фотосессию, чтобы предстать перед миром в облике выходящей из вод новой Афродитой, способной взбить ножками любую пену. Вместе с любовниками на остров высаживается лучший фотохудожник столицы.

На бескрайних белых пляжах страны Махайон проводят время ищущие уединения редкие мизантропы-миллиардеры да природные шейхи. Здесь поющие пески, недвижные пальмы, гуляющие у

водоемов павлины и серны, вечерами в ресторане тягучие знойные песни и воинственные пляски бедуинов. Спиртным же нельзя подсластить жизнь – только кальян, зеленый чай и щербет.

Но какая нега валяться на белом песке! Купаться на драгоценных камнях и многоцветных раковинах, половина которых с жемчужинами! Ощущать себя в джаннат – первозданном раю! Но как легко его потерять, даже не успев вкусить манящих плодов! Едва Далия обнажилась для съемки, только стали придумывать для нее соблазнительные позы, как на пляже возникли, словно из-под земли, джинны, представившиеся службой охраны трезвости и целомудрия.

Далия надеялась, что их вышлют из страны Махайон со скандалом, лучше, если международным. Самое превосходное, чтобы ее по закону шариата отхлестали на площади плетью – то-то было бы торжество, шумиха, протесты парламента и департамента, всемирный вой правозащитников, громыханье политиков, показ по всем существующим в мире телеканалам и возвращение с невиданным триумфом в Москву! А там уж поездки, каскад турне, мировые столицы, пресс-конференции, съемки, приглашения, приемы, собрания и банкеты в ее честь, мемуары, фильмы, гонорары, премии...

Но правитель страны шейх Зийаб ибн Шахбут аль-Махайон решил по-другому. Когда к нему пришли с докладом, он брезгливо отодвинул принесенные снимки и молвил: «Всевышний каждому дал глаза смотреть, но в благодати своей дал и веки».

АРМУЛЛА

Детская память не могла не сохранить это необыкновенное имя. Армулла возвращался поздней ночью, когда я уже успевал наполовину выспаться и просыпался от ожидания. И он приходил, словно являлся из сна. Раздавался тусклый стук пальцев по стеклу, его голос: «Миша!»

– Иду, иду! – откликнулся отец.

Загоралась под потолком лампочка. Я отворачивался к стене, прикидываясь спящим, потому что входя Армулла обычно спрашивал обо мне.

– Заснул, – отвечал отец. – Ужинать будешь?

– А, Миша, какой сейчас ужин, спать надо.

Отец снова ложился. Армулла плескался над тазом, скрипел пружинами кровати, стягивая сапоги. Потом выключал свет.

Но так было не всегда. Иногда он спрашивал отца:

– Ну как, спать будем или побеседуем?

В его голосе слышалась просьба. И мне хотелось, чтобы отец согласился. Да он никогда и не отказывался.

– А что, я ведь почти выспался. Давай побеседуем, до утра еще далеко.

– Я сегодня с добычей, Миша, – голос Армуллы теплел. – Смотри, полная бутылка. Что, печка потухла? Давай плитку включим.

Они садились к столу – отец, как был, в нижней рубаше и кальсонах, Армулла в форменных своих штанах и выцветшей серо-голубой фуфайке. Он служил швейцаром-вышибалой при вокзальном ресторане. Все его там знали, посетители подносили со столов «по маленькой», задабривая на всякий случай. Но на службе Армулла не пил, дружбы ни с кем не водил. Он сливал водку «в карман», где держал бутылку, объясняя:

– Ладно, дома за твоё здоровье выпью, ладно.

Армулла презирал свою службу и привязчивых посетителей, но от водки и денег не отказывался.

– С тобой, Миша, выпью. На душе опять сволочь сидит.

Они выпивали, скворчала на сковородке какая-то еда. Начинался разговор.

– Сегодня полковника милиция взяла, – говорил Армулла. – Страшно ругался, посуду бил.

Полковника в городе многие знали. Говорили, что раньше он жил в Москве, служил после войны чуть ли не в генеральном штабе, а пропал из-за жены. Она связалась с молодым офицером и что-то такое наболтала про мужа, что его арестовали, несколько лет продержали на севере, а потом прислали на жительство в сибирский наш город. Тут он и кипел в своре таких же потерянных и вечно пьяных людей. Все имущество полковника заключалось в стакане, в простом граненом стакане, которого обычно не оказывалось в нужную минуту у мужичков, «соображающих» вокруг рынка или в привокзальных посадках. Заметив группку

из трех-четырёх человек, полковник подходил к ним, солидно справлялся:

– Что моргаете, посуды нет что ли? Держите.

Стакан возвращался хозяину наполненным наполовину, а то и на две трети:

– Спасибо, услужил, выпей!

Полковник принимал угощение и шествовал дальше, тощий, обтрепанный, а все же хранящий и в лице, и в осанке следы командирства и всей былой жизни. Вечерами случайные собутыльники вели полковника под руки, а он пел или матерился. Нередко же просто оставался валяться где-нибудь до утра.

Армулла осуждал такое пьянство.

– Свинья! – завершал он свой рассказ о полковнике. Хуже слова не знал. Еще – сволочь. Этим словом он называл жену.

Ее имя тоже сбереглось в памяти. Гуля была демоном и проклятием Армуллы. Я знал, что он живет, дышит и терпит лакейскую службу затем только, чтобы когда-нибудь вырваться на волю, достичь турецких берегов и там в Стамбуле зарезать Гулю.

– Будь у меня крылья, Миша, – говорил он, захмелев, – день и ночь бы летел отсюда, будь проклят этот город, пешком, босиком бы шел, зимой и летом, только чтоб добраться, дотянуться до них... Горло бы ей перегрыз!

Однажды я видел, как Армулла рыдал и скрежетал зубами. Широкое, скуластое, бледное лицо его хищно и жалко морщилось, на седых стриженных

усах блестели капли – и он глотал их. И страшно, до хруста сжимал костистые кулаки.

– Брось ты, Армулла, доконаешь себя, – говорил отец. – Столько лет прошло. Надо и ее понять.

– Нет, Миша, нет! – мотал головой Армулла. – Ты не знаешь наш закон. Наш закон не прощает измены. Она должна была подыхать с голоду, состариться, но пока жива, ждать меня.

– Откуда ей знать, вернешься ли ты.

– Все равно, все равно! Пока не сообщат о моей смерти. Но и тогда ждать. Я ее взял девчонкой, почти с улицы. А ты знаешь, как я был богат? И сейчас в Стамбуле спроси – наш дом все знают. В Бейруте и Дамаске, в Александрии и в Марселе держали в гостиницах на мое имя номера. О, я был очень богат! Я окончил Стамбульский университет, знал пять языков. Зачем только я поехал сюда!

Потом, когда я стал постарше, отец рассказал мне о злосчастии Армуллы. Его пятнадцатилетним мальчишкой родители увезли из Крыма в Турцию в двадцатом году, перед вторжением красных. Там его отец нажил каким-то образом, как говорят турки, большие сундуки. Армулла выучился, знал кроме татарского и русского, турецкий, арабский и немецкий языки, ездил с делами по всему свету, бывал в Китае и Японии. И все же всеми силами души стремился вернуться на родину, в Крым, в Советскую Россию. В середине тридцатых годов ему удалось это сделать. Вернулся Армулла с молодой женой турчанкой Гульей. Но все сложилось не так, как он ждал. В новой жизни в Крыму он растерял-

ся, не нашел себя. Советские порядки сначала его удивляли, потом угнетали, в конце концов озлобили и устрашили. Но назад пути не было. Во время войны он пошел в переводчики к немцам.

После войны тогда прошло девять или десять лет. И мне было столько же – девять или десять лет. И потому мне казалось, что война была когда-то очень давно. А для старших она была недавно.

– Я был толмачом, – горестно восклицал Армулла. – Я не сделал ничего плохого, не стрелял, никого не убил. Да и нельзя было отказаться. А со мной потом поступили, как с врагом. Ладно, может быть, так и надо. Я десять лет рубил лес, я за все ответил сполна. Но почему меня не выпускают сейчас? Почему?

Пока Армулла отбывал в лагере срок, Гулья с ребенком уехала домой в Турцию. Армулле написали, что там она вышла замуж за его двоюродного брата. Кровную месть изменившим ему людям считал он теперь своим долгом и предначертанием на все оставшиеся ему дни. Без отмщения не будет ему покоя ни этом, ни на том свете.

Я мало что понимал тогда, но сердцем чувствовал всю ярость и боль истерзанной гордой души, что-то роковое, древнее, вечное содержалось в ночных воплях. Наверное, Армулла ощущал себя зверем в клетке, нет, скорее степным орлом, некогда вольным и сильным, перед лицом мучителей и дразнил. Он задыхался в захолустном сибирском городишке в лакейской форме, в толчее чужих, презираемых им людей.

– Тебе хорошо, Миша, вспоминать свою жену, – хрипел Армулла в слезах. – Она умерла, но ты ее любить можешь, жалеть. А мою обиду только кровь смое.

Не об оставленном богатстве, не о напрасно истраченной жизни жалел Армулла, а только о невозможности выполнить предназначенного ему судьбой. Когда он успокаивался, то начинал рассказывать о Стамбуле, о Египте и Сирии, о городах и базарах тех дивных стран, о людях, с которыми приходилось встречаться. Для меня его рассказы, пересыпанные золотыми именами и названиями Востока, звучали сказкой «Тысячи и одной ночи». Сам звук его голоса – гортанного, с тягучими вздохами, причмокиванием и цоканьем – завораживал и будил воображение. Хотя временами я и пугался его настоящим испугом.

Хорошо запомнился один вечер. Было это осенью. Мы с отцом ужинали. На улице шел дождь – и с потолка во многих местах капало. Комната, которую мы снимали вместе с Армуллой, была заставлена тазами и кастрюлями. На полу стояли желтоватые лужи. Мы не управились с едой, как отвалившийся с потолка кусок штукатурки плюхнулся на стол, обдав нас грязью.

Потом пришел Армулла. Суровый, насупленный, он только мотнул головой и молча улегся на свою кровать.

– Ну как, был там? – спросил отец.

– Шайтаны! – выдохнул Армулла и отвернулся.

Все стало ясно: ему снова отказали в выездных документах, которых он добивался. Ночью я слы-

шал, как Армулла стонал и плакал во сне, быстро и яростно говорил по-татарски.

Как, почему мы оказались в одной комнате с Армуллой, я уж не помню. То ли отец пустил его к себе жить, или, наоборот, он нас позвал. Вместе мы обитали, кажется, с полгода. Потом мы уехали.

Армулла советовал отцу ходить по начальству, настойчивее просить:

– Тебе должны дать какое-то жилье. Мальчик у тебя, должны дать. А я, видно, так и сдохну здесь, как собака.

Но отец придумал совсем поменять свою жизнь и уехать из города. Армулла вышел из своего ресторана проводить нас. Он стоял на платформе в своем мундире с галунами, в сапогах, в фуражке с околышем и казался из вагона еще ниже ростом, совсем старым и некрасивым. Помню, я рад был, что больше мы не будем с ним жить вместе.

Отец же не сводил с него глаз и без всякой веры повторял в приспущенное окно:

– Прощай, Армулла, даст Бог, еще встретимся.

Когда поезд двинулся, Армулла по-военному вытянулся и взял ладонью под козырек. И сколько я мог его видеть, так и оставался застывшим, улетающая назад вместе с перроном, вокзалом и всем, что бы ни было в том городе.



ГОРЧИЧНОЕ ЗЕРНО

Поздним осенним вечером спешил я к приятелю на ночлег. А жил он на городской окраине за железной дорогой. Неосвещенные переулки, грязные подворотни, лихая шпана – туда и в светлое время суток не всякий отваживался. Но мне тогда выбирать было не из чего.

Доезжаю до вокзала, выхожу на безлюдный перрон. Можно махнуть через пути, но на той стороне колдобины с лужами. Так лучше пройти до конца освещенного перрона, а потом уж спускаться в темень и грязь. И вот, чую, следом за мною увязались. И точно ведь – двое. Как я их заметил спиной, не знаю, но разглядел все подробно: оба повыше и покрепче меня, в темных куртках, руки держат в карманах.

Я иду – и они следом, не отставая и не сближаясь. Я молчу – и они молчат. Между тем светлого пути остается немного, три фонаря, дальше – тьма. Надо что-то предпринять, на что-то решиться. Повернуть назад к вокзалу? Ну а потом? Да и пропустят ли они назад? Идут ведь не просто так – по мою душу идут, это ясно.

Вот еще фонарь, а там все, последний. В темноту ступать с этими двумя за спиной нельзя, никак нельзя – пропадешь. Вон карманы их курток оттопыриваются от тяжелых кулаков, а, может, и от кассетов. Что делать? Броситься бежать? Нет, догонят.

Закричать? Бесполезно – от вокзала уже далеко, рот зажмут. Вот и последний фонарь, а там – конец.

И тут на меня нашло. Лучше сказать – снизошло. Да ведь точно – не сам же я придумал, сверху упало. То самое – зерно горчичное, передвигающее горы. Встаю я под фонарем и поворачиваюсь к преследователям лицом. Останавливаются и они, шагов за пять.

– Подойдите-ка! – говорю им. Да ведь как говорю-то, сам себе удивляюсь – спокойно, властно, сильным голосом, как власть имущий.

Мнутся малость, но подходят.

– Ближе, ближе! – распоряжаюсь я по внезапному вдохновению.

И вот как бы в полете, вдруг, негаданно, осеняю крестом голову рядом стоящего, возглашая громко в ночи:

– Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа!

Сую пятерню ему под нос. И – чудо! Парень послушно клонит голову и прижимается к руке губами.

– И ты, сын мой! – велю второму.

Вдохновенно крещу и его, протягиваю тыльной стороной ладонь. Прикладывается и он.

– Ступайте с миром, откуда пришли! – говорю теперь строго.

Парни разворачиваются и двигают обратно к вокзалу.

– Поп что ли? – доносится до меня.

– А кто его знает, с бородой, – неохотно откликается второй.

Я спускаюсь с перрона и, никого не страшась более, спешу к ночлегу.

ПОЭТ И ПАДИШАХ

Вместо коня время дало мне посох.

Фирдоуси

С старейшее и самое достоверное известие об этой поучительной истории, случившейся у поэта Фирдоуси с шахом Махмудом Газнави, встретилось в манускрипте Та'рих-и Систан («История Систана») – чрезвычайно богатой фактическим материалом местной хронике, написанной на персидском языке не позже XIV века. Вот как говорится в этом почтенном документе: «Он (Фирдоуси) читал ему сочинение несколько дней. Махмуд сказал: «Все «Шах-наме» ничто, кроме сказания о Рустаме, а в моем войске тысячи таких Рустамов». Он (Фирдоуси) ответил: «Да будет долгой жизнь государя! Мне неизвестно, сколько в его войске таких мужей, как Рустам. Знаю одно, что Всевышний больше не сотворил для себя ни одного раба, подобного Рустаму». Это сказав, низко поклонился и ушел. Царь Махмуд сказал везиру: «Этот простолюдин намеками назвал меня лжецом». Везир отвечал ему: «Его надо убить». Но сколько ни искали, не нашли. Сказав так, загубил он свой труд и, уйдя, никакой награды не обрел, покуда не скончался на чужбине». Сочинитель «Истории» (имя его знает Всеведущий) заключил отрывок о поэте словами: «Если рассказывать

здесь о каждом, то мы не достигнем своей цели. И все это известно миру».

Ничего себе – «о каждом»! Вот такое легкомысленное, если не сказать непочтительное, отношение автора Та'рих-и Систан к великому поэту всех времен Абулькасиму Мансúру Хасáну Фирдоуси Туси, названному людьми хакимом (мудрецом) еще при жизни. Что же за страна такая – Систан (или, у арабских географов, Сиджистан), и почему оказался поэт в этой стране, что теперь разделена между Ираном и Афганистаном? Наш источник сообщает, что там постоянно дует прохладный северный ветер. Благодаря умеренности и приятности климата систанцы умнее и проницательнее, чем жители других местностей.

Вот в этот край и прибыл поэт Абулькасим Фирдоуси из своего родного и довольно захолустного тогда города Тус. Прибыл, чтобы явить свой тридцатилетний эпический труд «Шах-наме» (Книгу Царей) Махмúду Газневи, тюркскому эмиру, ставшему в 998 году падишахом основанного его отцом Себук-Тегиним государства Газневидов. В результате завоевательных походов под флагом джихада против неверных шах Махмуд подчинил своей власти Восточный Иран, южную часть Средней Азии, Хорезм. Прославился опустошительными походами на Индию. Тысячи захваченных и доставленных в столицу Газневидов индийских и иранских ремесленников украсили город Газни искусными архитектурными сооружениями и восточной роскошью. Махмуд покровительствовал наукам и ис-

кусствам. Одних только поэтов, говорят, обитало при его дворе около четырехсот. Здесь нашел признание и приют великий ученый-энциклопедист Аль-Бируни.

Приехав в Газну, Фирдоуси встретился с знаменитыми поэтами шахского двора: Унсури, Асджади и Фаррухи. Увы, имя Фирдоуси было им не известно. «Давай устроим поэтическое состязание, – предложили они. – Каждый из нас скажет одну строку стихотворения. Если пришелец сможет сочинить достойную четвертую строку, мы позволим ему находиться среди нас». Фирдоуси согласился. По когтям узнают льва. По одной строчке поэты признали Фирдоуси равным себе и повели его во двор Махмуда. Фирдоуси вручил тому «Шах-наме» и прочитал посвящение, восхваляющее славу и мудрость падишаха. Согласно легенде, шах обещал заплатить за каждое двустишие (бейт) «Шах-наме» по золотой монете, всего 60 тысяч золотых. Поэт, всю жизнь страдавший от унижительной бедности, уже представлял груды золота и свою почтенную обеспеченную старость. Когда же прибыл шахский караван и стали развязывать мешки, оказалось, что они наполнены не золотом, а серебром. Вместо солнечного горячего золота дали поэту лунное холодное серебро. Оскорбленный Фирдоуси раздал деньги частью своему банщику, частью вожатым каравана, а оставшиеся – нищим на базаре. Шах понял поступок поэта как насмешку и приказал казнить его, бросив под ноги слону.

Но дело было, конечно, не только в золоте. Фирдоуси по вере был мусульманином-шиитом. Узнав об этом, Махмуд с угрозой стал требовать, чтобы он отказался от шиизма. Фирдоуси ответил султану стихотворением:

*Секирой палача свободу одолев,
Ты пса во мне искал. Но пред тобою – лев!*

(Перевод И. Сельвинского)

Пришлось Фирдоуси бежать из владений Газневидов. «Фирдоуси хорошо знал жестокость Махмуда, – пишет поэт и летописец 12-го века Низами Арузи. – Поэтому он ночью ушел из Газны... шесть месяцев скрывался, пока посланцы Махмуда искали его в Тусе. Лишь после долгих скитаний Фирдоуси смог вернуться на родину». И возобновить свою работу над «Шах-наме».

Непревзойденная эпическая поэма, прославившая Иран, его богатырей и властителей на весь мир, не принесла поэту ни славы, ни даже простого достатка. Старость великого хакима прошла в нищете. Тогда он и сочинил горькие строки:

*Вместо коня время дало мне посох.
Мои глаза и ноги совсем ослабли,
Несчастье и годы забрали мои силы.*

Всякая история хороша своим окончанием. Тот, Кто знает все наперед, не мог оставить биографию

великого поэта и мудреца без славы и вознаграждения, хотя бы и посмертной.

Рассказывают, что султан Махмуд случайно в походе услышал от своего визиря ходжи Ахмеда Хасана Мейманди стихи удивительной силы и красоты. Он спросил имя автора. Ходжа в ответ назвал ему Фирдоуси. И тогда властитель вспомнил свой неблагородный поступок и ему стало стыдно. По возвращении из похода, как повествует Низами Арузи, султан приказал отсчитать из казны 60 тысяч золотых динаров и отвезти их Фирдоуси вместе с другими дарами в виде дорогой посуды и расшитой золотом одежды как вознаграждение за посвященную ему книгу. Да еще и попросить прощения у поэта. Царский караван отправился из Газны в Тус. Однако Фирдоуси не суждено было получить вознаграждение за свой огромный труд при жизни: в то самое время, когда шахские верблюды с дорогой поклажей входили в город через ворота Рудбар, через другие ворота Разан из города выносили носилки с телом Фирдоуси.

Вот еще что написал об этом Низами Арузи: «Говорят, у Фирдоуси осталась дочь, чрезвычайно достойная. Дары султана хотели вручить ей. Она не приняла их и сказала: «Мне не нужно». Посланцы доложили об этом шаху. Он повелел: пусть те дары потратят на постройку караван-сарая на пути из Нишапура в Мерв».

Казалось бы, можно и поставить точку. Больше ничего примечательного о Фирдоуси не найти в достоверных и правдивых записках тех вре-

мен. Но те из мудрецов, кто читает Книгу Жизни поверх манускриптов и хроник, знают и то, что скрыто от простых людей за видимым горизонтом. Доводилось слышать: султан Махмуд, узнав от вернувшихся караванщиков, что они не смогли выполнить его поручение, сначала впал в гнев, а затем в глубокую печаль. Он осознал, что из-за собственной глупости войдет теперь в историю жалким обманщиком и недостойным тираном. И это навечно, навечно! И таким суждено ему предстать перед лицом Господа. И люди тысячу лет буду читать «Шах-наме» – и тысячу лет вспоминать, как он, Махмуд, пожалел великому поэту пару мешков с презренным металлом. И никто не вспомнит его, Махмуда, великих побед и завоеваний, его построек и несметных богатств.

В отчаянии султан погнал караван обратно в Тус с приказанием во что бы то ни стало найти Фирдоуси или его могилу, чтобы зарыть золото хотя бы в землю. Но и этого не смогли исполнить слуги: могилы поэта на городском кладбище не оказалось. Обезумевший шах счел это доказательством того, что поэт жив и лишь по-прежнему в страхе прячется от него. И он велел усилить поиски по всему миру.

Посвященные рассказывают, что караван до сих пор, вот уже тысячу лет, ищет Фирдоуси, чтобы вручить ему золото шаха Махмуда Газневи. В том мире, где все, что случилось, продолжается и сейчас и будет длиться без окончания в будущем,

где нет прошлого, нет будущего, а только одно настоящее – в том мире всегда будут искать умирающего и вечно творящего поэта, чтобы вручить ему золото и покончить наконец с этой историей. А что нам сказать в заключение? Воистину, знающий показывает на небе звезду Альдебаран, а незнающий видит только палец.



СОДЕРЖАНИЕ

ШЕСТЬ ДНЕЙ МЕСЯЦА АВИВ	
<i>Повесть параллельной жизни</i>	3
НА ОБРАТНОЙ СТОРОНЕ ЗЕМЛИ	
<i>Повествование в эпизодах</i>	97
МОЛОДЫМ НЕ ХОДИ В ГУАНДУН	
<i>Записки о бедствиях войны, написанные Ли Вэньхуа, конфуцианцем</i>	157
РАССКАЗЫ	
НОЧНОЙ ПОСЕТИТЕЛЬ	265
ПРОПАЩИЙ ДЕНЬ	273
РАССКАЗ ПОТЕРЯННОГО	279
ДАНГУОЛЕ. Литовская дайна	293
КОРОЛЬ ЛИР НАШЕГО ПОДЪЕЗДА	302
НАД КУРОЙ ОНИ СИДЕЛИ	315
РАССКАЗ В СТИЛЕ ФУЭТЕ	328
АРМУЛЛА	334
ГОРЧИЧНОЕ ЗЕРНО	341
ПОЭТ И ПАДИШАХ	343

Геннадий Литвинцев

НА ОБРАТНОЙ СТОРОНЕ ЗЕМЛИ

ISBN 978-5-4420-0904-0



Дизайн обложки, компьютерная верстка – О. Сотникова
Корректор – О. Мартянова

Подписано в печать 28.06.2021 г.
Формат 84x108 ¹/₃₂. Бумага офсетная.
Печать офсетная. Гарнитура AdonisC.
Усл. печ. л. 11,76. Заказ № 562. Тираж 300 экз.

Отпечатано АО «Воронежская областная типография».
394071, Воронеж, ул. 20-летия Октября, 73а.
www.oblprint.ru
тел.: 8(473)20-20-900, 277-75-77